

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://seminvitaly.ru/> приятного чтения!

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В воскресенье, 22 июня 1941 года, рано утром, Валентина собралась к своим на окраину. Еще до того, как выйти замуж, Валентина ушла от родителей в заводское общежитие.

Родилась она 7 ноября и в детстве всегда считала, что и красные флаги и иллюминация в городе ради нее. Потом, когда она подросла и отделила общий праздник от своего, все равно радовалась флагам больше, чем другие. В школе она была отличницей, и на ноябрьские праздники в школьной стенгазете ее поздравляли особо. На заводе она стала ударницей, и в заводской многотиражке ее поздравляли с праздником и с днем рождения. Теперь она уже никому не рассказывала, как знаменательно совпадает ее маленький праздник с революционным – стеснялась, – но все равно кто-то об этом узнавал, и в компании или на собрании поздравляя всех с праздником, ее поздравляли особо. И все оборачивались к ней, аплодировали, хоть на собрания не ходи. Но не ходить на собрания она не могла. Она и на свехурочные оставалась охотно, и на воскресники выходила, и осуждала тех, кто уклонялся.

Она и замуж вышла за парня, который жил с полной нагрузкой – рабочей, общественной, спортивной.

И раздражалась она, выйдя замуж, потому что ее самостоятельность как-то обесценивалась. Муж никогда ничего не пытался ей запретить или навязать. Пожалуй, это она пыталась ему что-то запрещать. Она бросила спорт и хотела, чтобы и он тоже бросил. Она хотела, чтобы он ходил вместе с нею в институт, но в институт он не поступал. «Ты был бы счастлив превратить меня в свою домработницу!» – говорила она ему. Или: «Твоя мать тебя испортила. Она всех вас испортила. А вы на базар никогда не ходили, не знаете, сколько вашей зарплаты на один базар». Женя соглашался. Но Валентине этого было мало. Он просил ее: «Валя, слей на руки, я умоюсь». – «Набирай в рот воды и умывайся», – холодно отвечала Валентина.

На заводе она работала шисьельницей, потом учетчицей, обедала в цеховой столовой, отдыхала в обеденный перерыв в цеховом красном уголке. Дышала воздухом, синим от металлической пыли, от газов расплавленного металла, сидела на металлическом табурете, в столовую поднималась по железным, приваренным к металлической балке ступеням, держалась за металлические перила. Здание цеха было высоким, с мощным вентиляционным устройством, но никакие вентиляторы не могли полностью откачать из воздуха пыль. Они только поднимали ее вверх, и весь потолок был плотно закрыт и покрашен пылью. Она нарастала там день за днем, месяц за месяцем. Там была уже особая, потолочная структура пыли. Какие-то частицы оседали, какие-то не удерживались, падали, а потолок тяжелел и тяжелел. Если бы его однажды можно было встряхнуть – вниз бы рухнула многотонная масса.

От пыли и газа в этом цехе, где было много огня, стоял постоянный полумрак. Обычный полумрак литейного цеха, одинаковый днем и ночью. И звуки здесь были привычные для литейного цеха: шипение как будто где-то перехваченного шланга со сжатым воздухом, удары формовочных станков и грохот и звон огромных металлических барабанов, внутри которых падали, перекачивались металлические детали. Звуки были такой же плотности и густоты, как и пыль.

Цех был новый, огромный, оборудованный по последнему слову тогдашней техники. Над головами людей, под крышей, по конвейеру текла к станкам формовочная земля, формовщик только открывал заслонку – и земля падала в опоку. Формовщик расправлял ее руками и лопаткой, включал станок, и тот, свистнув сжатым воздухом, сотрясая фундамент, сотрясая пол, на котором стоял формовщик, уплотнял землю в опоке, трамбовал ее.

Готовые формы ставили на конвейер, и они проходили под ковшем с жидким металлом, который сюда подвозил подъемный кран. Потом конвейер сбрасывал залитые формы на металлическую решетку, которую трясло так же, как формовочные станки, и земля из форм выбивалась, выкрашивалась, уходила вниз, под решетку, а металлические детали, еще малиновые от огня, еще не как сталь, не звонко, а глухо звучащие,

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
крючьями отбрасывались в сторону.

Формовщики и литейщики работали быстро, зарабатывали хорошо, получали молоко и спецовку, но до тех пор, пока был принят закон, разрешавший начальнику удерживать на предприятии рабочих, литейщики и увольнялись чаще других.

Когда Валентина проходила мимо конвейера, ее всегда тянуло остановиться посмотреть, как бегают формовщики, как соединяют половинки форм и несут их вдвоем на конвейер, как наклоняются друг к другу и что-то кричат на ухо, как орудует длинной затычкой литейщик у ковша с расплавленным металлом. И она останавливалась и смотрела. Но ей и заслониться от этого хотелось тоже, как бывает, когда смотришь на сильный огонь.

Самой Валентине после того, как она преодолела первый страх и вошла в шпильный цех, отделенный от всего литейного низкой металлической перегородкой, после того, как свыклась с горящим дымным воздухом, с земляной, масляной своей работой, литейный даже нравился. Работа была простая, бригада шпильниц почти не менялась, а кроме того, цех на заводе был «самым». Самым вредным, самым горячим. Все, кто работал здесь, были на передовых позициях. Об этом говорили на собраниях, писали в заводской многотиражке. И вообще было в этом огромном, грохочущем вспышками пламени, темном, тяжелом здании что-то такое, к чему Валентина смогла привыкнуть. А привыкала она надолго.

Она, конечно, и боялась работать в литейном, и даже планировала когда-то уйти из него, но это были мысли неопределенные. Они и не могли быть определенными, пока она жила в общежитии, питалась в заводской столовой, ходила в вечернюю школу. Ее хвалили в цеховой стенгазете, ее фотография висела на Доске почета в красном уголке. Выходя из цеха после смены, она чувствовала полное удовлетворение – наработалась. Потом она шла в общежитие: ела по-мужски, не готовя, не поджаривая, причесывалась по-мужски просто и шла в школу. В воскресенье ходила в спортзал или – летом – на водную станцию.

Когда она познакомилась со своим Женей и сказала ему, что родители ее живут в этом же городе, он удивился. И так и не понял, почему она живет в общежитии, а не у своих. Когда Женя чего-нибудь не понимал в новой машине, он становился серьезным, лез в справочники и постепенно разбирался. Когда он сталкивался с чем-нибудь непонятным и непривычным в жизни, когда он не понимал чьих-то поступков, он морщил нос, посмеивался и не возражал. Он был очень терпимым человеком. Валентина ни разу не слышала, чтобы он кого-нибудь резко осудил или выбранил, и это ее сильно раздражало. Непонятное Женя просто быстро забывал. Мало ли в жизни странного – не трогайте людей, они сами разберутся.

Вначале в общежитии Валентине почти все нравилось. Нравилась мужская свобода от приготовления пищи, от слишком частого мытья полов, бесконечной стирки, от родительского надзора. Нравилось вместе со всеми утром выходить на работу. В тот ранний час, когда девчонки идут еще самой лучшей своей бодрой походкой, когда они еще не устали, еще стройны и высоки, когда волосы еще хорошо завиты и губная помада не съедена, а от ребят удушливо пахнет вчерашними папиросами, утренним табачным перегаром. Нравилась умывалка с ее очередями, в которых встречаешь знакомых (вода сама течет из крана: мой посуду, стирай, а дома еще надо наносить из колонки). Нравилась вечерняя школа с ее странной, нешкольной, ночной жизнью. Всегда при электрическом свете, в чужих классах, со взрослыми соседями за чужими партами. Днем здесь настоящая, дневная школа, учителя сидят в настоящей учительской, а вечером приходят вечерники, их встречает равнодушная, усталая дежурная нянечка, учительская в какой-то кладовке, половина классов заперта, не освещена, ученики курят на переменах.

И все-таки это школа. Училась она хорошо, времени не замечала.

Но, видимо, в ней всегда было живо чувство, что и литейный цех, и общежитие – все это не навсегда. Это как вечерняя школа – когда-нибудь ее окончишь. И когда они с Женей увидели друг друга, когда она однажды даже против своей воли подумала: «Господи, за что же мне такое счастье!» – она вдруг увидела, что в этом огромном здании много затемненных переходов, тупиков, поворотов, спусков, подъемов, где можно долго оставаться незамеченной, где можно вдвоем посидеть на теплой, обросшей затвердевшей пылью трубе какой-нибудь цеховой магистрали, на куче желтого песка и вообще уединиться и отделиться от начальства и подруг. А когда Женя привел ее к себе, она легко и радостно рассталась с общежитием, а

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
забеременев, из шисьельниц перешла в учетчицы, а из учетчиц в лаборантки и старалась пореже спускаться из лаборатории в сам цех, пореже дышать загазованным воздухом.

Общежитие она покидала даже с облегчением. Все-таки надоело за несколько лет одеваться и раздеваться при всех, спать, когда другие не спят, зажигать свет, когда другие заснули. Но и в семье у Жени она никак не могла по-настоящему прижиться. Боялась сделаться домработницей. Боялась, что здесь ее запутают старорежимной вежливостью и добротой, заставят бросить работу, институт, отказаться от общественных нагрузок. Самым старорежимным человеком в семье Валентина считала Женину мать Антонину Николаевну. Уклончивая доброта Антонины Николаевны, ее способность молчаливо делаться незаметной, любыми способами сохранять в семье мир казались Валентине той самой опасной в наше время интеллигентской бесхребетностью, против которой всех предупреждали газеты.

Правда, Антонину Николаевну лишь с большой натяжкой можно было назвать интеллигенткой. Отец Антонины Николаевны, Женин дед, как и отец Валентины, был железнодорожником. Но отец Валентины был ремонтным рабочим, а Женин дед водил пассажирские поезда. В девятьсот четвертом и девятьсот пятом годах он участвовал в революции, и об этом довольно охотно рассказывали в семье, участвовал он и в революции семнадцатого года, и об этом тоже рассказывали, но глуше и не до конца. Говорили, что он водил бронепоезд, был против царя, Керенского и белых, но в двадцатом или в двадцатых годах что-то с ним произошло странное, о чем никогда до конца в семье не говорили (за эту уклончивость, за эту скрытность Валентина как-то в минуту раздражения и выругала всех про себя: интеллигенты проклятые!), и он то ли погиб, то ли скоропостижно умер. Вообще-то Валентина чувствовала, что и о революции девятьсот пятого года в семье говорили не так уж охотно. Время это – все понимали – было героическим, но героическим вообще, если не присматриваться к деталям. А так многое тогда еще делалось с ошибками, стихийно, на местах, в стачечных комитетах, в местных партийных комитетах, а партий тогда было много, и почти все они потом оказались контрреволюционными. Но, конечно, все это было давно и никакого влияния на жизнь семьи не оказывало. И когда Валентина осуждала Антонину Николаевну, не о Женином деде она думала, а о том, куда могут привести женщину бесхарактерность и безликость. Нельзя же забывать – Валентина помнила об этом каждую минуту! – что мир отравлен не только классовой эксплуатацией, но и вековой тиранией мужчин. Кто такая Антонина Николаевна? Домработница без трудовой книжки, без права увольнения. Домработница для всех своих родственников и для нее, Валентины, тоже. Квалификации никакой – когда-то работала в конторе, но что знала, давно забыла, а нового ничего не приобрела. Газет не читает, о том, что происходит в мире, имеет самое смутное представление. Что услышит за столом, то и ее. Правда, она могла бы составить книгу кухонных рецептов, знает, как приготовить десятки, а может быть, сотни блюд, сами названия которых звучат по-старинному, а она ухитряется их готовить, хотя то этого, то того постоянно не хватает. И стол она в праздники накрывает и на двадцать, и на двадцать пять человек. Сколько гостей ни придет, стол всегда прекрасно накрыт. (Это обилие праздничной еды, которую никто не мог съесть, всегда изумляло Валентину. «А пусть пропадает, – сказала ей Антонина Николаевна. – Это не для того, чтобы съели, а для радушия».) И готовит Антонина Николаевна вовсе не то, что сама любит – за столом она почти не ест, – а то, что любят другие. Печеного теста она, например, избегает и водки никогда не пьет, но пироги и водка у нее бывают разные. И это тоже сердило Валентину. Если ей приходилось готовить, она делала только то, что ей самой хотелось съесть.

И вообще только на собрании и на работе все было ясно – за это Валентина и любила собрания и работу. Дома все было запутанно. И ты любишь, и тебя любят – и вдруг вражда! То ли к тебе стали хуже относиться, то ли ты всех видишь насквозь. В такие минуты Валентина кому угодно могла сказать самые страшные слова. Жене: «Говоришь, мать любишь! (Женя никому этого не говорил.) Любишь, чтобы спокойнее жилы вытягивать. Вы же ее эксплуатируете. Лучше бы поменьше любили». Антонине Николаевне: «А вы, мама, добрая, добрая, а все замечаете!» Это Антонина Николаевна остановила Женю, велела снять рубашку и пришла болтавшуюся пуговицу. В такие минуты Валентина думала: «Надо уйти, надо жить самостоятельно. От своих ушла, и отсюда надо уйти». Но Женя, посмеиваясь, уходил на тренировку, Антонина Николаевна брала на себя Валентинину домашнюю работу, и Валентина думала: «Ну и черт с вами, ничего вам не сделается!» И от этой смелой, совсем не женской мысли ей становилось весело, она уходила в институт, спокойно сидела в аудитории, спокойно возвращалась домой, рассказывала Жене, как устала на лекциях, и уже совсем по-мужски не спрашивала, что ел перед сном пятилетний Вовка и хорошо ли

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
умыла его на ночь Антонина Николаевна.

Потом Валентина опять стирала на Вовку и мужа, вздрагивала от какой-то нелепой и радостной мысли: «Случись что-нибудь с Женей – хоть под поезд!» – радовалась своей семье, но и мысль о том, что надо все-таки уйти вместе с мужем от его родителей, освободиться от тины мелкобуржуазных родственных отношений, где сама любовь неравноправна: кто-то любит в свое удовольствие, а кто-то себя забывая, – зажить здоровой жизнью без этого разделения на работу, общественную жизнь и жизнь домашнюю, все укоренялась в ней и укоренялась. Она еще не знала, как это будет на самом деле, но считала, что вначале им с Женей надо отделиться, получить новую квартиру или построить себе дом. Получить квартиру на заводе было очень трудно, вот она и решила съездить в это воскресенье на окраину, к своим, посмотреть, как идет строительство дома у мужа старшей сестры Ольги и прикинуть, стоит ли им с Женей братья за такое.

* * *

Рано утром Валентина подняла Вовку, напялила на него не гнущиеся от новизны сандали, сказала Жене:

– Я к нашим. Сто лет там не была.

– Хорошо, – сказал Женя.

Он не заметил демонстрации, которую устраивала ему Валентина. Если бы он немного удивился: «Воскресенье, а ты уходишь!» – или изумился: «Почему без меня?» – Валентина сказал бы: «Тебе неприятно? А мне, думаешь, приятно, когда ты уходишь из дому на свои тренировки?» Валентина хотела стычки, даже скандала, но Женя не рассердился и не удивился, и это было для нее самым худшим. На Валентину часто находило такое – она переставала верить Жене. Не может человек в двадцать восемь лет быть таким простодушным! Даже не спросить жену, чего это ей в воскресенье вздумалось уходить из дому без мужа! И вообще все они, и муж и его родители, слишком спокойно живут. А если разобраться объективно, то и Женя и Антонина Николаевна совсем не такие, какими на первый взгляд кажутся. Есть же у Жени в характере что-то темное, даже жестокое. Откуда у него это увлечение боксом?

И Валентина в который уже раз (с этого и началась ее демонстрация) вспомнила, как она в прошлое воскресенье пришла к мужу на тренировку. Они собирались в кино, и он должен был подождать ее у подъезда Дома физкультуры, но Валентина пришла раньше, чем закончилась тренировка, и знакомый парень уговорил ее пройти в зал, где занимались боксеры. В Доме физкультуры резко пахло спортивным залом, то есть потом, ногами, потеющими в резиновых тапочках, баней, и этот запах почему-то напугал Валентину. По дороге парень представлял ее каким-то ребятам. Узнав, чья это жена, они говорили многозначительно: «А-а!»

В боксерском зале, когда прошло первое смущение, Валентине стало страшновато. «Как в зуболечебнице», – подумала она, увидев около помоста, обтянутого канатами, две высокие жестяные плевательницы. Такие плевательницы ставят рядом с зубо-врачебным креслом. И как в кабинете зубного врача, жестяные края плевательниц были измазаны кровью, в крови были и куски ваты, приставшие к краям. Сходство с зуболечебницей дополнялось еще и несколькими жестяными же, похожими на перевернутые плевательницы, абажурами, которые висели низко над помостом. Помост был ярко освещен, так что весь зал, в котором человек десять, лоснящихся от пота, колотили кулаками по круглым, тугим мешкам, прыгали через скакалки, казался погруженным в полумрак. И этот полумрак, и этот яркий, отраженный жестяными абажурами свет – все показалось Валентине неестественным, больничным. Она не сразу узнала Женю, который стоял на помосте против высокого, широкоплечего парня и слушал, что говорил мужчина в синих трикотажных брюках и в рубашке с длинными рукавами.

– Сейчас Женя будет работать, – сказал Валентине парень, который привел ее в зал. – Тренер дает им наставления.

Валентина и сама догадалась, что Женя и тот, широкоплечий, высокий, почти на голову выше Жени, – будут драться. И высокий, конечно же, измолотит Женю своими устрашающе огромными кожаными кулаками. И правда, когда тренер отошел, высокий двинулся вперед и махнул длинной рукой, а Женя сделал шаг в сторону и быстро наклонился.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Тренер сказал:

– Осторожно, Женя, боковыми не работай. Перед тобой новичок.

И потом тренер все время повторял, словно упрашивал и успокаивал:

– Только прямыми, Женя. Перед тобой новичок.

Валентина постепенно вслушалась в то, что говорит тренер, увидела, как неуверенно машет своими длинными тяжелыми ручищами Женин противник, какое у него смущенное, будто виноватое лицо и как с каждой минутой оно становится все более и более виноватым, и пожалела его. И когда высокий все-таки дотянулся, достал Женю по голове и Женя, до этого не очень сильно нападавший, вдруг встрепенулся, Валентина испугалась – сейчас он больно ударит своего тяжелого и неуклюжего противника. Но Женя только встрепенулся, а бить сильно не стал. Когда в зале ударили по железке и тренер махнул рукой, Женя дружески похлопал своего могучего противника по плечу. Он сделал это без всякого перехода, совершенно спокойно, будто они и не дрались вовсе. А высокому явно требовался такой переход: Женя у него что-то спрашивал, а он смущенно и оглушенно молчал, не слышал и будто даже не знал, в какую из четырех сторон сойти с помоста.

Когда после тренировки Женя и его недавний партнер, которого звали Петя, уже одетые вышли из раздевалки, Валентина поразились – насколько крупнее мужа казался этот большой, хорошо развитый, мускулистый парень. Он был в военной форме с лейтенантскими кубиками в петлицах, и военная форма особенно подходила к его широким, мужественным плечам. Женя в своей белой шелковой рубашечке с короткими рукавами выглядел щуплым рядом с ним. То есть выглядел бы, если бы Валентина не видела их только что вместе на помосте, огороженном канатами.

Весь вечер Валентина тихо гордилась мужем. Оно гордилась им, когда они стояли в очереди за билетами в кино, когда Женя вежливо разговаривал с группой подвыпивших ребят, пытавшихся смять очередь. Они послушали его, хотя он как будто бы и не повышал голоса. И вообще в толпе у окошечка кассира рядом с другими мужчинами Женя ни разу не пытался схамить, повысить голос, показать, что все эти мужчины, несмотря на их рост, ширину грудных клеток, слабаки по сравнению с ним. А Валентине даже хотелось, чтобы показал.

А после картины, в которой была война, была любовь, в которой герой уходил от плохой женщины к хорошей, Валентина сказала:

– Такая гадость этот твой бокс. Грязные, потные, носы друг другу разбиваете. Узаконенное хулиганство. Потом от вас воняет. Чтобы ты туда больше не ходил.

Женя промолчал. У него была такая манера – не отвечать, если он считал, что Валентина говорит абсолютно несерьезные вещи.

И вот теперь Валентина протестовала.

Она протестовала уже несколько дней. Если Женя у нее что-нибудь спрашивал, она не сразу отвечала. Ждала, пока Женя повторит свой вопрос. Если Женя брал ее за руку, она тотчас освобождалась, морщилась, говорила холодно: «Пусти». Она не скандалила, не кричала – хотела быть такой же спокойной и выдержанной, как Женя. Такой же мягкой и воспитанной, как его мать Антонина Николаевна. А Женя ничего не замечал, копался в своих справочниках и только иногда хмурился, поглядывая на Валентину. Так прошло два дня, а на третий Валентина забыла, из-за чего началась ссора, и обижалась на Женю уже не потому, что он не ответил ей, когда она запретила ему ходить на тренировки, а потому, что он целых два дня не замечал, что она оскорблена, страдает и не хочет с ним разговаривать. «Это не от спокойствия, не от наивности, – думала она о Жене, – это от равнодушия. Он равнодушный, черствый человек, любящий только самого себя, свои мускулы, свою технику, свои справочники. Он никого и ничего рядом с собой не замечает, оттого он и уравновешенный и спокойный такой». И Валентина припоминала Жене все, что, по ее мнению, характеризовало его дурно, как черствого, себялюбивого человека. Она вспоминала, как спокоен бывает Женя, когда заболевает Вовка. Она места себе не находит, ночами не спит, только задремлет и тут же с испугом вскакивает, как будто ей надо рано на работу и она боится опоздать. А Женя спит спокойно. Она намается с Вовкой, разбудит Женю, чтобы он ее сменил, он встанет, покачает Вовку, поносит его на руках, а потом опять ляжет и сразу заснет. Или упадет

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Вовка во дворе, Валентина и Антонина Николаевна наладятся бежать на его крик, а Женя их удерживает: «Сам переплачет».

Болезненный Вовка был величайшим счастьем и страданием Валентины. А ведь ничего такого Валентина раньше о себе самой и не думала. Когда вышла замуж, долго не хотела ребенка. Женю она сразу предупредила: «Не надо нам никого третьего. Нам и вдвоем неплохо. Надо работать и учиться». Беременность переносила тяжело, а родила – год или два для нее никого, кроме Вовки, не существовало. Потом, конечно, все понемногу опять восстановилось, расставилось по местам: и Женя, и работа, и учеба, – но что-то так уже и не могло измениться. И Женя будто подальше отошел, и работа. Но, видно, не впрок Вовке пошла Валентинина любовь, болел он часто, и то недокармливали его, то перекармливали. И однажды Валентина, отчаявшись, решила отдать его в ясли – пусть будет как все! Она навсегда запомнила первый день, когда пришла забирать его. Увидев ее, Вовка бросился бежать не к ней, а от нее. Она от стены оторвать его не могла – так он плакал. Воспитательница ей сказала: «Большинство привыкает. Многие идут охотно – здесь им лучше, чем дома. А есть и такие, домашние дети. Ваш ребенок домашний».

Еще несколько раз она носила Вовку в ясли. Она уговаривала себя: «Все дети ходят в ясли!» Ругалась с Женей, с Антониной Николаевной: «Вовка ничем не лучше других. Привыкнет. Он дома всем голову пробил». Потом Вовка заболел, и она еще по инерции решила, что это несерьезно, что-то вроде кризиса. Перетемпературит, и вместе с температурой уйдет страх перед яслями. Но Вовка температурил день, два, а на третий день его забрали в больницу. Вместе с Вовкой в больницу легла и Валентина. Пускали туда не всех мам, а только тех, чьим детям не больше четырех лет. В больнице было тесно, в боксах по две кровати, мамам вообще негде прилечь. Целый месяц Вовка то выздоравливал, то умирал, а Валентина спала только тогда, когда приходил после работы Женя и сидел над Вовкой часа три (Антонину Николаевну, которая появлялась под больничными окнами с домашними борщами, бульонами, салатами в кастрюльках, Валентина как бы и не замечала). Сколько ужасов за это время натерпелась Валентина: по три раза в сутки обмирала вместе с Вовкой, когда в бокс входила санитарка с горячими простынями и тазом с еще парующей горчицей. Женя уходил из бокса, говорил, что одним криком Вовка разорвет себе грудь, что от простынь-горчичников мучительства и вреда больше, чем пользы. А Валентина не отвечала. Ей некогда было отвечать. Она брала Вовку на руки, и носила, и тянула: «А-а!» Она только и могла тянуть свое «а-а»... Она никому не отвечала, ей никого и ни о чем не хотелось спрашивать, она плохо видела Женю и почему-то плохо думала о нем. «Вот выйду из больницы, разведусь с ним и буду жить с Вовкой. Никого нам не надо». Но и эта мысль не задерживала ее. Потом уже, когда она вышла из больницы, Валентина рассказывала, как завидовала соседке маме, здоровенной девахе, которая просила ее: «Ты все равно не спишь, посмотри за моей девочкой». А девочка вяло лежала на спинке, того и гляди синеть начнет. Валентина будила деваху, та вскакивала, хватала кислородную подушку, откачивала кое-как дочку и опять ложилась спать.

К концу месяца Валентина опухла вся, отсырела. Ноги у нее отекали, но и это ей было все равно. Вышла из больницы и сама себя почувствовала другой: что было важно – теперь не важно. Даже на Женю смотрела – отталкивала. Как будто второй раз Вовку родила, и никто ее понять не может – ни мать, ни свекровь. С другими детьми стала жестокой. Ну, не жестокой, но равнодушной. Давала конфету Вовке и забывала дать конфету мальчику, с которым он в это время играл. Или говорила Вовкиному другу: «Сереза, ты поиграй во дворе, Вова будет обедать».

Женя однажды сказал: «Испортить пацана». Но Валентина только враждебно подумала о нем: «Здоровый, и ничего ему не делается». Оттого что Женя всегда был здоров, от него, ей казалось, исходила опасность для Вовки. Женя все стремился одеть его полегче, дать задание потруднее, игрушку посложнее. Она знала, что Женя думает о Вовке как о будущем взрослом человеке, что он не чувствует его так, как чувствует Вовку она. Она иногда за обедом подвигала Жене тарелку с остатками Вовкиной каши: «Доешь». Вовка ел плохо, перемешивал, перековыривал еду, кашу заливал вареньем, засыпал сахаром, пускал слюни. Женя отодвигал Вовкину тарелку. А Валентина допивала и доедала после Вовки. Она и не то могла бы сделать. Как-то она видела, как собака прибирает за своими щенками, вот и она могла бы, как собака. Она как-то спросила Вовку, играя с ним: «Ты какой?» И Вовка ответил ей своим детским словечком: «Тельцевый». Вот он и был для нее тельцевым, маленьким продолжением ее тела, куда более дорогим ей, чем ее собственное тело.

Однако время пришло, и Вовку отдали в детский садик. Она сама отвела его туда.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Он скандалил, и она кричала на него, тянула за руку – опаздывала на работу.

Уже целый год Вовка ходил в садик, но так и не привык, так и остался домашним ребенком.

А Женя чего-то не понимал. Он замечал, что Вовка после болезни стал трусоват, слезлив, что его закармливают и занячивают. Женя считал, что его сын должен быть лучше его самого, Жени. Это совпадало бы с общими законами развития и прогресса. Но ему казалось, что Вовка не лучше, чем был он, Женя, в его возрасте. И это Женю угнетало. Ему иногда приходило в голову, что именно таких пацанов, как Вовка, он в детстве не любил, дразнил, а иногда и поколачивал. Вот таких толстых, розовых и трусоватых.

Как-то он заговорил об этом с Валентиной. Валентина ответила: «Отцовской заботы мальчик не чувствует, отцовского примера ему не хватает». И стала на Женю нападать: «Я знаю, если бы сын, не дай бог, вырос бы плохим человеком, ты бы отказался от него». Женя удивился: «Каким плохим человеком?» Валентина продолжала настырно: «Ну, скажем, бандитом или фашистом». Женя удивлялся. Он не понимал Валентиной потребности вот так раздражать себя, доводить все до какой-то ужасной крайности. Но Валентину нельзя было остановить: «Ты бы отказался и был бы спокоен. Ну немного поволновался бы, а потом успокоился». Женя пожимал плечами. Он видел, что вызывает раздражение Валентины, но не понимал причины этого раздражения.

* * *

Рассердившись на Женю за то, что он так легко отпустил ее, Валентина вышла из дому в самом дурном расположении духа. Ехать ей надо было до рынка, а там пересаживаться: на окраину, где жили Валентины родители, в гору, поднимался моторный вагон – подъем был крутой, прицепку трамвай не вытягивал. Это был девятый номер. «Девятка» никогда не ходила пустой или даже полупустой. Отойдя от рынка, трамвай еще в городе делал три остановки, но на этих остановках уже почти никто не садился – это было невозможно. Все шли к рынку, на конечную. И пахло в «девятке» не так, как в других городских трамваях: мешковиной, рогожей, старорежимными, длинными, до самых пят, сношенными старушечьими юбками и, главное, рынком – теснотой, молоком, потеками на мясных прилавках. В девятом номере продукты возили не только с рынка, но и на рынок. И место женщине с ребенком здесь редко уступали.

На остановке Валентину перехватила Нина-маленькая из бригады шисьельниц литейного цеха. В руках у нее были кошелка с картошкой, бутылка рыночного молока.

– Валя, – сказала она, – я вижу, ты спешишь, но я тебя хочу задержать. Пропусти этот трамвай, следующим поедешь. Мне надо тебе рассказать. Саша уже две недели не приходит...

Нина-маленькая была добрейшее существо. Она жила со взрослеющей дочкой, а Саша был один из тех мужчин, которые приходили к Нине-маленькой по вечерам.

– Он женат? – спросила Валентина.

– Нет! – сказала Нина-маленькая. – Был! Но года четыре как разошлись.

– Так зайди к нему.

– Он адреса не оставил. Я тебе скажу, он и не Саша вовсе, а Фотий. Он из старообрядческой семьи. Валя, ты же меня знаешь, я ведь не стерва. Мне ничего от него не надо. Ему скоро пятьдесят, он весь больной, я за ним, как за ребеночком, хожу. Ну скажи, почему другие бабы рвут с мужиков деньги, подарки требуют – стервы стервами, а их ценят. А вдруг он болен, лежит, за ним ухаживать надо? Знаешь, я как-то спросила человека, который с ним работает: «Скажи, а что люди о Саше говорят, какой он на работе?» Валя, мне же интересно, какой он с людьми. И знаешь, что мне этот человек ответил? «Не хотелось бы вас огорчать, но с кем вы о Саше ни заговорите, большинство вам скажут, что он сволочь». Валя, а подозрительный какой! Он же раньше в органах работал, по недостатку здоровья ушел... Сам исчезнет, а потом придет через десять дней – где был, что делал, я у него не спрашиваю, – а он начнет меня рассматривать: «Покажи синяки!» И примеривается: «Вот так тебя брали и вот так».

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– А ты бы ему сказала: «А теперь давай твои синяки проверим».

Нина-маленькая недоверчиво улыбнулась:

– Валя, я серьезно. Он придет, я же не смогу молчать, ничего не говорить, будто ничего не было. Что же мне делать?

По-настоящему эту Нину-маленькую надо было бы поставить перед собранием в цехе и дать ей, чтобы не портила дочь, не показывала ей дурного примера. Но Нину никуда не надо было вытаскивать. Все о ней и так знали. Знали, что она своего Сашу никогда Сашкой не назовет, не скажет «мой» или «этот», а всегда со значением: «Саша просил меня не афишировать его...»

– Ты скажи ему: «Нельзя со мной так обращаться. Я же волнуюсь, может, ты заболел, может что-то случилось, а я не знаю, как тебя разыскать».

– Да, да, – сказала Нина-маленькая. Ее обрадовала эта уступчивая претензия.

В трамвае Валентина решительно раздвинула пассажиров и подтолкнула Вовку к дядьке, который только что сел на скамейку у первого окна.

– Садись, – сказала она Вовке, как будто место было пустым.

Дядька был в праздничном пиджаке, и, как от всех праздничных пиджаков в этом трамвае, от него, несмотря на раннее утро, уже пахло вином. В трамвае ехала какая-то артель, и дядька, судя по осанности, был в ней бригадиром. Он нехотя встал, и какой-то его напарник тотчас уступил ему место, а Валентина сказала:

– Инвалидов много развелось. Утро, а ноги не держат.

Она не боялась заводить скандалы – в этом же окраинном трамвае училась «отгавкиваться». Она и Женю однажды пыталась в этом трамвае защитить. Какая-то девчонка наступила ему в толкучке каблуком на ногу, Женя юмористически охнул, а Валентина тотчас сказала девчонке:

– Не на скачках, нечего ногами перебирать.

Девчонка была тоже с окраины, она ответила, и они с Валентиной сцепились, а Женя удивился и смутился. Но Женя, считала Валентина, вообще многого не понимал.

Трамвай шел по путепроводу. Внизу тускло лоснились солнцем черный паровозный шлак, черные шпалы, густо политые мазутом, нефтью и керосином. Валентина смотрела вниз, не крикнет ли маневровый или транзитный паровоз, чтобы вовремя зажать Вовке уши.

Преодолев подъем, трамвай пошел быстро, на ходу его мотало, словно расстояние между рельсами было слишком широким для его колес.

Теперь на остановках только выходили. Почтительно пропустив бригадира, вышла празднующая воскресенье артель. Только в этот момент обнаружилось, что с артельцами ехали женщины. Они пошли за мужчинами в своих платьях с круглым вырезом на груди, с рукавами на резинках – фонариком («рукав повен, повен»), в платочках в синий горошек, или, как тогда говорили, в копеечку. Мужчины помогали им прыгнуть – рельсы лежали здесь не как в городе, не на уровне мостовой, а как на железной дороге: насыпь, а на ней шпалы. И весь путь уже казался не трамвайным, а железнодорожным, и все вокруг было таким, каким его видишь не из трамвайного, а из железнодорожного вагона: бесфасадные – не перед кем красоваться – складские помещения, длинная заводская стена, посреди неогороженного пустыря арка никому не нужных ворот (стадион), беленые дома из самана с синими ставнями.

Валентина вышла на кольцо – конечной остановке. Здесь начиналась степь и было слышно, как гудят провода. И солнце здесь было сухое, степное, с сухим жаром, вызывающее сердцебиение одним прикосновением к коже. Мощная дорога сменялась грунтовой, приусадебные сады – огромными ромашками огородных подсолнухов. Над подсолнухами воздух завивался прозрачными струйками – сухая степь что-то непрерывно испаряла. Было странно после трамвайной толчеи, после грохота попасть в эту тишину и оглянуться на город.

Валентина за руку перевела Вовку через трамвайные рельсы и отпустила. Вовка обрадовался солнцу, степи, гудению столбов, тому, что можно выбегать на середину улицы и не бояться лошадей и автомобилей.

Проезжая, немощеная часть улицы, которой они шли, была как бы продолжением степи в городе. Подходы к домам были вымощены строительными отходами: битым кирпичом, кусками песчаника, щебнем, – улицу же хозяева домов были не в силах замостить, она так и осталась земляной, перепаханной хозяйками, закапывавшими в нее кухонный мусор, разбитой тележными и автомобильными колесами. Картофельные очистки, хлебные корки быстро перегнивали в земле, но битое стекло, консервные банки, жужелицу земля быстро переработать не могла. И все же это была земля, и пахло от нее дорожной пылью, сухостью, коровами и жильем. Улице этой было лет десять, и в основном все здесь отстроились. Во многих дворах времянки уже сломаны, в других оставлены под летние кухни. Кое-где по-деревенски держали коз и коров.

Да и сама деревня была рядом. Улица упиралась в пустырь, за пустырем огороды, за огородами – хутор Приреченский. В хуторе, большинство жителей которого работало в городе на заводах, на станции, все же сельская власть – сельсовет, колхоз. И дальше, вдоль железной дороги, был еще один хутор, потом еще, а еще дальше – цементный завод, вокруг которого и дома, и деревья, и дорога, и сама земля – все было засыпано белой пылью.

Хутора были казачьими, с домами, выкрашенными в любимый казачий мундирный синий цвет, и хотя улицы там были поуже, чем на городской окраине, и хаты поуже, и приусадебные участки поменьше и победней, на городской окраине считалось, что хуторские и богаче и прижимистей – снега среди зимы не выпросишь – и вообще не тем воздухом дышат.

Улица все больше пахла окраиной, деревней, землей, воскресным спокойствием. Издали Валентина увидела родительский дом, а рядом – недостроенный, высокий, который старшая сестра Ольга строила вместе с третьим своим мужем Гришей.

Еще три года назад, когда Ольга во второй раз разошлась и в третий раз вышла замуж, отец и мать решили, что надо ей помочь создать семью на прочной основе, и дали денег на строительство нового дома. Как водится, пригласили родственников, знакомых и соседей на саман, сделали две тысячи саманных кирпичей, начали возводить стены и тут в первый раз поссорились с зятем – Гриша хотел строить дом повыше и пошире, чем строили такие дома до него. У кого-то он увидел кирпичный, с верандой, не с печным, а с паровым отоплением и себе задумал такой. Ольга стала на сторону мужа, и стены возвели так, как хотел этого Гриша, а коробку из стен накрыли от дождей крышей. Женя тогда сказал Грише и Ольге: «Простенки поставите, потолок сделаете, полы настелете – зовите меня. За мной электропроводка». Но Женю все не звали и не звали: у Гриши вдруг начала рушиться стена. Рушилась стена глухая, выходящая во двор. Вначале она набухла, выпятилась так, что все швы между саманными кирпичами стали видны, ее подперли бревнами, но она все равно упала. У Гриши побывали все специалисты с улицы. Вроде все было сделано правильно: хорошо заведены углы, кладку делали по отвесу, потолочными балками сверху закрепили, крышей придавили, а стена все-таки рухнула. Стену поставили еще раз: купили несколько сотен саманных кирпичей – на окраине было много семей, промышлявших саманом, – тщательно уложили и даже обмазали. Стена немного постояла, а потом опять стала дуться: на швах из саманных кирпичей выстрекнулись соломины, как будто выросла щетина. И вся улица заговорила о доме, об Ольге и о Грише. О том, что это недаром, что бог шельму метит. Что оба они хороши – и Ольга и Гриша. Что Гриша казак, а казаки никогда по-настоящему не работали, только охотились и рыбу ловили. Что не такого зятя надо брать в работающую семью. И кое-что тут было правдой, потому что Гриша был из казаков и действительно любил охоту и рыбную ловлю, а работу не любил – переходил с одного завода на другой, осел в какой-то артели и все отирался по больницам и собесам, добивался пенсии: когда-то он тяжело болел и, хотя давно выздоровел, все напирал на то, что у него была тяжелая болезнь. После того как стена упала во второй раз, он запил, пропил деньги, накопленные на доски для полов и на кирпич, которым для крепости и красоты – чтоб не мазать Ольге каждый год хату! – собирался обложить дом. И еще много раз пропивал зарплату и ругался из-за этого с Ольгой, с ее матерью и отцом. Но мать уговорила отца, и он дал Грише денег на кирпич. И вот теперь вместо выпавшей саманной стены сделали кирпичную на цементном растворе.

Вовка тоже узнал дом бабки и деда и побежал вперед, но Валентина его удержала: она боялась, что Вовку встретят совсем не так радостно, как он к этому привык дома. Валентина давно начала отдаляться от своих. И вначале это отдаление было как освобождение, легким и радостным. Она даже не отдалялась, а именно освобождалась: еще когда жила дома, все реже работала у себя на огороде, реже ходила с ведрами за водой – не женское это дело, пусть Ольгин муж или брат Виктор носят, – реже помогала матери мазать хату. Потом совсем ушла из дома в общежитие и лишь иногда по воскресеньям вырывалась гостьей к себе на окраину. Зимой и осенью, в грязь, и совсем не приходила – обуви у нее такой уже не было. Она отвыкла от своих и видела, что от нее отвыкают тоже, и было это ей почти все равно до тех пор, пока не родился Вовка. А тут она стала ревновать и раздражаться: дети родились и у Ольги и у двоюродной Юльки, а ей хотелось для Вовки как можно больше любви в этом мире. А когда Вовка болел, окраинные почти не приходили навещать Валентину в больнице.

Ольга первой вышла встречать Валентину.

– Вот неожиданность! – сказала она. – Все собрались дома. – И сообщила: – Перед тобой самый несчастный на свете человек.

Ольга была в старой домашней юбке, испачканной цементом, и юбка эта не застегивалась на две верхние кнопки, не сходилась.

– Толстею, – сказала Ольга, – становлюсь рыхлой.

Она равнодушно выставляла напоказ свои расстегнутые кнопки. Когда-то, девчонкой, Валентина завидовала старшей Ольге, считала ее смелой, а жизнь ее интересной. А сейчас осуждающе подумала, что выставленные напоказ расстегнутые кнопки – все, что осталось от Ольгиной смелости. И что способностей Ольги хватило только на то, чтобы закончить зубоврачебный техникум.

– ...он говорит – «не хозяйка». А я люблю жить. Люблю есть, покормить ребенка, – объясняла Ольга, и Валентина никак не могла понять, что появилось нового и странного в ее манере разговаривать. – Вот болела всю неделю.

– Что у тебя болело?

– Все. Почки, печень, желудок. Расстроился весь организм.

Она так произнесла «организм», что Валентина сразу же ее перебила:

– Я думаю, чего это ты так разговариваешь? А это ты кокетничаешь. По привычке, что ли?

– Правда? – ничуть не обиделась Ольга и засмеялась: – Наверное, по привычке. Я с мужиками больше люблю разговаривать, чем с женщинами.

Глаза ее с вялым благодушием скользнули по Вовке, который крикнул:

– Здравствуйте, тетя Оля!

Ольга сказала:

– А Танечка уехала на море с детским садиком. В лагерь.

– Как же ты ее отпустила? – сказала Валентина с раздражением. – В первый же раз!

Они вошли во двор, и мать, возившаяся возле печки, вместо приветствия крикнула Валентине:

– Она ее на два срока отпустила! Чтоб не мешала им с Гришкой гулять. За две недели ни одного письма девочке не написала. Вчера открытку от воспитательницы получили: девочка тоскует, ждет от матери письма. Я уже всем говорю, что не ее это дочка, а моя. Я ей открытку показываю, а она за голову хватается: «Мама, забыла». Это родную дочь забыла!

– Ольга же болела, – сказала Валентина.

Ольга сказала все тем же тоном:

– Валя, ты меня, конечно, осудишь. Но как хочешь – забыла! Я уж сама за голову хватаюсь – что же я за мать! Но вот прислушаюсь к себе, а ничего у меня внутри к Тане нет. Ты же знаешь, как у меня с ее отцом получилось, – может, поэтому.

Валентина со страхом посмотрела на Вовку – понял ли он что-нибудь? Но голубые Вовкины глаза были бездумно радостны. Он увидел деревянное корыто с замесом цемента, густую массу, в которую была воткнута штыковая лопата.

– Вова, – сказала Валентина, – иди на улицу поиграй. Я тебе разрешаю.

Надежда Пахомовна сказала, проводив глазами внука:

– Ко всем бегают, деньги занимает. У меня уже столько раз брала. «Мама, вся зарплата у меня вышла, чем я буду его кормить?» Я говорю ей: «Овощи сейчас пошли, свари ему постный борщ. И дешево и вкусно». А она мне: «Мама, свари, я не умею».

И Надежда Пахомовна показала рукой на Ольгу – полюбуйся на нее!

Валентина слушала мать с нарастающим раздражением. Она всегда слушала то, что говорит мать, с досадой и раздражением. Эти многословные обличения ничего не стоят, и тот, кто принял бы их всерьез, оказался бы в дураках (а Валентина часто принимала их всерьез). Мать давно все Ольге простила, а Ольга матери. Они всю жизнь скандалят и прощают друг другу и никогда из этого отвратительного круга не вырвутся. Чтобы вырваться, надо не прощать. Ни другим, ни себе. Валентина никогда не простила и вырвалась. Валентина до сих пор помнила, как мать дразнила ее в детстве, читала ей глупые стишки: «Стонет сизый голубочек, стонет он и день и ночь, миленький его дружок улетел надолго прочь...» Или пела: «Умер бедняга в больнице военной, долго от раны страдал...» Отчего Валентина заливалась слезами. Этого «голубочка» и «беднягу в больнице военной» Валентина вспоминала матери каждый раз, когда раздражалась на нее. Она всегда все разом припоминала матери, когда на нее злилась, и не могла не припоминать, и не хотела не припоминать. Вот и сейчас она вспоминала матери и этого «беднягу», и то, как мать, посетив ее в больнице, передала ей слова Вовкиной прабабки Вассы: «Умрет он. Пусть Валентина не убивается», и многое другое.

А Надежда Пахомовна сказала:

– Деточки! Ольга с Гришкой дом себе строят, а мы с отцом деньги на это строительство зарабатываем. Я не против, так не заработаешь! Недавно по радио объявили, что жить стало лучше, жить стало веселей, а у меня была расценка рубль восемьдесят, а теперь та же партия – шестьдесят три копейки. Я ж и так на фабрике работаю не как другие. Прихожу – лифчик расстегиваю, чтобы не мешал, волосы перевязываю и на обед не всегда прерываюсь. Вчера мужик кричит мне с улицы в окно – а мы в полуподвальном: «Позовите Веру». Мне Вери позвать – только крикнуть в цех. А я отмахиваюсь.

Ольга засмеялась:

– Мать за справедливость воюет, а бабы говорят, что ее жадность губит. Заработает двести – мало! Еще пятьдесят! А там тарифная сетка – как выше, так и режут.

А Надежда Пахомовна сказала, показывая на Ольгу.

– Я ей заняла тридцать рублей на путевку для Тани. Говорю: «Можешь не отдавать. Для внучки путевка». Гришка у меня уже раз пять занимал. Сорок на цемент, еще сорок на магарыч, сто рублей на доски. Заняла. Сказала отцу. «Скорее уйдут». А Ольге говорю: «Сто рублей, что на полы, можете пока не отдавать. Мне на похороны будут. А сорок отдайте: отцу надо брюки купить». – «Хорошо, мама». А вчера мнется: «Мама, и сорока рублей сейчас нет». Хорошо, отец безотказный, все во дворе делает да еще Гришке дом строит. Гришка же только подает да поддерживает!

Ольга обиделась:

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru

– Мать поможет, а потом все жилы вытянет, благодарности требует.

Надежда Пахомовна внимательно посмотрела на Валентину, как та приняла Ольгины слова. И продолжала:

– Я уже Гришке сказала: «Простенки возведешь, пусть дом не стоит пустой. Одну комнату отделайте, печку поставьте и живите или пустите квартирантов, а в другой доски сложите. За зиму они и высохнут. А вы не переберетесь – мы с отцом в ваш дом переедем. Так больше жить нельзя».

– Что же Гриша? – спросила Валентина.

– Говорит: «Не успею». Говорит: «Вы нас еще потерпите, а я потом вам все деньги отдам». Я ему сказала: «Знаю, как вы отдаете. Просите вы как иуды, а отдаете как черти».

И Надежда Пахомовна пошла к летней печке, на которой что-то варилось в кастрюле.

– Я вот думаю, – сказала она оттуда, – почему мужики больше любят бесхозяйственных. Ольга ж наша ничего не умеет, только о мужиках говорит, о любви, которой ей все не хватает. Уж сколько абортосделала, а никак не охладится. Как выпьет немного, так уж и Гришку ругает – не такой, как ей надо. Меня обвиняет: «Теща в семейную жизнь вмешивается». А я ей говорю: «Взяла человека в дом, должна за него ответственность нести. Хороший, плохой – четвертого мужа у тебя не будет. По закону не положено. Всех мужей исчерпала. Нечего про него гадости говорить».

Ольга всплеснула руками:

– Мать уже всей улице рассказала: какая она хорошая теща!

По глазам Надежды Пахомовны было видно, что никакого значения словам Ольги она не придавала. Она сказала:

– Ты не учишься у Юльки, у тебя все равно так не получится. Юлька бесстрашная. Ты знаешь, как Юлька дочку считать учит? – спросила она у Валентины. – Орет на нее: «Это тебе пять или это так твою мать?» Недавно прибегают, два коровьих сердца в руках, положила их на грудь: «Вот так пронесла на проходной!» В магазине колбасного завода работает. С мужем скандалит. Степан, конечно, пьет, но он же все и делает: забор поставил, и собачью будку, и сарай. Гриша придет к нему, а он говорит: «Учись!» А вчера они взяли водки, Степан сказал: «Пойдем к тебе на строительство, а то Юлька нагрянет». А Юлька их там и нашла, набрала полную горсть раствора и бросила Степану в лицо. Весь рот залепила. Степан в первый раз расвирился: «Ну, я тебя выучу драться!» А она – в его комнату, достала его документы, паспорт разорвала в клочки, военный, партийный билет. Степан чуть сознания не лишился. Что уж с нею делал, не знаю. Только она уж и не кричала, а хрипела. Отца дома не было, так Гришка и Ольга пошли разнимать, а она на них кричит: «Не подходите, без вас разберусь!» Они меня послали: «Мать, может, тебя послушают». А я не пошла. Меня собака туда не пускает. Я ее гоню с огорода, она других собак приводит, помидоры мне топчет. А она меня. Так и не пускаем друг друга.

Ольга сказала:

– Мать не собаки испугалась. Не хотела Юльку у Степана отнимать.

– Правильно, – ничуть не смутившись, согласилась Надежда Пахомовна. – Она и на меня кидалась. Досаждать мне любит. Я ей сегодня говорю: «А как Степан не вернется?» – «К дитю? Вернется! А я без него отдохну, а то мне каждый день мясные борщи готовить ему надо». Видишь как! Она уж хочет, чтобы Степан жрал камень, с... поленья и чтоб поленья в дело шли!

Валентину не смущали грубые слова, которые употребляла Надежда Пахомовна и которые никогда не употребляли в Жениной семье. Ее потрясло то, что Юлька порвала Степанов партийный билет. С Юлькой Валентина училась в одном классе, их вместе записали в комсомол. Училась Юлька, правда, плохо, но в общем была как все. И вот ворует у себя на заводе мясо, рвет такие документы!

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Это преступление – то, что она сделала, – сказала Валентина. – Я пойду к ней.

– Сходи, – согласилась Надежда Пахомовна. – Она и сегодня концерт закатывает. Триста рублей у нее пропало. Из кассы взаимной помощи! Она уже весь дом перерыла, бабу с дедом к соседям загнала. Ищет! Там не то что триста рублей – солдата со шпагой спрятать можно. Бабкин порядок!

Вход на Юлькину половину хаты был с улицы. Юлька встретила Валентину во дворе, загнала собаку в будку и, ни секунды не сомневаясь, что Валентине уже все известно, стала причитать:

– Валя! Это же не три рубля! Это же триста рублей! Я вчера сама в цеху посчитала, вальтом сложила, пришла домой, со Степаном подралась, а сегодня кинулась – нет денег! Я бабке говорю: «Ты не вставай, не ходи. Ты лежи, вспоминай, может, ты с мусором вымела?» А бабка уже все забывать стала. Зимой закроет заслонку наглухо, а печка горит. Варенье варила, вместо сахара высыпала манную крупу. Обиделась! Под трамвай ходила кидаться. Нахальство! Я за ней босиком по улице бежала. Ну у кого же мне спрашивать, не у дитя же! Я и так дите вопросами замучила. Крошечки у меня во рту с утра не было! Твоя мать к нам пришла, послушала, как мы с бабкой разговариваем. Говорит: «Черт меня сюда к вам занес. В этот гроб! Здесь у вас не домом, а гробом пахнет!»

На Юльке было старое черное платье, надетое прямо на голое тело. Валентина это сразу заметила. Юлька была на местный, окраинный вкус красивая. У нее были коричневые глаза, завитые волосы. Похоже было, что в утренней суматохе она не только не позавтракала, но не умылась, но губы все-таки мазнула. Краска уже стерлась и осталась только в трещинах, как после рабочего дня. А в хате пахло переселением. Вещи, которые десять лет неподвижно стояли на своих местах, сдвинуты, шкаф перерыт, заслонка и короб в печи открыты. Юлька была в отчаянии, но это было отчаяние женщины, которая подралась с мужем и не боится бегать по улице в платье, надетом на голое тело. Валентина не хотела и не могла ей сочувствовать.

– Юля, – сказала Валентина, – это правда, что ты порвала Степанов партбилет?

Юлька отмахнулась:

– Что я – идиотка? Корочку надорвала, чтобы он испугался. – И пригорюнилась: – Валя, твоя мать на что уж меня не любит, а утром принесла отрез и тридцать рублей. Говорит: «Продай, а деньги себе возьми». Ведь это несчастье у меня. Правда? Настоящее несчастье. Но зачем я буду брать? Зачем я на свою голову возьму? – И вскинулась: – Дмитриевна умерла, а то бы она мне погадала, где деньги: сама я потеряла или бабка в печке сожгла вместе с мусором? Пойду к Климовне, может, она мне скажет.

С тех пор как Валентина пришла к своим, раздражение ее все росло. Ее возмущал этот беспорядок поступков и слов. Казалось, что ее родственники нарочно запутывают себя, чтобы не видеть главного в жизни. Чтобы не видеть выхода из всей этой путаницы раздражений, ущемленных самолюбий и обид. Раньше, когда она жила дома, она меньше все это замечала и сама, что ли, была такой. Вот и Гришка придет и будет хвастаться своей артелью: «Ты не смотри, что у нас труба пониже, дым поуже, зато спокойно. Зато левой работы вот так! А что ты на своем заводе заработаешь?» Он всегда привязывался к ней. Трезвым дразнил: «Что же ты мужа своего в партию не примешь, коммунистка?» Пьяным пытался ухаживать прямо при Ольге, хватал за руки, старался обнять. Гришка был грамотным, читал газеты и книги, носил очки, сложен он был прочно. Плечи были просто широченными, а кожа на руках и лице дубленой от постоянного загара на рыбалке и на охоте. Валентина его стыдила: «Инвалид! К врачам ходишь, от работы уклоняешься! Ольгу жалко, а то написала бы куда надо...» – «Напиши, напиши», – говорил Гришка, и глаза его под очками становились ненавидящими. В ненависти становился бесстрашным и говорил такие вещи, от которых Валентина бледнела. Она не Гришки пугалась, а чего-то гораздо большего – криком своим Гришка обязывал ее сделать то, чего она сделать не могла. Обязана была и не могла. Она, конечно, отвечала ему. «Говорить для меня, – как-то сказала Валентина, когда ее просили выступить на собрании, – великий страх и труд». Но на самом деле она умела говорить жестко и точно. Ее никогда не сдерживал страх перед словом жестоким или даже оскорбительным, если она считала, что его нужно сказать. Гришке она говорила с презрением: «Тебя нельзя оскорбить, я знаю. Ты захребетник. Убери руки, ты для меня не мужик». Но

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru все-таки она бледнела, когда Гришка кричал, потому что она обязана была не отвечать ему, а сделать что-то совсем другое, чего она сделать не могла. Иногда она обращалась за помощью к матери, но Надежда Пахомовна, которая не любила своего зятя, однажды рассказала такую историю (Гришка кричал: «Они всех друзей моих загнали, куда Макар телят не гонял, а я на них работать буду?!»):

– Знаешь, как людям эти доносы надоели? У нас на фабрике бабы из сэкономленной кожи делают себе перчатки. Одна пожилая, многодетная выносила, а тут на проходной строгая проверка, главный инженер. Баба увидела его и кинула перчатки в сторону, выбросила. А главный инженер заметил и схватил ее. А другие бабы увидели и давай кидать себе перчатки. Перчаток накидали много, а схватили только ту, пожилую. Стали таскать ее к директору, в фабком, туда, сюда, требовали, чтобы она назвала всех, кто из этой кожи делает перчатки. А она уперлась: «Виновата, но никого не назову». – «Вам же четыре месяца до пенсии. Подумайте! Дело передадим в суд, пойдете в тюрьму, вся ваша выслуга лет, все пропадет. За всю жизнь вам этого не вернуть». – «Делайте что хотите, никого не назову». Так что же ты думаешь? Главный инженер простил ее. Только на другой процесс перевел.

– Не мог главный инженер так поступить, – сказала Валентина.

– Мог не мог – это уж его дело. А ты думай как хочешь, – сказала Надежда Пахомовна.

Валентина вернулась от Юльки к матери и увидела Гришку. Гришка сказал насмешливо:

– Бог работника послал. Теща, вы дайте ей переодеться, пусть Ольге поможет, а там мы что-нибудь сообразим.

– Ты уже с утра насоображался, – сказала ему Ольга и пожаловалась Валентине: – Утром взял три рубля – на баню! А сам сорвал вяленую рыбу с низки и подался! У магазина их там коллектив собирается – пиво пьют. А когда я болела, думаешь, дома сидел? Соберется в аптеку – и на весь вечер. «Я аспирин на коленях выпрашивал». А его во всех аптеках полно. Говорит: «Я тебя люблю, с больной тобой спать ложусь». А я ему: «Лучше бы на пол лег, плохо же мне». Так он недоволен: «Ты уж умирала бы или выздоравливала поскорей!»

Надежда Пахомовна, которая стояла спиной к разговаривавшим, повернувшись лицом к печке, при последних словах засмеялась.

– У них вся компания такая подобралась, – сказала она, все так же стоя спиной ко всем. – Ольгина подружка Зина мне жалуется: «Петька пришел пьяный, я ему говорю: „С тобой, пьяным, спать не лягу“. А он: „Ляжешь! Считаю до трех: раз, два, два с половиной...“ Хорошо, что половину добавил, а то бы не успела добежать...»

Надежда Пахомовна продолжала стоять спиной ко всем и говорила и смеялась как будто бы про себя.

– Хорошо еще, что половину добавил! – повторила она и опять засмеялась. – Такая жестокая сволочь!

Гришка хотел что-то сказать, но промолчал, и Валентина отметила: боится матери.

– А ты не худеешь, – сказала она Гришке и показала на его наметившийся живот.

Гришка не смутился:

– Не говори. Иду мимо магазинов, посмотрю на себя в витрину, удивляюсь. Характер у меня хороший: все, что ни съем, на пользу идет.

Надежда Пахомовна повела Валентину в пристройку переодеться в рабочее, кинула ей старую юбку, запачканные глиной босоножки и сказала, оценивающе поглядев на дочку:

– Ты уже, наверное, отвыкла. А у нас воскресенье не воскресенье, а все работа. В тесноте, в суете да в великой семье. Так и бегаем от порожка к порожку.

Валентина не очень-то любила свою мать, но и Надежда Пахомовна настороженно

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
относилась к своей самой правильной и удачливой дочке.

* * *

Строительство было рядом. Дом, в котором должны были поселиться Ольга и Гришка, и впрямь стоял на высоком фундаменте. Ступенек к крыльцу еще не сделали, и все поднимались по наклонно положенным доскам. Странен пустой дом изнутри. Фасад Гришка отделал сразу, чтобы смотреть было приятно и чтобы участковый беспорядком не попрекал. А войдешь с улицы – пахнет землей, духотой, сушилкой. Окна плотно закрыты, под ногами земля, над землею проложены доски, между стенами и потолочным настилом – просветы, их еще надо конопатить. Дверей внутри дома нет, возведены еще не все простенки, поэтому можно разом осмотреть все будущие комнаты, прикинуть, где будет зал, где спальня, где детская комната. Рамы тоже еще неплотно вошли в стены. Между стеной и рамой сквозят отверстия. Они именно сквозят – яркие, солнечные, сквозные. Свет сквозь них проходит совсем не так, как сквозь мутные, еще не мытые стекла. И такое ощущение, что душа дома еще где-то снаружи, а внутри еще душа земли. Три года стоит пустой эта накрытая крышей саманная коробка, и тишина, и пустота, и запах земли в ней за это время накопились.

– Мне уже ходу назад нет, – сказал Гришка. – Такой большой дом надо или двумя печками обогревать, или паровым отоплением. Надо доставать трубы, радиаторы. Только бы война не помешала. Как вам, партизкам, говорят: будет война или не будет?

– Газеты читай, – сказала Валентина.

– Газеты надо и в строчку читать и между строк, – сказал Гришка. – А вот, говорят, старые люди по библии войну нагадывают.

– Слышала, – сказала Валентина. – Железные птицы будут летать, брат на брата...

– Ничего смешного, – сказал Гришка. – Брат на брата уже вставал, и железные птицы летали.

– Ты-то инвалид, тебе бояться нечего, – сказала Валентина.

– С Финляндией у нас была маленькая война, – сказал Гришка, – а школу под госпиталь забрали.

Гришка вошел в свой дом и сразу стал как-то значительнее. Так он отодвигал и потом ставил секцию забора – калитки еще не было, – так поправлял доски, по которым Валентина и Ольга должны были пройти. Это был настоящий дом, с крышей, стенами, и Гришка все в этом доме знал: и сколько самана пошло, сколько цемента, сколько килограммов гвоздей и сколько жженого кирпича. Конечно, ему помогали: родственники и соседи делали саман, мастера клали стены, плотник крыл крышу, – но все они уходили, а он оставался.

Валентина слушала его и думала, что никогда Женя не согласится строить себе такой дом. Женя как-то обмолвился, что скоро всю окраину снесут, а на ее месте поставят большие дома. И Валентина думала точно так же, хотя ей это чем-то и было обидно. Каждый раз, когда она приезжала к родителям, она ждала, что окраина немного сократилась. Валентина хорошо помнила то время, когда за их улицей начиналась степь. Раньше в районе был только один магазин. Он так и назывался – «магазин» (рядом керосиновая лавка, объявление: «В ведра и другую открытую посуду керосин не отпускается»); пожилой керосинщик, который отпускал керосин, сидя на низкой скамейке, колени его накрывал фартук из старой клеенки). Потом построили еще один – «белый». Теперь открыли третий – «новый». Простым глазом было видно, как все новые и новые одноэтажные дома покрывали недавние степные бугры и балки, сливались, охватывая город гигантским кольцом.

– Домовладельцем становишься, – сказала Валентина Гришке.

– Хозяином, – ответила за Гришку Ольга. У нее еще было столько душевной свободы, чтобы иронически отнестись к этому слову. А может, ирония была только душевной роскошью – дом-то был уже почти готов.

Поработать им пришлось совсем немного. Носили с Ольгой землю в ведрах и подавали ее Гришке, который стоял на приставной лестнице и передавал ведро Валентинину

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
отцу. Отец принимал ведро, втягивал его на чердак и рассыпал землю по чердаку. Отец так и поздоровался с Валентиной сверху, из чердачного окна, где он сидел и курил, ожидая, пока Гришка договорится с женщинами. Он медленно улыбнулся Валентине, спросил:

– Сама или с мужем?

– С Вовкой, – ответила Валентина и тоже улыбнулась отцу.

Он не стал спускаться к ней, чтобы поздороваться, а она не сделала попытки к нему подняться и даже не позвала Вовку, чтобы он показался деду. Когда все закончат работу, а отец сверх этого закончит что-то свое, он спустится, посмотрит на Вовку и, может быть, погладит его по голове. Как-то так всегда получалось, что кто бы и когда бы ни приходил к родителям Валентины, у отца руки всегда были запачканы землей, краской, ржавчиной – вообще работой, и он не мог сразу подать их гостю. И потому здороваться подходил последним или вообще не подходил и только издали дружелюбно улыбался, если гости были свои, близкие люди и с ними не нужно было быть особенно церемонным.

Валентина любила отца девочкой и еще больше любила его сейчас. Отец не был очень грамотным, но она считала его умным потому, что он был спокоен, добр и никогда не говорил вздорных вещей, которые так часто говорились в этом доме, полном крикливых женщин. Но она и жалела его тоже потому, что, сколько она его помнила, она помнила его таким, как сейчас, на чердаке или на крыше, где он поправлял черепицу, стучал топором или молотком, или на дне глубокой ямы, из которой он лопатой выбрасывал землю – копал погреб. За двадцать с лишним лет в жизни Валентины и всей семьи происходили большие и маленькие изменения: из землянки они перебрались в новую хату, к хате сделали пристройку, мать то работала на фабрике, то на несколько лет бросала работу, Валентина ездила в пионерские лагеря, ушла из дому, вышла замуж, родила Вовку. И только у отца, казалось, за это время ничего не изменилось: как и раньше, утром он уходил на работу, вечером приходил с работы, обедал и опять принимался за какую-то работу по дому – что-то строгал, прилаживал, укреплял, копал, носил воду. Он и производство свое ни разу за это время не сменил, и в отпуск уходил очень редко – все ему подходило так, что выгоднее взять компенсацию: штакетник для забора как раз надо подкупить или дочкам материалу на платья, – и зарплата у него как будто бы за все эти годы почти не менялась, и пахло от него всегда одинаково – паровозами, ремонтной паровой ямой, шлаком, маслом, тем густым, сумрачным воздухом, который и при сквозняке всегда стоит в паровозном депо, и рабочая спецовка его всегда лоснилась так, что на сгибах, в складках, казалось, натекает масло. Мать ругалась: постирать один раз спецовку отца – воды нужно столько нагреть, сколько требуется на большую стирку для всей семьи. И долгие годы от всего этого отцовского постоянства и спокойствия (и в голод, при карточной системе, и после нее) и Валентине всегда все было спокойно и ясно. И на анкетный вопрос о социальном происхождении родителей она всегда с гордостью, спокойствием и чувством превосходства над другими писала об отце – «рабочий». На улице у них многие были рабочими, но об отце она всегда с особой гордостью думала: рабочий. И смелым она отца считала с детства, с тех пор, как она с матерью впервые пришла к нему в депо, в котором, несмотря на высокие окна, от копоты, от шлака, от натеков масла совсем было бы темно, если бы не электрический свет и не ножевой какой-то, опасный блеск рельсов, кромки накатанных паровозных колес, шатунов и поршней. Она увидела отца под паровозом и испугалась, а он не протянул к ней испачканных рук, а, как всегда, медленно улыбнулся. А рядом свистнул паровоз, и этот звук ударил ей не только в уши, но и как будто бы и в нос и в глаза – она услышала сиплый рев, увидела над трубкой свистка белое облачко, потом на месте облачка появилось голубоватое свечение, какая-то пустота, от которой нельзя было отвести взгляда – так она переливалась и напряженно дрожала, а вокруг уже ничего не было слышно: ни свиста, ни рева, ни голоса матери, которая продолжала что-то говорить отцу, но так и замерла с открытым ртом. И на всех лицах были глухота и ожидание, и только отец все так же спокойно улыбался ей. В конце концов это непереносимое безмолвие кончилось, голубоватое свечение над трубкой паровозного свистка погасло, и все задвигались, заговорили, отец вылез из-под паровоза, бросил на рельсы молоток с длинной ручкой, и молоток в этом воздухе, который еще дрожал от недавнего рева, тихо звякнул о рельс. Мать что-то говорила отцу, а Валентина все ждала, что она ему скажет, чтобы он больше не ложился под колеса. Но мать этого так и не сказала, и когда они уходили, отец опять полез под паровоз.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

С тех пор Валентина не могла слышать без страха о каком бы то ни было несчастном случае на железной дороге. О том, что где-то ударило сцепщика буфером или паровоз сошел с рельсов: боялась за отца.

С матерью и Валентина и Ольга часто ругались, над матерью шутили. С отцом никто не ругался никогда. И когда однажды Гришка назвал отца батей, слово это показалось Валентине грубым и непочтительным. Но потом и Ольга стала снисходительно называть за спиной отца батей, и Валентина вдруг почувствовала, что она тоже испытывает к отцу покровительственное чувство. Валентина знала, что ее отпустят из дому в общежитие, но ей показалось, что отец уж слишком легко отпустил ее. Смирился с тем, что она уходит. Тогда-то она и подумала, что отец так же смиряется с тем, что дома остается Ольга, у которой все не ладится семейная жизнь, с тем, что мать ссорится с его родителями, и со многим другим, из чего состоит его жизнь.

И теперь никто не позволял себе шуток над отцом в его присутствии, но без него уже рассказывали о нем забавные истории. Например, о том, как отец просидел последний отпуск дома. Конечно, копался в саду, на Гришкином строительстве, сменил несколько секций в заборе, но и просто так сидел и лежал много. Иногда спал днем. А к концу отпуска кинулся – у него складка на животе. Он даже испугался, а разглядели – это он просто поправился. В жизни у него не было так, чтобы можно было защипнуть на животе!

Подавать землю кончили часам к одиннадцати – первым решил кончать работу сам Гришка. Отец остался еще на чердаке, а Ольга и Валентина отправились к матери. По дороге встретились с Юлькой.

– Мать готовит на стол, – сказала Юлька. – Рада все-таки, что ты приехала. Я ей помогала, пока не увидела, что вы идете. Я же с ней месяц была в ссоре, а теперь помирились. Знаешь, как? Она стала мазать свою половину хаты, а я вышла на улицу – и свою. Она только полчаса вытерпела, а потом стала меня учить: «Не так мажешь». – И Юлька засмеялась.

– Деньги ты, что ли, нашла? – удивилась Ольга. – Или Климовна нагадала?

– Климовна – старая транда! – сказала Юлька. – Она и гадать не умеет. Дмитриевна – вот гадала. А эта только карты раскидает, а сказать ничего не может. А из-за денег не в петлю ж лезть! Вот Дмитриевну хоронили, я смотрела, как ее в могилу опускали: перед этим, все такая ерунда! Умру и смеяться буду. А мать твоя подошла к могиле и сказала: «Вот тебе, Дмитриевна, и все. Никто к тебе больше не придет».

И Юлька, словно забыв, о чем шла речь, или не придав разговору никакого значения, стала рассказывать, как умерла жизнелюбивая старуха Дмитриевна, которая пережила и сына, и дочь, и двух жильцов, которых пускала в хату. И хвастала: «Меня Таня укладывала, Вера укладывала и Федя укладывал. А где они теперь?» А тут с невесткой поругались – и сердце отказало. Невестка побежала звать соседей, те пришли, а Дмитриевна лежит поперек комнаты. Рука откинута в сторону, и пальцы сложены щепоткой: хотела перекреститься и не успела. На похороны к ней – это заметили все бабы – собрались все известные улице пьяницы. Гришка пьяненький над ней причитал: «Я у тебя брал взаймы, да не вовремя отдавал». Она многим занимала. И на жизнь себе до конца зарабатывала: пускала квартирантов, на базаре овощами приторговывала. Мать теперь ходит к тем, кто Дмитриевне больше всех обязан: «Сделаешь крест на могилу, небось за деньгами на пол-литра каждый день бегал». Только так и можно людей заставить.

...Стол стоял в тени старой жерделы. Земля вокруг была вытоптана, как возле печи. На столе и под столом – помокревшие от удара жерделы. Мать только что смахнула их со стола, подмела, а они опять падали. И все время падают. Пройдет полминуты – и наверху, в листьях, что-то назревает, потом прошуршит и глухо ударит об землю или стол. Жерделы мелкие, вырождающиеся, а звук полновесный. На него невольно оглядываешься – ищешь, не упало ли что-то большое. Валентина села так, чтобы можно было опереться спиной о ствол жерделы. Босоножки она сняла, а ноги опустила прямо в пыль. Пыль была тонкая и теплая. Валентина хотела позвать с улицы Вовку, но Надежда Пахомовна сказала, что Вовка накормлен и отпущен в соседний двор.

На мать было страшно смотреть – в таком раскаленном воздухе над печкой она

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
стояла. И загар у нее был печной, сушащий кожу и такого же цвета, как кизячный пепел.

Появился Гришка с двумя бутылками водки в руках. Он лазил в подвал, был потен и щурился сквозь очки довольно.

– В такую жару будешь эту гадость пить? – сказала Валентина.

– Буду! – ответил Гришка.

Мать бегала от печки к столу, ей помогали Ольга и старая, глуховатая бабка, мать Надежды Пахомовны. Ольга выносила из хаты тарелки, стопки, а бабка сидя чистила картошку, сваренную в мундире. Ольга рассказывала, как она болела всю эту неделю, как у нее расстроился весь организм, а Надежда Пахомовна ревниво прислушивалась к ее словам. Потом с досадой сказала о себе:

– Три дня назад упала вот здесь, а рука до сих пор болит.

Ольга засмеялась:

– Люди падают сверху вниз, а мать снизу вверх. Бежала со всех ног и аж до калитки летела. И еще удивляется, что синяк не сходит. У нее должен пройти!

Надежда Пахомовна только посмотрела на нее. Поставила на стол помидоры:

– Свои!

Сообщила уличные новости. Воют с соседом Иваном рябым. Надумал мужик летом чистить уборную. Вонь.

– Я ему говорю, – сказала Надежда Пахомовна, – рябой ты черт, такую работу осенью делают! – И без перехода рассказала, как Иван воспитывает внука: – Иванов внук ударил палкой маленького товарища – и бежать домой. А Иван стоит и молча смотрит. «Что ж ты, Иван, не видишь, что ли?» – «А он ему палку сломал, значит, он должен был его ударить». Вот такой человек!

И опять без перехода сказала, что Иван рябой ухаживает за ней. Как напьется, переходит через улицу и начинает заговаривать, а сам как будто в разговоре толкает ее и все норовит по груди. «Ты свою Таню лучше корми, ее и толкай, а то у нее только кожа да кости».

Все сильнее пахло солнцем, жарой, тень под жерделой становилась все прозрачнее, поверхность стола накалилась. И куда ни посмотришь – всюду солнце и жара: и над белой от пыли дорогой, и над печкой, и над черной крышей невысокого сарая, и под редкой тенью деревьев в саду. Но жара не была тяжела Валентине, ее босым ногам, ее обожженному носу и голым рукам. К столу постепенно собралась почти вся семья. Пришел отец, только что вымывший руки, переодевший рубаху и брюки, пришла Юлька, усадила за стол мать Надежды Пахомовны. Не было только бабы Вассы и деда Василия, которые, поругавшись с Юлькой, с утра ушли из дому и отсиживались у соседей. Звать их по очереди ходили Гришка, Ольга и Юлька, но старики уперлись.

– Мама, – сказала Ольга, – тебе надо сходить.

– Ты не смотри на меня строго, – раздраженно ответила Надежда Пахомовна, – на меня еще строже смотрят, да я не боюсь.

Отец кашлянул:

– Сходи.

И Надежда Пахомовна, лишь самую малость помедлив, направилась к соседям звать родителей мужа. Все понимали, что, хотя дед и бабка разобижены Юлькой, позвать их к столу может только Надежда Пахомовна – старшая невестка и главная хозяйка за этим столом. И что именно ее приглашения ждут старики. Валентина давно знала, что за таким вот накрытым, с вином и водкой столом в семье каждый день и совершается праздник примирения всех со всеми. В будни Надежда Пахомовна часто враждует со свекром и свекровью, ругается с Юлькой, но когда приходят гости и стол накрывается с вином – главное, с вином! – Надежда Пахомовна идет на поклон

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
к старикам. Не может не пойти.

Она и вернулась скоро с бабкой Вассой, которая говорила:

– Да ты ж знаешь, что я ее не пью.

– Ну, хоть посидите с нами, мама.

Пришел дед Василий, отец встал и предложил ему свое место. И Гришка тоже встал. Дед сел. Минута ожидания прошла, и все заговорили посвободнее. Надежда Пахомовна пожаловалась на свою глухую мать:

– Как вечер, идет по всей улице ставни закрывает. Или тащит из дому простыни, наволочки, платья – дарит. Грехи она, что ли, замаливает? Каждый день меня зовут: «Надя, иди забери бабу». Мне уж в глаза говорят: «Плохо к матери относитесь, она и ходит к людям». А как я к ней отношусь? Целый день на кровати лежит. Руки положит под голову, ногу на ногу закинет и лежит.

Разговор за столом всегда начинался с осуждения глухой бабки. И бабка забеспокоилась, оглядела смеющиеся лица и спросила у Валентины:

– Обо мне говорят?

Надежда Пахомовна сказала:

– Не про тебя, не про тебя!

Юлька крикнула:

– Прикидываем, как тебя отправить в богадельню.

Оглядев всех, бабка сказала Валентине:

– У меня такая примета: когда плохое про меня говорят, у меня левая щека чешется. А кто про меня плохо говорит, тому счастья не будет.

Ольга, уже выпившая рюмку, сказала Валентине:

– Знаешь, как бабка мешает молоко? Помешает и ложку оближет, помешает и ложку в рот. Я потом это молоко пить не могу.

Все засмеялись, и баба Васса тоже сдержанно заулыбалась. Она была ровесницей глухой бабке, но сохранила слух и разум и сейчас гордилась этим. А охмелевшая Юлька совсем разошлась, сказала, что Гришке и Ольге негде уединиться: и ночью бессонная бабка заходит к ним в комнату, зажигает над их кроватью спички, проверяет, все ли дома.

– Не про тебя, не про тебя, – замахала она на бабку. И тут же рассказала, как Надежда Пахомовна получила письмо от однорукого брата Алексея, а бабка решила, что письмо ей. Спрашивает: «От кого письмо?» «От Алексея». – Не слышит. Надежда Пахомовна и показала рукой от локтя – от безрукого, мол, от Алексея.

– А бабка обиделась, – захохотала Юлька. – Говорит: «Мне этого уже не надо. Себе возьми!»

Женщины зашлись хохотом. И Ольге и Надежде Пахомовне нравилось, как смело и со вкусом произносит Юлька бранные слова, как она повторяет свою собственную остроту, – вчера Ольга и Надежда Пахомовна припозднились в городе, бабка стала волноваться, не под трамвай ли попали, а Юлька сказала ей: «Две таких ж... никакой трамвай не переедет».

Надежда Пахомовна смеялась со взвизгиваниями, а отец покачивал головой.

Валентина смеялась со всеми. Когда-то Женя сказал ей осуждающе: «Бабка у вас – семейная жертва. Разве можно так!» Но Валентина не согласилась. Она сказала ему: «Проживи с ней хоть неделю. Тяжелая бабка и эгоистка. Крышу на сарае портит, приваживает на нее воробьев, сыплет туда хлебные крошки, по дому ничего не делает».

Разговор разделился. Надежда Пахомовна утешала бабу Вассу, рассказывала, как обижает ее Ольга.

А Валентина разговаривала с Юлькой:

– Я вот думаю: ну почему со мной ничего такого не случается? Не прогуливаю, не ворую, честно работаю. Тебе пока все сходит. Не боишься?

– Валя! И этого бойся и того бойся... Но вот ты мне скажи: проспаться ты можешь?

– Отец, – спросила Валентина, – ты когда-нибудь на работу опаздывал?

– Да... – сказал отец. – Редко.

– Да ты же знаешь, какой отец мужик, – сказала Валентине Надежда Пахомовна. – По двум половицам не ходит, все норовит по одной.

– Зато мать у нас героическая натура, – сказала пьяная Ольга. – Ей в одной упряжке с собаками на Северный полюс бежать. Упряжку перетягивать.

Прибежала Юлькина дочь Настя, уперлась животиком в Валентино колено. Юлька подвинула ей свою тарелку, предупредила:

– Горячо, а ты дуй. Под носом ветер есть?

– А Степана тебе не жалко? – спросила Валентина.

– Жалко, – согласилась Юлька. – Знаешь, когда мне его было жалко? Я на него в заводской комитет пожаловалась: «Пьет!» Они мне сказали: «Без вас дело разобраться не сможем». Я пришла, а они поставили Степана перед столом, он голову повесил и два часа простоял. Хоть бы слово сказал! Так жалко его было, так жалко!

Валентина хотела ответить Юлке, но тут вступила Надежда Пахомовна.

– У нас тут без тебя свадьба была, – сказала она Валентине. С тех пор, как они с Женей без свадьбы, без вина зарегистрировались, мать всегда рассказывала о чужих свадьбах, словно чувствовала, что Валентине это чем-то неприятно. – Сашка, сосед, сына женил. Приданое невесты машиной привезли. Бабы пьяные! Ковер развернули, несут, растянув за концы. Матерятся! – восхищенно сказала Надежда Пахомовна и посмотрела на Валентину. – Пюют! Ворота прочные, девица чистая. Кто ее пробовал? Потом подушки, тумбочки, диван, трюмо. И матерятся! Мать вашу так, не разбейте зеркало! Шифоньер с машины сняли, на землю поставили, а поднять не могут – пьяные. Всю старую мебель на улицу выкинули. Комнату новой обставили. Сашке хоть в коридор выбираться. Я у него спрашиваю: а как же ты? «А я, – говорит, – буду подслушивать. Сам к этому уже неспособен». Посмотрела я на все это и вспомнила, как ты замуж выходила. А тут еще в шкаф полезла, а там в сумке цветы засохшие, которые ты сама себе на свадьбу подарила. Сама себя уговариваю: Валентина живет хорошо, Женя ее не обижает, – и разревелась. Вот тут и порассуждай: у Ольги все свадьбы были красивые, а у тебя никакой не было, я тебя жалею, а ты с Женей хорошо живешь.

Сто раз уже досадовала на себя Валентина, что, приехав тогда домой из загса, сказала матери, что цветы сама себе купила – Женя стеснялся загса и старался, чтобы все прошло как можно незаметнее. Но и приятно было сейчас Валентине это материнское сочувствие. Она вспомнила, как они тогда с Женей шли в загс, какая на нем была серая рубашечка, как потом на пороге загса расстались. Женя спешил на соревнования, а Валентина вдруг решила съездить к своим на окраину и по дороге сама себе купила цветы.

От выпитой водки у Валентины кружилась голова, она слушала мать, слушала Юльку и удивлялась. Она смотрела на них, на отца, на Ольгу, на бабу Вассу, которая, когда Вовка болел, сказала: «Умрет он, передай Валентине, пусть не убивается», – на деда, и ей хотелось научить их счастью настоящей жизни, открыть им глаза, сделать их счастливыми. Но они все, вся ее большая семья вызывали у нее сейчас и раздражение. Мать, конечно, поймет ее и согласится с ней, и отец согласится, и Ольга, и даже Юлька, но они согласятся совсем не так, как все это давно понимает Валентина. И Валентина подумала, что если бы Женя видел и Гришку, и Ольгу, и

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Юльку, и мать так, как их видит она, он не был бы таким простодушным, а если и был бы, то совсем по-другому, чем сейчас. Она и дальше развивала бы эту мысль, готовила бы ее, чтобы при случае высказать Жене, но в это время во двор вбежала женщина, и Валентина одной из первых увидела ее лицо. Внутри у Валентины все оборвалось. «Вовка!» – подумала она.

– Война! – сказала женщина. – Германия на нас напала.

«Женя, – подумала Валентина, – господи, Женя!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

– Если считать, что один раз я уже был начальником этой конторы, то сейчас я уже тринадцатый начальник. За четыре года! – Сурен Григорьян засмеялся. – Я уже всем говорю, что я тринадцатый начальник. В первый раз я ж руководил на «общественных началах». Вызвали меня: «Сколько зарабатываете как инженер-проектировщик? Семьсот? Мы вам предлагаем триста. Мало, но вы же будете расписываться на проектах – включайте себя в ведомость как соавтора». От халтуры я отказался, а стать начальником согласился. – Григорьян опять засмеялся, смех у него восторженный, заикающийся от полноты чувств. – Нравится мне это дело. Кто передо мной это место занимал? – Он стал загибать пальцы. – Учитель. Бывший кавалерист. Райкомовская работница. Бывший работник горжилуправления – ни одного специалиста. И только райкомовская работница не пила. Ты понимаешь, когда бардак – все греют руки. Оттого, что райкомовская работница не пила, легче не было. Она ничего не понимала, у нее партийный стаж и где-то авторитет, а здесь она ничего не понимала. Сама взятки с заказчиков не брала, а вокруг все брали. Я и начал с того, что всех взяточников уволил. Начал расчищать завалы – из кабинета целый день не выходил, архивы проверял. Три года добивались, чтобы дали штатную единицу – секретаршу. Я добился, чтобы секретаршу и машинистку. На перспективу начал работать. Ремонт начал производить – мы же дома проектируем, а к нам войти нельзя. Видел, какая лестница?

Сурен хвалил себя, но как бы и не хвастался, а радовался собственной честности, оборотистости.

– Вечером приходил домой с больной головой, с рулоном кальки, чертил – зарабатывал. И получал к концу месяца неплохо. Не так, как мои инженеры-сдельщики, но ничего. А потом написали на меня анонимку, пришла комиссия, определила мои заработки как совместительство на том же предприятии. Я им сказал: «Какое это совместительство! Я же производитель, я произвожу. Ну вот хотя бы эту табуретку я мог бы сделать в нерабочее время?» Поставили моему начальству «на вид», а я отказался заведовать. С женой, с двумя детьми мог я жить на такую зарплату? Опять стал проектировщиком, неплохо зарабатывал, но страдал: опять дело не в те руки попало.

Сурен – плотный, потеющий от жары, от физических усилий. Он делает полочку для вешалки, завинчивает шурупы. И хотя он только что дрелью подготовил отверстия, шурупы идут туго.

– Видел, как работают столяры? – говорил Сурен Слатину. – У них всегда с собой кусок хозяйственного мыла – вертеть шурупы.

Полочку Сурен делает Слатину, и тот идет на кухню за мылом. Сегодня воскресенье, 22 июня 1941 года. Сурен пришел к Слатину пораньше, не дал ему поспать. Слатин раздражен, отнимает отвертку: Сурен месяц пролежал в больнице с грудной жабой.

– Дай я, – говорит Слатин.

Сурен отдает отвертку и, когда смазанный мылом шуруп легко входит в отверстие, спрашивает:

– Чувствуешь?

Достает из кармана большой скомканный платок, промокает лоб, щеки, вертит шей, запускает платок поглубже под рубашку. В лице его мало армянского: волосы темные, но не черные, усы рыжеватые, а нос курносый. И только глаза темные, и очень волосатые руки, обнаженные по локоть.

– Самодельщик чем хорош? – говорит он. – Сколько бы у тебя ни было денег, ты не

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
купишь то, что нужно для твоей квартиры.

С тех пор, как две недели назад Слатин переехал в этот старый большой дом, Сурен каждый день приходит или приезжает к нему на своем выкрашенном в красную пожарную краску самодельном автомобиле. У автомобиля мотоциклетный мотор, мотоциклетные колеса, кузов из авиационной фанеры, но тем не менее на белой жестяной пластине, укрепленной там, где у настоящего автомобиля радиатор, красной краской в столбик записаны названия городов, в которых Сурен уже побывал. Время от времени Сурен поглядывает в окно – автомобиль собирает любопытных: заглядывают внутрь, щупают, смеются.

Приезжает он поздно, задерживается за полночь, привозит цемент, мел, доски. Тащит все это на третий этаж, является уже уставшим, жалуется на то, что не мог раньше вырваться с работы, переодевает брюки и лезет на стол, чтобы оборвать старую проводку: «Зачем тебе эти сопли?» С потолка на него сыплется штукатурка, он не отворачивается, только жмурит глаза и сдувает пот и пыль с верхней губы.

От побелки в квартире сырая, тропическая жара. Слатин уже понял, почему говорят: «Два раза переехать – один раз погореть». Приходя из редакции, он выносит ведра со старой штукатуркой, поднимает вверх песок и к тому времени, когда приезжает Сурен, всякую мысль о новой работе встречает с раздражением. Сурен чувствует, что раздражение переносится на него, и смущается:

– Дарагой! Сядь! Ты можешь понять самодельщика? Я полгода ждал, пока ты сюда переедешь. Дай развернуться.

– Энтузиаст! – говорит Слатин с подозрением. Когда-то он помог Сурену, и теперь ему кажется, что Сурен таким образом благодарит его.

– Что ты! – говорит Сурен. – Я теперь берегусь! Для энтузиазма настроение нужно. Вот когда автомобиль делал, настроение было. До четырех утра спать не ложился, а утром без номеров, без кузова, на одной раме, пока нет милиционеров, за город выскочил. Представляешь? Рама, на ней два сиденья, и мы с напарником на этих сиденьях.

Вывинчивая старый разболтанный выключатель и примеряя на его место новый («Приморозим его алебастром»), он рассказывает, как недавно перевозил тещу с окраины поближе к себе:

– Понимаю, с барахлом не расстанется. Повезет свой шкаф, стол, тумбочки в комиссионный. Там ей не дадут того, что она потребует, она назад все привезет, с места не тронется. Пять лет меняется, а тут вдруг согласилась! Спрашиваю: «Мама, сколько вы хотите за шкаф?» – «Пятьдесят». Достаю пятьдесят. «А за стол?» – «Тридцать». Все предусмотрел. Потом отвоз в комиссионный, четверть цены выручил. Шкаф матери отвоз. Ей нужен шкаф. Но без денег она его у тещи не возьмет. Раньше они соседями были, а когда мы с Лидой поженились, мать перебралась на другую улицу. Я воду несу, она говорит: «Женился, чтобы подстирки за ней выносить!» Лида стирает, теща говорит: «Вышла замуж за голодранца, чтобы всю жизнь на него стирать!» Детей моих мать к себе не пускала. А теща в свой шкаф не разрешала одежду вешать. Мать знает, что шкаф тещин, спрашивает: «Сколько я ей за него должна?» – Я говорю: «Мама, десять рублей. Ей лишь бы от него отделаться». Сурен смеется своим заикающимся смехом.

– Тещу сразу на новую квартиру не пустил. Мне ей ремонт делать, а там пятеро соседей. Один сразу сказал: «Лестница мытая, а вы мел таскаете». А мел на подошвах носишь, как их ни вытирай. Я говорю: «Вы извините, сейчас мокрую тряпку на пороге проложим. Упустил из виду». А теща бы его дураком обозвала: «Не видишь – ремонт!» И скандал на всю жизнь. А я как вошел, свою лампочку в коридоре ввинтил, а провода к пяти выключателям пообрывал. Белить легче и лампочку нельзя выключить – от тещиногo счетчика. Я тебе скажу, все это окупается. Они смотрели, сомневались, а я про себя думал: «Скоро вы любить меня будете». Я теще с самого начала говорил: «Мама, все равно я с вами уживусь».

– Всем не понравиться, – говорит Слатин.

– Конечно, – говорит Сурен. – В армии становлюсь на новую квартиру, прихожу к хозяйке: «Вот что, хозяйка, давайте ваши квитанции, в которых вы за электричество расписываетесь. Вы к этому не касаетесь – я буду платить. Чтобы не

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru было недоразумений». Так в Калаче хозяйка как-то говорит: «А у вас свет поздно горит». – «А вам-то, спрашиваю, что до этого?» – «Провода изнашиваются». Я тебе скажу, меня и бойцы любили, хотя – я потом смеялся – на восемьдесят человек у меня было семьдесят национальностей. Правда, одному я дал. Но этот довел, да и сам я был на последнем. Мы железную дорогу строили – я ж в армии строил! – проложили ветку, а впустую. Пустили ее в обход балки, а подсчитали – через балку выгоднее. Так два раза проектировали. А балка глубокая! Представляешь, как основание для полотна делается? Пирамидой. Чтобы наверху можно было две нитки проложить, основание надо насыпать шириной в семьдесят метров! А сколько воды по такой балке идет? Чтобы ее спускать, надо было в основание бетонную трубу диаметром в эту комнату уложить. Труба из секций, мы в них по три-четыре трактора впрягали. Один вниз тянет, два сверху страхуют. Грязь, холод, снег! Дует в этой балке, как в трубе. И все скорей, скорей! Таль не установишь, руками секции не поднимешь. Дали нам паровой железнодорожный кран. Мы на две балки проложили рельсы, разобрали кран, платформу и все это по частям спустили вниз. Запасных деталей нет, подшипник сломается – в соседний город за сто километров едешь. Только военная форма и выручала. Приедешь на завод, из-за формы и дадут – армии надо помочь. А спешили, пока весной вода не пойдет. Сутками я из той балки не выходил. Один раз генерал проверку делал, жена мне ночью обед принесла, выговор генералу сделала: «Что же это у вас человек должен в полночь обедать!» Я ей запрещал по степи ходить, заблудится ночью в степи, пропадет. Так вот на ночь мы тот кран останавливали. Воду из него выливали, а утром в чане над специальной печкой – ну как асфальт разогревают, знаешь? – опять разогревали. Был у меня один такой, жаловался: больной, слабый. Я его и поставил дневалить к печке: ночью встань, печку раскочегарь, воду доведи до кипения и в радиатор залей. Все! Я и не спрашивал его особенно, куда он днем ходил. Ну, конечно, с вечера воду надо опять в чан. Главное было в этой воде, что она с антинакипином. Порошка этого у меня на добавку бы хватило, а чтоб заново залить – нет. И воды-то было немного – ведер восемь. Так он что делал? Воду на землю спускал – ему ее от крана до печки было далеко! – а утром брал из цистерны-развозки. Я бы и не узнал ничего, если бы он не ушел в самоволку. А куда у нас можно пойти в самоволку? Вагончики в степи, до ближайшей станции двадцать километров, двое грузин из соседней роты ходили, комиссовать их пришлось – отморозили ноги. Я и кинулся. А я знал, что у этого больного есть товарищ, спрашиваю его: «Когда видел?» – «А, – говорит, – когда воду из радиатора спускал». – «Как спускал?» – «А как всегда спускает». Я за три километра от вагончиков в балку. Точно, на путях лужа. Лед уже. У меня все зашлось. Кран надо останавливать, антинакипин добывать, с железнодорожниками объясняться. И неграмотный был бы! Так все ж знал, школу кончил. Ночь я не спал, еще до рассвета пришел в балку. Вижу, огонь уже разжег, сидит на корточках, руки греет. «Где воду брал?» – спрашиваю. «Из цистерны». Вот тут я ему и дал.

Сурен берет в руки полочку, говорит:

– Вот скажи, что в этой полке? Две доски, десять шурупов, а вдвоем уже два часа возимся. Вот работа!

О работе он говорит много, охотно и всегда с изумлением. С собой он приносит тяжелую сумку с набором отверток, плоскогубцев, пробойчиков. В жестяной коробке однокалиберные, как патроны, черные каленые шурупы. Он смеется:

– Кто что из Москвы привозит. А я два килограмма шурупов привез. Увидел – свободно в магазине лежат. Не удержался.

Удивил он Слатина, когда взялся переложить печку.

– Никого не нанимай. Я же прекрасный печник. Первоклассный! – И радостно засмеялся. – Я в армии научился. Я же не только дороги и мосты строил, но и линейно-дорожные дома. Вот про одного и того же печника говорят, что одна печь у него удалась, а другая не вышла. Такого быть не может. Что значит: удалась – не удалась! Просто один раз случайно выполнил технические нормы, а в другой не выполнил. Делает на глазок! Я, например, из всех печек, которые сложил, пятьдесят процентов перекладывал уже готовых. Переведут нашу часть из села в село, я прихожу на квартиру, смотрю на печь, говорю хозяйке: «Что-то она у вас плохо горит. Давайте я вам ее переложу». Вначале не верит, а потом спрашивает – все одно и то же спрашивают: «А духовка печь будет?» Я заканчиваю класть и говорю: «Месите тесто, пока я заканчиваю, и будем печь». – «Да ну!» – «Месите!» Беру несколько щепок, зажигаю, кладу тоненькое поленце: «Сажайте!» Она берется

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
голыми руками за дверцу и ойкает. Откроет дверцу, а оттуда – жар. Хозяйка довольна, с женой у нее хорошие отношения... Вот так научился. И солдат научил. Их потом инструкторами в другие подразделения переводили.

Слатин смотрел, как Сурен радуется своей сообразительности, честности, и думал, что он и в детстве точно так смеялся заикаясь и вообще мало с тех пор изменился и как будто радуется, что во взрослой жизни сумел управиться лучше многих.

– Нет, – сказал Слатин, – этого я тебе не разрешу. Отопление паровое, не нужна мне печь. А работы до черта.

В детстве они жили в пятиэтажном доме, который принадлежал до революции деду Сурена. В двадцатых годах отец и мать Сурена занимали одну комнату в коммунальной квартире на четвертом этаже. Мать была грозная и гордая армянка со страшными красивыми глазами. Она на вопросы детей и на вопросы самого Сурена отвечала не всегда. В комнате у них стоял рояль – черная глыба, тускневшая год от года потому, что мать Сурена, как и всю свою мебель, протирала его мокрой тряпкой. На рояле никто не играл. Не учили и Сурена. И вообще он никак не выделялся среди дворовых ребят и, кажется, одним из последних во дворе узнал, что он внук бывшего домовладельца. Родители ему этого не говорили.

После седьмого класса и Слатин и Сурен поступили в строительный техникум, но Слатин из техникума сбежал, родители Сурена сменили квартиру, а потом Сурен как-то заурядно женился, обзавелся ребенком и уже одним этим отдалился ото всех. Его взяли в армию, он надолго исчез, а когда вернулся в город, у него уже было двое детей; вид у него был торопливый, замуторенный, а рука в пожатии худой и твердой. Он все где-то и как-то зарабатывал. Но где и как, Слатину было неинтересно. Слатин вообще тогда запомнил только то, что интересно.

– Слушай! – сказал Сурен. – Я ж тебя прошу, дай развернуться! На новоселье я тебе подарок должен сделать? Я всем на новоселье делаю печки. Все равно ее надо до побелки сделать. А где ты хорошего печника возьмешь?

Глину он месил руками. Объяснял:

– Цемент сушит, – он сделал всасывающий звук, – холодит. Поэтому его надо брать мастерком. А с глиной можно работать руками. Глина жирная. Я печки кладу руками...

– Натура у меня такая! – говорил он. – Не хотел в армию, а когда мобилизовали, преодолел первую неприязнь и решил: «Нечего время терять. Буду всю жизнь военным». Стал готовиться в военно-инженерную академию, заявление написал. Но послали не меня, а завклубом. На мне машины, рельсы, шпалы, работа, а он ничего не делает. Проведет танцульки раз в неделю – и все. Командир мне сказал: «В следующий раз тебя направим». Ладно, я работаю. Жду разнарядки на следующий год. Конечно, мне надо было проследить, но ведь не в бригаде, не в батальоне, а, в полном смысле этого слова, в лесу, в роте. Звоню по телефону. «Нет, – говорит, – пока разнарядки». Теперь бы я, конечно, перепроверил, а тогда еще наивный был. Я тебе не рассказывал, как я в армию попал?

Армянский язык стали забывать еще родители Сурена, и потому армянский акцент в его речи – прикрывающая смущение защитная реакция.

– Я тогда думал, что совсем уже служить не буду, прорабом работал на станции Калиновская. Городок небольшой, все друг друга знают, и когда мне военком восьмого марта, в Женский день, позвонил, чтобы я зашел, я ничего такого не подумал. А он спросил: «Григорьян, документы принес?» – «Принес». Положил на стол паспорт, воинский билет, а он открыл ключом ящик стола, как будто что-то хотел достать оттуда, но не достал, а вот так сбросил в ящик документы. – И Сурен очень выразительно показал, как военком лениво открывал ключом ящик, как смахнул одним движением в него документы, как запер ящик и протянул бумагу: «На, читай». А там сказано было: «Направить Григорьяна в распоряжение...» – командирское звание, как сейчас помню, не было проставлено. Ехать надо было срочно. Я пошел домой, жена ждала меня за праздничным столом. Я ей и преподнес подарочек. Вместе с ней на следующий день выехали в Москву. Оттуда на Север. Неделю добирались, приехали, а там еще зима, и не то степь, не то тундра и базовый поселок из нескольких барачных. Представился командиру, а он бойца послал за всеми командирами части, знакомить со мной. Вечер был, мне неудобно, зачем людей тревожить. Отдыхают ведь, завтра бы и познакомились. А они пришли, и стало

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru нас четверо. Командир каждого характеризует: «Это заслуженный воин, пользующийся уважением бойцов, авторитетом командования». Я заробел. Но тогда я уже немного в жизни понимал и предложил всем для знакомства выпить. Командир вроде засомневался, а потом дал добро. Повели они меня в магазин, я взял три бутылки водки. Сам я пью мало, думаю, три бутылки на четверых – хватит и еще останется. Выходим мы из магазина, а командир задумчиво так спрашивает: «А не мало ли это будет – три бутылки?» – И Сурен, заикаясь и захлебываясь, расхохотался. – Потом я узнал, что он катился с дивизии на полк, с полка на батальон, а держали его за то, что, если надо, все умел достать. Шпалы, рельсы, балласт, вагоны.

И потом меня на другие стройки перебрасывали. Один раз даже начальником гарнизона в районном городе был. И там тоже строил. И на службе и после службы. Клуб городу спроектировал, помог построить, потом в этот клуб бойцов в кино водил. Бойцы повзводно, а я с женой – за ними. Лида беременна была. Мне говорили: «Ты и жену строишь в кино водишь». А потом, сам знаешь, время пришло: вроде бояться нечего, всю жизнь честно работал, а ночью думаешь – черт его знает, может, что и не так. Тут случай подвернулся уйти – заболел. И я ушел. И жену убедил. Диплом у нее пропадает: то работает, то не работает. Дети без школы, а главное, сам без перспективы. Вернулся и поступил в это самое проектное бюро – подальше и потише. Спасибо, в армии научился печки класть. Я и сейчас иногда кладу. А раньше у меня бригада была. Каменщики, плотники – они дома кладут, а как кончают, зовут меня, чтобы я печку сделал. Я после работы беру чемоданчик, мастерок и еду. Два вечера проработал – печка. Четыре печки в месяц сложил – моя зарплата в проектное бюро. Я мог бы бросить службу и жить вот так! А в деревню выехать – и цены бы мне не было. И работа чистая: глина и песок. Руки отмоешь – белые, как у барышни. И настроение хорошее. Поработал – пошел. Я люблю петь. Меня и сейчас зовут. Я ж никогда не халтуру. Ребята после меня несколько печников пробовали – меня потом звали переделывать. Настоящий же печник говорит: «Трезвым не кладу». А я не пью. Хозяева даже сомневаться начинают. А я кладу чисто, хорошо, но сам знаю, что профессионального блеска не хватает, почерка, который складывается от постоянного повторения одних и тех же движений. Но горит всегда прекрасно. Однако сейчас я ребятам отказываю. Я им говорю: «На перспективу не работаете».

Часов в одиннадцать приходила дочь Сурена:

– Папа, мама волнуется.

К полуночи Слатин бывал уже мертв от усталости. Сурен тоже чаще ошибался и переделывал.

– Плюнь! – просил Слатин. – Пусть так!

Сурен упирался:

– Сделанное должно быть сделано. – И спрашивал у дочери:

– Мама внизу? Пусть поднимается.

Приходила Лида, полная, с одышкой, спрашивала:

– Заговорил людей? Замучил? Как тебе не стыдно, Григорьян?

Слатин смущался. Ему казалось, что и шутить так с наработавшимся Суреном нельзя. Но Сурен говорил:

– Это мой отдел технического контроля. Если Лида работу примет, значит, все в порядке.

И Лида находила какие-то недоделки.

Потом Сурен наконец начинал собирать в свою сумку плоскогубцы, отвертки, пробойчики, мыл руки, они садились за стол. Сурен просил кофе покрепче, и начинался разговор о детях. И Лида, и Сурен могли часами говорить о своих детях.

– У меня на десять лет вперед все расписано, – говорил Сурен. – Лишь бы войны не было. Когда сыну будет восемнадцать, я ему двухместную машину сделаю. Я тебе скажу, – предупреждал он возражения Слатина, – если войны не будет, все равно

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
ему захочется велосипед, а потом мотоцикл. Так машина безопаснее.

Слатин смеялся, а Сурен говорил:

– Только война будет. По газетам вижу и так чувствую. Я же военный человек. Чутье у меня есть. И знаешь, о чем я жалею? Меня там не будет, когда это начнется. Хочешь верь, хочешь нет. Я же со своими из части переписываюсь. Их давно к западной границе передвинули. На Черное море в отпуск через наш город ездят, ко мне в гости заезжают. Я знаю, кто что умеет. Кто начальства боится, кто жены. Я тоже жены боюсь и сам понимаю, что, если там буду, ничего не изменится. Но вот иногда думаю – что-то такое они без меня упустят, что-то не так сделают.

В прошлом году Слатин помог Сурену избавиться от беды. Сурен сделал проект на ремонт двухэтажного дома. Дом этот, строившийся когда-то на одну богатую семью, был неудобен для общежития. Сурен предложил жильцам передвинуть лестничную клетку, вместо мансарды – этаж, квартиры по возможности изолировать. Ему сказали: «Будем купать вас в шампанском». Проект он сделал, а когда явились строители, оказалось, что дом с изъяном: за первым слоем кирпича в стенах – пустотами. Дерево, правда, было еще превосходным: семидесятка, дуб. Должно быть, подрядчик купил и разобрал на доски старую баржу. Но те жильцы, которым переделка не сулила особых улучшений, написали несколько жалоб, в которых было сказано, что инженер Григорьян заставил жильцов согласиться на эту вредительскую переделку. И хотя жалоба была даже на первый взгляд пустой – проектировщику проще делать капитальный ремонт без всяких переделок и никаких возможностей кого-то заставлять у него нет, – жалобе дали ход. Тогда-то Сурен и разыскал Слатина. Слатин послал в проектное бюро толкового рабкора, и вот теперь Сурен нет-нет да напомнит: «Был с комиссией в том доме. Жильцы меня увидели, спрашивают: „А вы разве не в тюрьме?“»

Однако жалобы эти чем-то Сурену и помогли. В горисполкоме к нему присмотрелись, увидели, как он работает, и взяли „исполняющим обязанности“ главного инженера жилуправления. „Исполняющий обязанности“ – потому что анкета у него все-таки была не очень ясной. Убрать буквы „и. о.“ так и не решились и вернули в проектное бюро с условием, что он будет работать заведующим, а деньги получать как сантехник в одном домоуправлении и как истопник в другом, пока в горисполкоме не найдут возможности повысить ему зарплату. И он опять сел за свой стол, уволил нескольких пьяниц и начал ремонтировать помещение. Бюро размещалось в левом крыле городской бани, вела туда узкая и крутая, как в церковной стене, лестница. Стены не штукатурились и не белились много лет – присутственное заведение с тошнотворным запахом ожидания, с тоской потерянного времени.

Он перекрасил стены, добыл специальные столы для проектировщиков, разыскивал и приглашал инженеров и жаловался Слатину:

– Я людям объясняю: „У нас можно хорошо заработать. Сдельщина! Можно заработать и тысячу и полторы. Как будешь работать“. Ты знаешь, что мне отвечают: „Лучше я буду получать семьсот, чем зарабатывать тысячу“.

Сурен ошеломленно смотрел на Слатина.

– Если бы мне сказали: „Не работай! живи, как хочешь, но не работай“, – худшего наказания мне придумать было бы нельзя. Но я тебе скажу, человека можно отучить работать. Психологию ему так построить! – Сурен почему-то понизил голос. – В нашей конторе так и получается. Есть у нас строительная организация. Ремонтируют, строят по нашим проектам. Ни железа, ни краски, ни гвоздей, ни рубероида – никаких строительных материалов им не дают. А выкручиваться надо? Приходит заказчик с нашим проектом, а приходит, когда человеку уже позарез, когда он в крайности. Там посмотрят: „Этого у нас нет, этого у нас тоже нет, а это будет в третьем квартале“. Он им и говорит: „Я достал то-то, сам я слесарь, брат – печник, приятель – кровельщик. Мы сами все сделаем...“ А ему отвечают: „Мы включим вас в смету как своих сезонных рабочих и своих штукатуров пришлем“. И записывают себе полный объем работ! Слесарь, печник, кровельщик все быстро сделают – позарез! – штукатуры пол-литра разопьют, а начальство отчитывается на собрании: „План выполнен на сто и две десятых процента“.

– И ты молчишь? – спросил Слатин.

Усики Сурена затопорщились, он задумался:

– Вот слушай. Один раз ко мне на работу пришла мать. Они с отцом давно на окраину перебрались. Им нужно было печь отремонтировать, дымовую трубу нарастить. Я сказал, приду вечером, посмотрю, телегу с кирпичами пришлю и сделаю. А у меня в кабинете сидел прораб из этой конторы. Они у нас на планерках присутствуют. Тихо сидел. Мать ушла, а он поднялся ко мне. А у него газета под мышкой была. – Сурен вскочил, увидел на шкафчике газету, сунул себе под мышку. – „Зачем ты будешь сам возиться, трубу наращивать? Я телегу пришлю, печника“. Разворачивает газету. – Сурен наклонился к Слатину, развернул газету. – А в газетке у него смета: „Вот тут смета на пять тысяч рублей, подпиши“. Я как шуганул его! С трубой, кирпичами! Он вылетел из кабинета. Хотя не себе же он эти деньги положил бы в карман. Он выбивал зарплату для людей. Но вот пришел бы потом, сказал: „Я пошутил“. Не пошутил. У меня трое из этой организации работали, приносят смету: пиломатериал, купорос, олифа, гвозди... Я накрыл ее ладонью, говорю: „Меня всегда смешит, когда меня в строительных делах хотят обмануть. Но я вам предлагаю соглашение. Видите, как мы теснимся из-за ремонта? В три дня сделаете, я вам эту смету подписываю не глядя. Нет – пеняйте на себя“. На следующий день приходит один. „Где другие?“ – „Их прораб в другое место послал“. Те двое профессора, а тот, что пришел, шестерка. У них такое разделение. Покопался он два дня, на третий я его выгнал – без напарников не приходи! Явились. Говорю им: „Когда придете наряд закрывать, припомните наш разговор“. – „Начальник, все сделаем“. Еще три дня возились и исчезли. Я заглянул в комнату – чем же третий занимается? А он гвозди из одной кучи в другую перекладывает. На столе гвозди, понимаешь, по калибру разложены на три кучи, стол толкнешь, края куч смешиваются. Так он кладет с края кучи в центр! „Чем ты занимаешься?!“ – „Так гвозди же надо рассортировать“. – „Да они опять ссыплются!“ – „Так надо же!“ Я говорю: „Надо стеллаж перенести на место“. – „Не проходит“. Действительно, на два сантиметра сквозь двери не проходит. „Распили! Потом собьешь снова“. – „Так это ж надо пилить!“ – Сурен посмотрел на Слатина. – Ты говоришь, молчу ли я. Производство наше оборонного значения не имеет – ремонтируем людям жилье. Кто с нами считаться будет? А если бы у нас людей было побольше, оборот покрупнее, помещение получше – с нами могли бы и считаться. Я в Харькове был. Там здание трехэтажное, в штате десятки инженеров. Но я ж тебе говорю, что я уже тринадцатый начальник. Можно в таких условиях работать на перспективу?

Рассказывал Сурен азартно. То ли у него накопилось, то ли он так рассказывал потому, что Слатин работник областной газеты. Сам Сурен объяснял это так:

– Понимаешь, работы так много, что на друзей времени не остается.

Теперь ему предлагали место на заводе – сорок подчиненных, ставка семьсот рублей, и он спрашивает совета у Слатина, переходить или не переходить.

– Понимаешь, – говорил он, – директору нужен такой, как я. С административной хваткой. Талантливый инженер на эту должность не пойдет. – И Сурен смущенно улыбался потому, что сам же себя выводил из числа талантливых. – И я тебе скажу: год назад я и думать не стал – перешел бы. А сейчас с делом жалко расставаться. Все ж сердцем делалось. Пьяниц выгнал. Тех, кто за тринадцать начальников распустился, подтянул. Раньше ко мне в кабинет с криком входили – теперь крику нет. Я говорю: выгнал. Но это так говорю. Двух действительно уволил. А те сами ушли. Я и не держу. Ему сказали как-то, что от него сильно пахнет, а он ответил: „Все равно я ухожу“. И ушел без обиды. Понимает, что я прав, работать надо, а работать уже не может. Мне говорят: „Секретаршу взял не по чину красивую. Зарплата у тебя для нее слишком низкая. Все равно у тебя ее переманят“. Пусть переманивают. А новое дело начинать боюсь. Это же новые люди, новые связи. Тут мне верят еще и потому, что я бывший главный инженер, потому что за все эти годы я никого не обманул. А без личных связей, которые годами налаживаются, ничего сделать нельзя. Бумагу нам планируют 150 килограммов на год, а расходует мы две тонны. И никакими легальными способами эти две тонны не достать. Я каждый день, когда иду на работу, захожу в облснаб и спрашиваю: „Раиса Ивановна, остаточки есть?“ Момент надо уловить, когда придет бумага и картон, когда их распределят по разнарядкам и вдруг окажется, что осталось несколько тонн, на которые как раз в этот момент никто не претендует. И никого я вместо себя послать не могу: ни главного инженера, ни бухгалтера, ни боже мой!« «Сколько вам положено?!» Считаю с армией, третий раз начальником стал, с третьего захода стал понимать. Пришли

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
ко мне из НКВД, им срочно проект нужен. Я не посмотрел, что они в форме. «А чем вы можете мне помочь?» – «А что вам нужно?» – «Бумаги». Так они, молодцы, на собственной машине привезли мне кальку.

– Не боялся?

– Боялся, когда жена подруге в дом отдыха письмо с переносом на двух открытках написала. На первой открытке пишет: «У нас недавно состоялась встреча с руководителем подпольной группы...» Это в библиотеке у них встреча читателей с автором-партизаном. Вторая открытка где-то на почте затерялась, подруга из дома отдыха уехала, а письмо только пришло. Там его кто-то прочел и отдал куда надо. Оттуда переслали сюда. По почтовому штемпелю. Обратного адреса на открытке не было. Месяца через два к жене на работу приходят: «Ваше письмо?» Она обмерла. Стала объяснять. А те говорят: «Да мы все знаем. Задали вы нам работу». Она извинялась: «У вас столько работы, а тут я со своими глупостями». А я ей сказал: «Дура! У них же след в бумагах остался! Не могла подождать, пока твоя подруга приедет! Надолго расстались!»

Было видно, что Сурен и сейчас боится.

– Чтобы не было доносов, я все делаю открыто, – сказал он. – Копировальная машина мне нужна, план без нее провалится. Мне ее продают, но ставят условие: оформи моего рабочего на семь месяцев. Я думаю, семь месяцев это будет на мне висеть. Говорю: «Оформляю вас старшим инженером на три», – и смотрю на него. У него двести человек в подчинении, его весь город знает. «Подумаю». А я к своему горисполкомовскому начальнику. «Надо?» – спрашивает. «Надо».

А ты говоришь – боишься!

Сурен спрашивал совета, и Слатин удивлялся, что он может ему посоветовать?

– Когда сердце схватило, я в первый раз подумал: все равно придется уходить. К одному даже присматриваться начал. Тоже на ответственной работе был – бросил. Автобус водит. Здоровый стал. День дома, день – на линии. Я ж тоже шофер первого класса. И я тебе скажу, иногда так хочется плюнуть на все это, уволиться и два месяца ничего не делать. Жена библиотекой заведует, а мне книжку прочесть некогда. На работе проекты, домой чертежи беру – как заведенный, честное слово! Сам себе удивляюсь – откуда силы берутся! – И восторженный тон не соответствовал тому, что Сурен говорил. – Начальник у меня – работяга. Слова хорошие умеет говорить. Перед зимним сезоном котельные пускали, по двенадцать часов работали. «Люди не должны мерзнуть!» А на перспективу работать не любит. Скажешь: «Это ж не на один день! Надо о перспективе подумать», – смотрит с подозрением.

– Сколько ты получаешь?

– Как истопник четыреста и как сантехник четыреста пятьдесят, – засмеялся Сурен. – Я сказал председателю горисполкома: «Вы обещаете мне к будущему году персональный оклад, когда вас здесь, может, и не будет. А как новый человек посмотрит на мое совместительство?»

– С женой ты советовался? – спросил Слатин.

– Жена на пляже агитацией занимается, – опять засмеялся Сурен. – По воскресеньям у них нагрузка – выезжают на пляж с газетами и журналами. Детей с собой берет. Они купаются, а она на жаре в платье за столиком сидит. Библиотекаршам своим разрешает позагорать, а сама не раздевается. Я говорю: «Сиди в купальнике!» Не хочет. Какой-то начальник проверял, кому-то сделал замечание – она и не хочет. У нее же лучшая районная библиотека: стенды, смотры, связи с предприятиями, встречи с артистами. Требовала, чтобы я артистке руку поцеловал. Целый вечер готовился – и не смог!

Воскресное утро подходило к концу. Слатин собирался завинтить последний шуруп в полочку. Кусок хозяйственного мыла был весь в дырочках от шурупов. Сурен сказал:

– Последний шуруп – мой!

Они укрепили полочку в прихожей рядом с зеркалом.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– Едем ко мне, – сказал Сурен, – машину поставим и пойдем по аварийным адресам.

Слатин недавно просил Сурена показать город «глазами строителя».

Они спустились вниз. Слатин сел на заднее сиденье суреновского автомобиля, закрыл дверцу. Он ждал металлического хлопка, но звук был деревянный, фанерный. Красная пожарная краска, любопытные взгляды прохожих смущали Слатина. Сурен несколько раз дернул ручку, мотор мотоциклетно затарахтел, автомобиль развернулся и бодро покотил. Ехать было недалеко; у себя во дворе Сурен закатил машину в железный ящик – гараж, – и они вышли на улицу. Раньше Слатин не очень внимательно слушал рассказы Сурена. Но однажды по какому-то делу он заглянул к нему на работу. Пригибая голову, поднялся по узкой лестнице, прошел по коридору мимо длинной очереди, открыл дверь, на которой было приклеено объявление: «Прием заказов прекращен до 1 августа 41 года». Объявление никого не останавливало. В кабинете было много людей, и Слатин присел в сторонке.

– Сурен Алексеевич! Мы с ним договорились, а теперь его кто-то сбивает с толку, – раздраженно оправдывался проектировщик. – Низок ему потолок в два пятьдесят! Зачем вам кубатура? – повернулся он к человеку, который стоял у стола переминаясь. – Чтобы не гасла ваша печка! А мы поставим вам принудительную вентиляцию!

– Григорий Анисимович, – сказал Сурен, – чего хочет заказчик? Чтобы высота в котельной была три пятьдесят. Но ведь это мы обязаны навязывать ему эту высоту, поскольку она установлена ГОСТом.

Проектировщик вспыхнул, они еще поспорили с Суреном. Сурен отмечал какие-то места в чертеже. Потом в кабинет вошел новый посетитель. Сурен его спросил:

– Объявление на дверях видели?

– Но у меня исключительный случай.

У всех, кто приходил к нему, был исключительный случай.

– Я бациллоноситель, – плакала женщина, жаловавшаяся на прораба. – Три месяца лежала в больнице, вернулась, думала, все готово. Там же только пять ступенек...

Она ушла, прораб сказал:

– Алкоголичка.

– Мы с вами с ней не поменяемся, – ответил Сурен.

Пришел кто-то из своих:

– Сурен Алексеевич! Мы ж договаривались! Заказов больше принимать нельзя.

Но и у следующего посетителя был исключительный случай.

– У нас детское учреждение, да и проект небольшой. Перегородка, печь, котел. Не осенью ж это делать!

Слатин присматривался, и Сурен казался ему то отодвигающим себя на второй план, как в детстве, – человеком, которого легко склонить на свою сторону, – то совсем новым Суреном, которого ни уговорить, ни склонить нельзя. Слатин заметил, что для Сурена не было своих. Он просто разбирался в проекте, который ему приносили. Тогда Слатин и попросил показать ему город. Сурен понял его по-своему, выписал адреса нескольких аварийных домов и предложил свой автомобиль. Слатин не захотел привлекать к себе внимание этим странным драндулетом, и вот теперь они шли пешком. Это была десятки раз исхоженная улица. Привычная побитым асфальтом тротуаров, кирпичным цветом фасадов, ставнями на первых этажах домов. Кладкой дореволюционной, кладкой современной, потеками от водопроводных колонок – всем тем, что оседает в памяти постепенно и не замечается, не помнится потом. Они искали номер 106 с литером «В». Сто шестых оказалось несколько, и Сурен, что-то прикинув, направился в глубь двора к самой старой на вид халупе. У двери возилась с примусом женщина в прокеросиненном халате.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Это сто шестой «В»? – спросил Сурен у нее.

– Это уже сто восьмой, – сказала женщина.

– Вот этот сарай сто шестой «В»?

– Сарай! – сказала женщина. – В этом сарае семья живет. Нет, это тоже сто восьмой.

Слатин посмотрел на сарай – крыша его прогнулась седлом.

– Все равно, – сказал Сурен. – Комиссия у вас уже была? Дом записали на слом?

– Нет, – сказала женщина, – комиссии у нас не было.

Теперь из соседней двери за ними наблюдала женщина, такая же пожилая, в таком же прокеросиненном халате, с обесцвеченными старостью, дурным воздухом волосами, с бледной кожей шеи и лица.

– Да что комиссия! – сказала женщина. – Вон тот сарай, о котором вы говорите. Там уже было столько комиссий, а все равно людям некуда деться.

Женщины теперь проявляли к Сурену и Слатину некоторый интерес. Однако не очень сильный.

– Когда ваш дом построен? – спросил Сурен. – Можно войти?

– Еще хозяин строил, – сказала женщина. – Сто лет дому, не меньше. Теперь он жактовский.

Ни ступенек, ни крыльца в доме не было. Пол был настлан прямо по земле. Однако войти оказалось непросто. Дверная рама просела, и дверь приоткрывалась, а не открывалась. Дерево на полу истлело, было побито гнилью, как металл коррозией. В комнате стоял тот самый запах, которого можно было ожидать, лишь взглянув на халат женщины. Так пахнет воздух, из которого парами керосина вытеснен кислород.

– Комнаты сырые? – спросил Сурен.

– Да, – сказала женщина. – Холодные.

В комнате стояло четыре кровати.

– Кто с вами живет?

– Невестка. Сын в армии. Скоро демобилизуется.

Женщина по-прежнему была сдержанна, но на вопросы отвечала. Старая, в этом старом доме, она вызывала жалость, но не очень сильную. Так складывалась ее жизнь, так шла она у нее десятки лет – ничего тут не изменишь даже новой квартирой.

Они вышли во двор, женщина шла за ними. Она даже не спрашивала, откуда они, Сурен сам объяснил – из проектного бюро, – но, видя, что они уходят, все же заторопилась. Показала, как легко отделяется пористое дерево, если его просто взять пальцами.

– Это же название одно – рамы, – сказала она. – Они уже двадцать лет не открываются. Двадцать лет дышим одним и тем же воздухом.

– А к домоуправляющему обращались? – спросил Сурен.

Глаза женщины сразу потускнели, она не ответила, а Слатин и Сурен направились к двухэтажному барaku. Дом был оштукатуренный, серый, как будто каменный. Но Сурен сказал:

– Деревянный, обтянутый сеткой, по сетке оштукатуренный. Потолок из камышитовых матов. Материал неплохой, но недолговечный. Конечно, если барак простоит столько, сколько ему положено, то не страшно. Но ни одного временного строения

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
мы еще не снесли. Средства вгоняем в капитальный ремонт, и дома повисают у нас на балансе. Люди идут в город, а жилья нет.

Ничуть не смущаясь тем, что из барака на них смотрят, Сурен объяснял все это Слатину. Сурен вообще не смущался во дворе чужого дома, привычно входил в дом к пожилой женщине, по-хозяйски ее расспрашивал, привычно уходил, так ничего и не пообещав.

Из окна на них смотрела девушка. Сурен спросил:

- Это сто шестой «В»?
- Сто шестой, а какой литер, не знаю, – сказала девушка.
- Комиссия у вас была?
- Была, – ответили откуда-то сверху. – Вот поднимитесь сюда, молодые люди.

В темноватом подъезде они разглядели на площадке второго этажа двух старух. Из длинного коммунального коридора на первом этаже уже кто-то спешил, но старухи перехватили их:

– Сюда, сюда, посмотрите сами!

Перила, пол в коридоре – все было деревянным, серым и шелушащимся. Весь барак пересох и ослаб от старости. Эту его опасную старческую легкость Слатин почувствовал, когда поднялся по деревянным ступеням на второй этаж. Их завели, затащили в коридор и, как показалось Слатину, с каким-то торжеством показали подпертый бревном потолок. Потолок переломился и обнаружил скрытый в других местах камышитовый мат. Это были плотно связанные, почерневшие камышины.

– Видите! – сказали старухи.

Слатин смутился. За ними следили, и смущение Слатина сразу же было замечено и по-своему истолковано. Их потянули дальше по коридору. Показали огромную кухню со старой кубовой печью, с двумя старыми плитками, с десятком кухонных столиков. Такие столики не выпускает ни одна фабрика, но только такие столики и можно увидеть на кухнях коммунальных квартир. Коридор был загроможден вещами: сундуками, ящиками, детскими велосипедами.

Сурен и в этом коридоре чувствовал себя уверенно, уверенно задавал вопросы, спокойно объяснял Слатину:

– После революции камышит был в моде. Технология разрабатывалась, но далеко дело не пошло. Добывать оказалось не так-то просто. В болотах, плавнях – только на первый взгляд дешевый материал. Давно вы здесь живете? – спросил он у женщины, которая тянула их в свою квартиру.

Оказалось, барак был построен для работников НКВД, потом они получили новые квартиры, а барак заселили портовыми рабочими.

– Разве можно здесь жить? – распахнула женщина дверь в другую точно такую же комнату. – Когда соседям давали квартиры, мы нахрапом позанимали их комнаты, двери туда прорубили.

В каждой комнате было по две кровати. Во второй комнате спиной к Слатину и Сурену на кровати лежал мужчина. Распахнутая дверь, шум его разбудили. Он сменил позу, но не повернулся к вошедшим. Слатин заторопил Сурена:

– Пошли!

Им еще что-то хотели показать, на лестнице их ждали жильцы первого этажа, но Слатин настойчиво тянул за собой Сурена. Было удивительно, что их так и не спросили, кто они такие. Когда они уже спускались по лестнице, их окликнули:

– Вы скажите там, где надо!

И кто-то добавил непечатное слово.

– Мы из проектного бюро, – сказал Сурен. – Там, где надо, мы скажем, – и спросил у Слатина: – Слышал?

– Ругаются? – сказал Слатин.

– Ого! Никого не боятся.

Они вышли на улицу, и Слатин ее как будто не узнавал. А Сурен показывал ему дома и рассказывал. Сурен дома видел насквозь, диагнозы ставил мгновенно. Показывал на одноэтажный дом, который Слатину казался кирпичным:

– Деревянный, обложенный кирпичом. Кирпич скоро осыплется. Считай, дома уже нет. До революции сколько хочешь было подрядчиков-халтурщиков. Хозяин не следил – делали черт знает что! Стена вроде кирпичная, а на самом деле между кирпичами – земля. Сейчас ремонтируем дома – находим.

Он сверился со своим списком адресов и повел Слатина вниз, к реке. Это была самая старая часть города, тихий пешеходный район, хотя центр был совсем рядом. То, что улицы стары, было видно и по толщине уличных деревьев, и по оконным ставням, и по цвету булыжника на мостовой, и по абсолютному отсутствию автомобильного и трамвайного шума. В тишине солнечный свет был ярче и жара сильнее. Тень лежала короткая, от одноэтажных домов. Сурен закурил и залился потом, рубашка прилипла к спине и на животе. Он, как полотенцем, вытирал платком лицо и шею и рассказывал Слатину, почему в стенах некоторых домов кирпич имеет два, а то и три оттенка. Люди использовали и фабричный кирпич, и кирпич, взятый после разборки разрушенных в гражданскую войну зданий, и кирпич от взорванного городского собора. Собор взрывали в двадцать седьмом году, но что делать с развалинами, долго не могли сообразить. Кирпича, мусора, обломков стены было так много, так много было еще устоявших стен, что на разборку всего этого потребовалось бы множество машин и рабочих. Всю площадь обнесли огромным забором. Газета, в которой работал Слатин, несколько раз писала о том, что будет на этой площади. Развалины постепенно расчищались, забор укорачивали – открылось большое пространство, на которое, чтобы засыпать кирпичную пыль, жесткий строительный мусор, завозили землю и песок.

– Что это на крыше? – показал Слатин на странную, лепесткового вида крышу.

– И толь, и рубероид, и пергамин.

– Давай зайдём сюда, – предложил Слатин. Он уже догадался, что далеко ходить незачем.

Сурен согласился, и они вошли. Дверь халупы, накрытой лепестковой крышей, была открыта, и Сурен постучал о притолоку.

– Хозяева! – позвал он, и Слатин опять услышал в его голосе бесцеремонные нотки.

От марли, занавешивающей дверь, тянуло тем же сильным бескислородным керосиновым запахом.

– Разве это дом! – кричала женщина. Она работала на табачной фабрике, а ее муж – дворником в мореходном училище.

– А на предприятии вам что-нибудь обещают? – спросил Сурен.

– Что там обещают! – сказала женщина.

Они вошли вместе с ней в халупу, а когда вышли во двор, их уже ждали. Мужчина в майке повел их в глубь двора и показал жерло большой цементной трубы.

– Источник? – спросил Сурен.

– Лет двадцать – тридцать назад был, – сказал мужчина в майке. – Я не помню, а люди говорят. А теперь осенью и вообще в дожди вода идет, – и он показал путь, которым течет вода. Он шел прямо под стеной дома. – Может, засыпать люк?

– Ни в коем случае, – сказал Сурен. – Помните, как ушел под землю новый дом?

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Должны помнить – это в двух кварталах от вас. – Сурен повернулся к Слатину. – Там была старая дренажная система. В гражданскую планы сгорели, никто не знал, как она работает и зачем там люки. Портовики построили там четыре трехэтажных дома. До этого никто дренажную систему не трогал, она сама работала помаленьку, воду спускала. А тут пришел управляющий, подумал, зачем ему пустые люки, дети еще туда попадут. Забил их камнями и землей. А тут дожди – и дом ушел под землю. На воде стоял.

– Как ушел? – не понял Слатин.

– Провалился, и все. Многим еще повезло. Дети в школе, отцы на работе. Многих строителей тогда посадили. А какое ж это вредительство – просто малограмотность.

Мужчина в майке спросил:

– И наш дом на воде стоит?

– На водоносном слое, – сказал Сурен. – Надо прислать вам инженера.

– Да приходили уже, – сказал мужчина. – Мы звали, когда вода шла. Один и предлагал забить камнями. Я и набросал, а вода все равно шла.

Сурен еще что-то хотел узнать, но Слатин потянул его. Движение его сразу было замечено.

– Да-а! Ходят тут, – сказал кто-то.

– А вы кто такие будете? – спросил мужчина в майке.

– Из проектного бюро, – сказал Сурен.

Они вышли на улицу, и Слатин даже головой встряхнул от наваждения. Раньше он город видел как на рекламных открытках: Дом Советов, театр, а теперь – пергаминовые крыши.

Сам Слатин до последнего времени жил в коммунальной квартире. И друзья его имели комнаты в коммунальных квартирах. В настоящих двух- или трехкомнатных квартирах он бывал так редко, что ни зависти, ни энергии добиваться и для себя чего-нибудь такого же это в нем не возбуждало. И вообще все это как-то определяться стало для него совсем недавно. Только сейчас сквозь книжный туман он стал замечать комнату, в которой спал, кухню, в которой мать готовила еду. Один раз в жизни он сшил костюм на заказ, и все, что было связано с хождением к портному, надолго оставило в нем стыдное ощущение. Человек, который мог тратить энергию на то, чтобы достать себе модные туфли, был ему странен и неприятен. Работа поглощала Слатина целиком. Может быть даже, он был фанатичным человеком. Ведь то, ради чего он работал, называлось счастьем человечества. А квартирная бедность и бедность в одежде, которую Слатин вовсе не ощущал как бедность – все жили примерно одинаково, – развязывала ему руки, освобождала от низменных хлопот. Он родился в бедной стране, где беднота совершила революцию, и слово «необходимость» было одним из главных в его словаре.

– Мало пока строим, – сказал он Сурену.

– Мало! – ухватился Сурен.

– Но ведь строим же, – сказал Слатин. – Простым глазом видно. Все средства в тяжелую промышленность вгоняем. На квартиры не хватает.

Сурен ответил непонятно:

– Сознательных много – инициативных перевели. Сами себе создаем трудности, а потом героически преодолеваем их. То, что идет на тяжелую промышленность, – пусть идет. А дома можно строить на месте своими силами. И людей, и средства – все можно найти. Материал местный есть – я в карьерах бывал, присматривал. Смелости нет – одна сознательность осталась. Специалисты нужны, инициативные люди. Заговори с председателем горисполкома. Про международное положение он тебе расскажет. Спроси, как дренажная система работает, сразу заскучает. План есть? Больше никому не надо! А какого главного инженера взяли? Пацана, закончившего

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
техникум. Бывают молодые, да ранние, а этот пустой. Специально взяли, чтобы было
на кого вину взваливать.

Получалось, что Сурен еще и жалуется. Слатин сто раз давал себе слово не
участвовать в таких разговорах. Сурен сказал:

– Помнишь дом, в котором мы жили? Знаешь, что это дом моего деда? Зайди туда –
дерево в оконных рамах как новое. У деда глаз был. Дед в наш город приехал из
Мариуполя не с капиталом, а с рекомендательным письмом от хозяина, у которого
работал приказчиком. Ему под это поручительство занимали деньги. Тогда тоже не
только на деньги, но и на человека ставили.

Никогда Сурен не говорил со Слатиным о своем деде, но сегодня Слатин почему-то
ждал, что Сурен именно об этом и заговорит.

– Хорошо, – сказал Сурен, – у этого анкета не та, тот на собрании не то слово
сказал. Или совсем не умеет на собрании говорить. А работать кто-то должен? А
как работать на перспективу, если я – тринадцатый начальник? Ведь никто не хочет
думать, что все, что сегодня строим, завтра надо будет перестраивать. Я как этот
американский журнал посмотрел, сразу решил: брошу свою контору, перейду в
институт.

– Значит, переходишь?

– Погоди. Случай подворачивался скандалить, я скандалил. Звонит мне недавно
какой-то мужик: «Позвоните в горком товарищу Дубоносову». Не сам Дубоносов, не
секретарша его, а солидный мужик. Я звоню – Дубоносов занят. А у меня дел по
горло. Через полчаса тот же голос: «Почему не звоните товарищу Дубоносову?»
Дозвонился. «А-а, это ты, Григорьян!» Понимаешь, «ты»! Старый знакомый!
Объясняет, в чем дело. В зубокабинетной клинике лаборатория оказалась без
вентиляции. Чтобы ее исправить, надо было поработать, а они ее просто забили.
Форточка – вся вентиляция. А там пломбы делают, пары ртути. «Надо им сделать
проект, – говорит Дубоносов, – и побыстрее». А у него там жена работает. «Ты не
стесняешься», – думаю. Я отвечаю: «У нас строгий график, утвержденный главным
инженером горжилуправления. Вы ему позвоните». – «Да нет, Григорьян! Ты сам ему
позвонишь. Скажешь, Дубоносов дал указание». Я у него спрашиваю: «Ты один у себя
в кабинете?» – Опешил: «Да, а что?» – «Пойди ты к... матери!»

– Значит, точно переходишь? – засмеялся Слатин.

– Нет, – сказал Сурен, – партийная дисциплина. Заявление я начальнику подал. Он
меня к заместителю, а потом к председателю горсовета вызвали. Бумагу показывают:
«Мы вам выхлопочем клад». Спрашивают: «Григорьян, ты не пользовался путевками в
дом отдыха?» Понимаешь, один говорит, другой вторит: «Да, кстати, должность
начальника бюро приравнивается к должности заведующего отделом горсовета. Надо,
чтобы Григорьян получил путевку и подъемные. На лечение». Сколько лет работаю,
никто так со мной не разговаривал. Просил – не помогало. Теперь в минуту все
стало возможным.

Они шли по Нижнебульварной улице. Отсюда была видна река. Пляж, усыпанный телами
загорающих, моторный паром, везущий отдыхающих на пляж, парень на корме парома с
гитарой наперевес... Они еще не знали, что двадцать минут назад радио сообщило о
начале войны с Германией.

* * *

Вечером в квартиру Сурена постучал попрошайка. Он стучал из квартиры в квартиру.
«Мы из колхоза на машине приехали. Мотор загорелся, пиджаками тушили». Ему
выносили одежду, а Сурен спросил:

– Где машина стоит?

– За углом, – сказал попрошайка.

– Подожди меня. Я немного автомобилист. Помогу.

Сурен вернулся в комнату.

– Подозрительный, – сказал он жене. Лида принесла из соседней комнаты

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
милицейский свисток. Сурен сунул его в карман. Когда он вышел во двор, на улице уже было пусто, и Сурен двинулся в хлебный магазин напротив. Мужчина стоял, спрятавшись за дверь. Сурен сказал:

– Пойдем. И не вздумай делать глупости.

В милиции было тесно, туда весь день доставляли подозрительных. Сурена усадили писать объяснительную записку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Было до войны такое выражение – «гореть на работе». Слатин точно знал, что это такое. Через несколько минут работы он начинал чувствовать, как сосредоточенность давит изнутри на глазные яблоки и давление все усиливается. У него воспалялись веки и, казалось, поднималась температура. Когда Слатин проходил сквозь вестибюль редакции, пожилой шофер Александр Мокеевич Шмикин спрашивал его участливо:

– Здоровье–то как?

Слатин был еще в том возрасте, когда никто не спрашивает друг друга о здоровье.

– Да вроде... – изумлялся он.

– И слава богу! – будто с облегчением сразу же отступался Александр Мокеевич. И исчезал, растворялся в сумраке огромного вестибюля.

Когда у Слатина вот так давило на глаза, те, с кем он встречался и здоровался, в ту же секунду растворялись за его спиной. Физическое ощущение горения высвобождало его из комнатной и коридорной суеты, делало причастным к чему-то гораздо большему, чем редакция. Пока было горение, было и ощущение независимости, свободы, нравственно прожитого дня. Утром, поздоровавшись со всеми, он выкладывал на стол рабковские письма, стопку чистой бумаги, отключался и ждал, когда сосредоточенность, дающая о себе знать слабым давлением на глазные яблоки, осадит в нем вчерашнее, сегодняшнее и у него останется одна ограниченная профессиональным напряжением способность воспринимать нужные газете факты и слова. А горение – оттого, что печатное слово было для него словом правды и справедливости.

Если к Слатину приходил посетитель, Слатин не сразу поднимал на него воспаленный взгляд. Он работал, делал газету, гнал строчки, а посетитель мог понадобиться газете, а мог и не понадобиться, и в любом случае он мешал работать. Тут было противоречие, и Слатин оставлял веки полуприкрытыми, чтобы во время разговора сохранить горение.

Стол Слатина в длинной узкой комнате стоял первым от двери. Большинство посетителей здесь задерживались, а им нужно было пройти дальше, к окну, к Вовочке Фисунову. В сумрачные дни Слатин зажигал у себя лампу, так что по расположению столов опытные люди сами догадывались, кто в отделе заведующий. Чаще всего это были театральные администраторы. Двери они распахивали широко и, ни секунды не колеблясь, шли сквозь всю комнату к Вовочкиному столу.

Этот момент мгновенного распознавания начальника неприятно волновал Слатина. Он переставал править и следил за этими громкоголосыми мужчинами. Уходили они, все так же равнодушно минуя столы напарника Слатина и самого Слатина, а лица их были как спины.

Когда двери за ними закрывались, Слатин спрашивал грубо.

– Что-нибудь интересное?

И Фисунов с несмятой длинной папиросой в аккуратных пальцах поднимался из-за стола и направлялся к Слатину.

– Вот, – говорил он, раскладывая перед Слатиным театральные программы, в которых уже успел сделать карандашом свои пометки. При этом Вовочка доверительно наваливался на стол и очеркивал ногтем фамилии актеров и актрис. – Ничего, – пожимал он плечами. – Так себе. А это дублер. – И он морщился, показывая Слатину, какой это дублер. – Сам пойдешь? – спрашивал Вовочка. – Или кого-нибудь

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
пошлем?

Вовочка обходил стол и полуобнимал Слатина за спину. Спина у Слатина напрягалась, и он все еще грубо спрашивал:

– Рецензию будем давать?

И Вовочка, окончательно уничтожая только что ушедшего администратора, говорил:

– Аннотацию. Так... Нейтральную. Взъерошивал Слатину волосы и возвращался к себе.

Они вместе пришли в редакцию. В редакции говорили, что весь тридцать седьмой Вовочка проспал в областном издательстве у себя за редакционным столом. Он сам говорил, что согласился променять издательство на газету, чтобы расшевелиться на живой работе. Но и здесь он начинал засыпать уже с утра. Лицо его, интеллигентное, красивое, но немного ненатуральное, а как у актеров, сделанное, иногда вдруг становилось прозрачно-желтым, морщины углублялись, а нос заострялся. У Вовочки была застарелая болезнь печени, она истощала его.

В такие минуты он доставал папиросу, стучал мундштуком о крышку коробки и часто откладывал, так и не закурив. Все жесты его аккуратны и немного ненатуральны, а по-актерски сделаны. Манеры его поражали не только своих, местных, но бывалых столичных театральных администраторов. Вовочка любезно поднимался и даже выходил им навстречу, наклонялся в затянном поклоне и в ответ на громкий голос, на ветер, поднятый решительным человеком, произносил что-то очень тихое. И человек, повинувшись Вовочкиному любезному жесту, садился на стул, расстегивал пуговицы на своем северном пальто и произносил что-нибудь будничное: «Жарко у вас». Или: «Юг, а холод чертовский». Вовочка предлагал папиросу, быстро обходил стол, садился на свое место и, уже просто вежливо улыбаясь, заговаривал о деле и ничего не обещал: «Нет, на все спектакли дать рецензии не сможем. У нас газета областная. – И – немыслимое дело! – кокетливо клонил головку набок. – Возможно, один спектакль отрецензируем». Когда посетитель поднимался, он вскакивал, глубоко наклоняясь, протягивал руку через стол, потом вместе с посетителем делал два-три шажка к двери, произносил что-то вроде: «Очень мило!» – и возвращался к себе. Лицо его мгновенно гасло, к коже приливали серость.

Сидел он в зябко накинутом на плечи пиджаке.

В первый раз Слатин поругался с ним, когда Вовочка поручил ему выправить главу из романа местного писателя. Слатин тогда впервые узнал о существовании малограмотных писателей. Он прочел и ужаснулся:

– Но это же так плохо, что этого просто не может быть!

– Там совсем не так много работы, – сказал Вовочка.

– Это невозможно! – кричал Слатин. – Когда я правлю письмо неграмотного человека, я помогаю ему сформулировать его же собственные мысли. Но писать за писателя! Малограмотный писатель! Это же чушь какая-то!

Однако Вовочка никогда в таких случаях не вслушивался в то, что ему говорит Слатин. Не выслушивал доказательств и не выдвигал своих. Если взбешенный Слатин швырял ему на стол исчерканный лист, Вовочка пережидал некоторое время, а затем молча, с нерушимой улыбкой возвращал его Слатину. Если Слатин не унимался, Вовочка, поджав губы, выходил из комнаты своими короткими, быстрыми шажками. «Жаловаться пошел», – думал Слатин и готовился к объяснению с главным. Но Вовочка возвращался в кабинет минут через двадцать той же походкой, молча проходил мимо Слатина, а у своего стола вдруг делал ловкий балетный поворот и показывал Слатину свое улыбающееся лицо. Это было как на эстраде: вот негодующее лицо, а вот без всякого перехода – улыбающееся.

– Оттаял? – грубым голосом спрашивал Вовочка и усаживался за свой стол, – Можно работать? Вот прошу тебя. – И он показывал, что надо сделать с писательской главой, чтобы она приобрела приличный вид. – Не из-за чего было крик поднимать.

Потом Вовочка задремывал, а Слатин работал.

Иногда Вовочку звали к редактору, он уходил, потом возвращался, присаживался к

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru телефону и начинал дозваниваться в аптеки – добывал для редактора редкие лекарства. Во всей редакции один редактор называл Вовочку Владимиром Акимовичем.

Третьим работником в отделе (вернее, вторым, третьим был Слатин) был маленький изможденный человек с лысеющим марсианским черепом и неправдоподобной фамилией Стульев. Было странно, что человек с таким слабым телом обладал неистощимой работоспособностью и низким мощным голосом, который он мог усиливать как угодно. «Моя фамилия Стульев, – сказал он Вовочке этим своим мощным голосом, – но это не значит, что я позволю кому-нибудь на себя садиться».

Стульев пришел в газету на несколько месяцев раньше Фисунова и Слатина. Его перевели сюда из военной газеты, где он, единственный штатский, вольнонаемный, занимался стихами и вообще художественным творчеством бойцов и командиров. Здесь он тоже занимался стихами, которых в месяц на отдел поступало не меньше ста пятидесяти штук. Стульева из военной газеты в областную брали «на отдел», но в конце концов заведующим сделали Вовочку, и это определило их отношения. В первый же раз, выслушав Вовочкины замечания о стихотворении, которое надо было поставить в воскресную полосу, Стульев сказал:

– Ваши замечания меня не обескураживают. Я знал одного человека, который вычеркивал стихотворную строку и вписывал прозаическую.

– Правильно делал, – сказал Вовочка. – Ошибка в стихотворном размере лучше, чем смысловая ошибка. Я вас прошу, исправьте.

Стульев с минуту постоял в раздумье, взял листок и отправился к своему столу. Через пять минут он положил перед Вовочкой новый вариант этого один раз уже переписанного им, а теперь исправленного чужого стихотворения.

– Это уже лучше, – сказал Вовочка.

В каждом материале, подготовленном Стулевым, он находил, что исправить. Стульев молча исправлял, а Вовочка от этого страдал еще больше, потому что не было видно, раздражался ли Стульев. Стульев был мастером сосредоточенности. Слатину нужно было все-таки сделать над собой усилие, чтобы отключиться, чтобы вызвать внутреннее давление на глазные яблоки. Стульеву, по-видимому, надо было делать над собой усилие, чтобы выйти из состояния почти постоянной самоуглубленности. Когда кто-нибудь заходил в отдел, чтобы просто потрепаться, со Стулевым он должен был здороваться не меньше трех раз. Начиналось что-то вроде игры.

– Здравствуйте, Родион Алексеевич! – говорил приятель и подмигивал Вовочке и Слатину.

Никакого ответа.

– Родион Алексеевич! Здравствуйте!

И хоть бы сидел неподвижно – курит, пишет. – Стульев, здравствуй!

– А? – не поднимая головы от работы, говорил Стульев.

– Здравствуй, говорю.

– Да, – отчетливо произносил Стульев. Собирал листки, исписанные мелким четким почерком, поднимался из-за стола во весь свой маленький рост и неторопливо, не глядя по сторонам, выходил из комнаты, шел в машинное бюро и возвращался в отдел с тем же выражением отрешенности и неузнавания. И нельзя было понять, узнал ли он того, кто с ним здоровался.

Стол его стоял торцом к двери так, что Слатин видел склоненный над работой профиль Стульева. И все, входившие в отдел, видели его наклоненную над работой голову. Когда открывались двери, Слатин не поворачивался потому, что сидел к ним спиной. Но Стульеву легко было, нисколько не меняя позы, взглянуть на входящего. Слатин механически взглядывал на Стульева – кто там? – на лице Стульева выражение его обычной сумрачной отрешенности и сосредоточенности в этот момент только усиливалось.

– Вы заведующий? – спрашивал Слатина посетитель. Слатин кивал в сторону окна.

– Вы главный? – переходил человек к Стульеву. И Стульев своим неожиданным низким и мощным голосом говорил:

– Нет, я не главный. Главный вон там! У окна.

Человек направлялся к Вовочке, который, побледнев, переживал всю эту сцену, а теперь, любезно улыбаясь, разворачивался всем корпусом навстречу посетителю. Стульев говорил вслед:

– Зовут его Владимир Акимович Фисунов.

Лет пять-шесть назад Стульева в лицо знал весь город. Он работал в филармонии.

Вообще-то Стульев был ленинградец, но в начале тридцатых годов уехал оттуда и оказался на Дальнем Востоке, где его, истощенного и больного, пригрела руководительница эстрадного оркестра, его нынешняя жена. Она же и привезла его сюда, на юг, к своей матери, в комнату в десять квадратных метров. Жена была лет на десять старше Стульева, детей у них не было. Они брали на воспитание беспризорников.

Этот маленький человек с нарочито замедленными важными движениями, с тонкими, слипающимися во время рукопожатия пальцами детских ручек, с постоянной папиросой во рту так нагружал себя своей и чужой работой, что никому в редакции это не было бы по силам. Поспорив однажды с Вовочкой о том, как нужно выправить стихотворение, Стульев уже не спорил с ним никогда. Принимал от Вовочки любые материалы, аккуратно укладывал их в папку «необработанных писем», доставал оттуда по очереди, прочитывал и, уже не заглядывая в авторский текст, на чистом листе бумаги писал свой вариант.

– А я давно уже не правлю, а переписываю, – сказал он Слатину. – Будешь править – запутаешься. Да и нечего там править – я-то лучше знаю, что сегодня газете нужно! И авторы довольны – я лучше пишу, чем они. В военной газете я литературные конкурсы устраивал – на лучшее стихотворение, лучший рассказ. По несколько рассказов заново переписывал. Премии присуждал. Все довольны – и авторы, и начальство.

Слатин ужасался.

Когда Вовочка уходил и они оставались вдвоем, Стульев распрямлялся и охотно разговаривал со Слатиным.

– Но ведь это... – говорил Слатин, – ложь?

– Конкурс объявлен? Где взять рассказы на объявленную тему? Я премии получал. А объявить конкурс несостоявшимся – грубейшая политическая ошибка. У нас нет талантливых людей? Следовательно, либо ты сознательно сорвал мероприятие, либо – в лучшем случае – плохо подготовился к нему.

Слатин слушал и ужасался.

Родион Алексеевич был для Слатина целой журналистской фабрикой. У Стульева всегда было много посетителей.

– Мне нужен Родион Алексеевич Стульев, – говорил посетитель.

Ему никто не отвечал, он подходил поближе, и в тот момент, когда он собирался повторить свой вопрос, Стульев, не поднимая головы, говорил своим низким мощным голосом:

– Да?

– Вы Родион Алексеевич?

– Я.

– Мне сказали, что мои стихи у вас.

– фамилия?

Человек называл фамилию.

– Ваших стихов у меня нет.

– В отделе писем меня направили к вам.

– Десять дней назад вам послан ответ.

– Может, вы забыли? Мне сказали, что у вас много стихов.

– Назовите первую строчку.

Человек не понимает.

– Свои стихи помните?

– А-а! – удивляется поэт и называет первую строчку. И тут-то начинается главное! Стульев его прерывает и, с некоторым усилием припоминая, продолжает читать стихи сам.

– Да-да, эти, – останавливает его пораженный и пристыженный поэт. Но Стульев продолжает читать строчку за строчкой, пока не дойдет до конца.

– Ваши стихи? – спрашивает он.

– Мои.

– А вы говорите – «забыл». Мы ничего не забываем. Могу назвать запятые, которые вы поставили неправильно и которые вы поставили правильно. Неправильно поставленных у вас большинство. У вас слабовато с грамматикой. И размер вы не выдерживаете. Знаете, что такое стихотворный размер?

– Бросить писать?

– Писать стихи, – говорит Стульев своим мощным голосом, – гораздо лучше, чем пить водку. Поэтому я не советую вам бросать стихи. Но посылать их в газеты повремените. Вы только пишете? Или читаете тоже?

Десятки раз маленький человек на глазах Слатина превращался в значительного человека с мощным голосом. Превращения эти, несомненно, были приятны самому Стульеву. Он долго не отпускал подавленного посетителя, распекал его все благодушной и наконец отпускал. При этом Стульев часто выходил из-за стола, возбужденно прохаживался по комнате. Но очень быстро успокаивался, садился, откидывался на спинку стула и говорил:

– Память у меня феноменальная. Прочту страницу – помню все от первого до последнего слова. Хотел бы забыть – не могу. В университете экзамен сдавал – экзаменаторы заволновались: как по учебнику читал. Я им объяснил. Они дали мне прочесть несколько страниц, я потом даже переносы со страницы на страницу называл. Говорят: «Потрясающе!»

Еще из военной газеты Стульев принес с собой карту Европы. Каждый день флажками он отмечал на этой карте движение немецких войск в Бельгии, Франции, Польше.

– Вот с кем придется воевать, – сказал Слатину.

– А договор?

Карта висела за спиной Родиона Алексеевича. Не обращиваясь к ней, он сказал:

– Посмотри на карту.

Карта эта была известна всей редакции. Посмотреть на нее приходили из всех отделов. Иногда возник спор, так ли Стульев ставит флажки. Немцы, подошедшие было к Львову, отошли на свою линию, а Родион Алексеевич не убирал желтого флажка. Спорами этими Вовочка был недоволен. Как-то он сказал Стульеву:

– Родион Алексеевич, а не удобнее было бы, если бы вы свою карту повесили в зале заседаний?

Стульев не ответил ему. А Слатин спросил:

– Владимир Акимович, а вы военнообязанный?

– Конечно! Я недавно командирские сборы проходил.

Утро начиналось с того, что Слатин и Стульев рассматривали карту и, если в военных действиях происходили какие-то изменения, перемещали флажки.

Слатин с утра заваливал свой стол авторскими письмами, черновиками, чистой бумагой. У Стульева всегда был идеальный порядок. Почерк у Стульева был мелкий, каллиграфический. Он сказал восхитившемуся Слатину:

– Я давно подсчитал: на одну мою страницу – три машинописных.

У Слатина – наоборот: три, а то и четыре страницы «от руки» свободно укладывались в одну машинописную страницу. Писал он с черновиками, «измучивал» свой текст, измучивал себя, пока, как ему казалось, не находил единственный вариант. Все это сказывалось на бумаге. Первая фраза будущей статьи писалась несколько раз, несколько раз переносилась на чистую страницу. Слатин не мог писать после зачеркнутого. У Стульева же не было черновиков. Исправления он делал тут же, на полях, тем же мелким каллиграфическим почерком.

– Сколько раз, – говорил он Слатину, – мне случалось отдавать рукопись прямо наборщикам. И набирали. Говорят, не хуже, чем после машинистки.

И правда, набирать можно было прямо с листа, написанного рукой Стульева. По всему было видно – работа мастера. Четко, грамотно. Ясно или чуть щеголевато, гневно или просто жестко, восхищенно или только одобрительно – словом, так, как в этот момент нужно газете. И в то же время немного лучше, чем надо в этот момент. И видно, что не последнее выдал человек, что за неожиданным и таким уместным словом у него много таких же слов.

Вовочка как-то пожаловался Слатину:

– Он слишком легко пишет, поэтому и создается обманчивое впечатление, что он стилист. А присмотреться – много однокоренных...

И возвращал Стульеву странички, в которых волосяными карандашными линиями были подчеркнуты однокоренные слова.

– И пожалуйста, Родион Алексеевич, – говорил Вовочка, – пообрывайте вот эти цветочки.

Стульев, как всегда молча покуривая, стоял над Вовочкиным столом, рассматривал Вовочкины пометки, потом, ни слова ни сказав, не выразив ни согласия, ни возмущения, отправлялся к себе и молча вносил изменения.

Вовочку он не ругал и за его спиной. О Вовочке он молчал всегда. А Слатин ругал. За то, что всю работу переложил на них со Стульевым, за дамскую балетную походку, за то, что придирается к Стульеву и мешает работать ему, Слатину. Слатин не понимал, как мог Родион Алексеевич не споря вносить исправления, которые требовал Вовочка. Когда Слатин относил машинисткам переписанные набело листочки, все, что было на этих листках, казалось ему единственно возможным. Перед тем как Слатин садился писать, бумага была чистой. Но она оказывала страшное сопротивление. И касалось это не только того, что называется содержанием, а и количества слов в фразе, длины этой фразы, числа абзацев в материале. Неточная фраза раздражала его своей неаккуратностью, своими придаточными, сдвоенными определениями. Обличал ли Слатин или хвалил, рассуждал или просто сообщал, он испытывал горение, переживал свою работу. И все имело к этому отношение: и слова, и запятые, и точки, ставящие фразе предел. А Вовочка по праву заведующего брал лист и произносил одну и ту же ненавистную Слатину шутку:

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– А вот мы сейчас пообрываем цветочки!

Вовочка умел учить! Кое-что он знал.

– Тебе эти места, конечно, особенно нравились, – сказал он Слатину в один из самых первых дней. – Ночь не спал – придумывал. Да? А мы их пообрываем, пообрываем! – И вычеркивал выстрадавшие Слатиным щеголеватые фразы. – На свете нет ничего прекрасней простоты.

И Слатин, который сам так думал, принялся искать простоту. Вначале это легко было выразить количественно: вместо двадцати слов – пять, не больше одного определения на фразу, как можно меньше придаточных. Длинное предложение в газетный столбик не уложишь. Но потом он понял, что дело не только в числе определений: не можешь писать хорошо – пиши просто, а для того чтобы писать хорошо, одной простоты мало. Стульев никогда не писал просто. «Цветочки» у Стульева нельзя было пообрывать – в этом было все дело.

А Слатин бился, истребляя однокоренные слова, какие-нибудь «приехал» – «уехал». Заменял «уехал» на «отправился» и мучился тем, что такая замена противоречит закону естественности и простоты, которые он сам для себя установил. Об этом они говорили со Стульевым, когда Вовочка уходил, потому что с Вовочкой говорить об этом было бесполезно. Когда он брал материал в руки, то будто не читал его, а сортировал слова по группам: однокоренные и неоднокоренные. Однокоренные подчеркивал и возвращал материал на переработку. Слатин ругался, объяснял, что нельзя фамилию в следующей фразе заменять именем – неестественно. То чужой человек – то близкий. Но вообще-то Слатин соглашался с Вовочкой. Когда от Слатина требовали лучшей работы, он всегда соглашался. Он считал, что больше всего надо требовать от себя. И он сравнивал и сравнивал слова, примеряя их к тому месту, где они должны стоять, и от этой работы к концу дня у него воспалялись веки, в глазах появлялся песок и что-то сильно давило изнутри на глазные яблоки. И он был доволен тем, что у него воспалялись веки и поднималась температура, – он честно работал. Он добивался, чтобы любой его материал звучал так, как это требовалось газете: гневно так гневно, восхищенно так восхищенно. И когда Вовочка брал в руки статью, написанную Слатиным, отношения их накалялись мгновенно.

Слатин любил писать. Он затем и променял свою учительскую работу на газетную, чтобы писать. Это было у него в крови, в воспитании. Слатину казалось, что вся жизнь его выстроена так, чтобы он мог воевать, отстаивать справедливость. Он за этим шел в газету. Но первый же материал, не отредактированный, а написанный им самим, Вовочка с минуту подержал в руке и небрежно положил на стопку второстепенных материалов. С тех пор прошло несколько лет, но жест, которым Вовочка брал снизу пальцами листки, подписанные самим Слатиным, нисколько не изменился. Он брал их расслабленными пальцами, листки сгибались. Вовочка небрежно встряхивал их, они опять сгибались, читать так было невозможно. Вовочка и не читал, а только взглядывал на заголовок, на первую фразу, затем ронял руку на стол и оставлял листки лежащими поперек других материалов. А Слатин не мог работать, ненавидел Вовочку, ненавидел себя и думал: «Ну всё! На этот раз – всё!» А Вовочка выходил, входил, рылся у себя на столе, перетасовывал материалы, и слатиновская статья уходила вниз, под старые бумаги.

– Ты очень хочешь быть заметным, – сказал как-то Вовочка. Сказал доброжелательно и вполголоса. – Ты не забыл, на чьем месте сидишь?

Слатин не забыл. Он видел, что сам Вовочка по доброй воле не пишет никогда. И Стульев в газету не пишет.

Зарабатывал Стульев тем, что писал для филармонии.

Писать в газету Стульева заставлял Вовочка. А Вовочку – редактор.

– Владимир Акимович, читатели имеют право знать тех, кто работает в газете, – говорил редактор на какой-нибудь утренней планерке.

– Но ведь я не так давно выступал, – приподнимался Вовочка со своего стула.

Планерка проводится в редакторском кабинете. О том, какие материалы пойдут в завтрашнем и послезавтрашнем номерах, докладывает ответственный секретарь. Сидит

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru он у торца большого редакторского стола, спиной к окну. Планерку ведет в темпе. И редактор, человек пожилой, слушает, наклонив голову. Чтобы слушать сосредоточеннее, он иногда даже полузакрывает глаза. Редактор – из бывших типографских рабочих. На этой газете он не очень давно – года три, – но за редакторскими столами сидит уже лет десять. Однако за быстрым ответственным секретарем редактору трудно поспеть, поэтому он напряженно наклоняет голову, останавливает и спрашивает его. Но, в общем, тоже хочет, чтобы планерка шла в темпе. А разговор с Вовочкой – это уже пауза, разрядка для всех. Главные в газете партийный, промышленный и сельскохозяйственный отделы. Первая, вторая и почти вся третья полоса принадлежат им. Когда ответственный секретарь называет материалы отделов, в его бодром голосе, веселой, быстрой скороговорке все чувствуют отстраненность: не он эти материалы писал, не он визировал (вернее, не его подпись главная), не ему за них отвечать. Когда редактор останавливает его, ответственный секретарь даже откидывается на спинку стула, чтобы спокойно следить за тем, что редактор говорит заведующему отделом. А заведующие отделами в это время бледнеют. Вообще-то материалы, особенно политически важные, согласовывались с редактором, с заместителем, не раз обсуждались, но каждый знает, что может подойти такой момент, когда ссылки на согласования потеряют силу.

Редактор вчера до полуночи был в обкоме партии, сегодня утром тоже туда заезжал, у него самые последние сведения о том, что произошло «наверху». Заведующие отделами тоже тщательно следят за всем, что происходит в Москве и в обкоме. Они просмотрели утренние газеты, прочли передовицы «Правды» и «Известий», прочли материалы, касающиеся их отделов, но столичные отделы запаздывают на сутки, и, кроме того, не вся важная информация попадает в газеты. Правда, газетчики связываются по телефону с заведующими отделов обкома, бывают там, но совсем не так, как редактор. Редактор бывает у третьего, второго, иногда у первого секретарей. Сведения его самые последние. Но он никогда не начнет планерки сообщением о том, что произошло за это время в областном комитете партии. Утром он поднимается прямо к себе в кабинет, затем вызывает ответственного секретаря или сам идет к нему, чтобы на месте посмотреть только что присланные из типографии пачкающиеся, жирные полосы, чтобы взглянуть на новый макет и перекинуться с ответственным секретарем несколькими словами.

Ответственный секретарь – второе по осведомленности лицо в редакции. Он еще до планерки знает, какой материал, уже запланированный и набранный, полетит сегодня. Фамилия секретаря – Маятин, зовут его Владислав. Он подвижен, весел. И видимо, способен и умен. В профессии его есть что-то таинственное, как в профессии кинорежиссера. Все в редакции пишут статьи, правят авторские письма, а он делает газету. Большинство газетчиков, проработавших и пять и десять лет, так и не знают, как это делается. Этим и объясняется особое положение Владислава. Он не только журналист, но и техник, и проектировщик, и немного художник. Он определяет размеры будущих, еще ненаписанных материалов, отбирает фотографии и рисунки, решает, каким шрифтом будут набраны тексты и заголовки. Он «выбивает» в отделах запланированные материалы. По штатному расписанию второе лицо в редакции – заместитель редактора. Но на самом деле вторым всегда был Владислав. Поставить или не поставить в номер материал зависит именно от Владислава, хотя формально не он решает, что нужно сегодня газете. Формально власть его не очень велика, но возможности влиять, вмешиваться, проталкивать или останавливать материалы чрезвычайны. Он всегда в центре, или, если угодно, в пекле, газетных событий. К нему приходят отстаивать свои материалы или просто просить за них. Вся внутригазетная информация стекается к нему в кабинет, а это один из источников его влияния на редактора. Владислав молод, энергичен и здоров. Он очень художав, светловолос и голубоглаз. Когда он бежит по коридору, газетная полоса, которую он несет к редактору, летит по ветру. В редакции много молодых, и молодые делают газету «по-молодому». Никто никогда не слышал, чтобы Владислав где-то интриговал, на кого-то капал, но в умных глазах Владислава многим видится что-то опасное. Перед планеркой стулья в кабинете стояли вдоль стен в один ряд, теперь они смешаны. Сидят и у стены, и ближе к столу – кто как. Но на самом деле в том, как сидят, есть естественный порядок. Выдвинувшись в первый ряд, поближе к редакторскому столу сели завья – промышленник и сельскохозяйственник. Заведующий партийным отделом Александр Васильевич Пыреев – чуть ближе к заместителю редактора. Ближе к стене, закрываясь спинами промышленника и сельскохозяйственника, сидит Вовочка.

В газете есть люди, репутация которых много лет держится примерно на одном и том же уровне. Но чаще она колеблется от номера к номеру, от планерки к планерке.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Постоянная репутация только у тех, кто, как Вовочка, пишет крайне редко. С теми же, кто пишет часто, кто активно и настойчиво пробивает свои материалы, у редактора постоянные столкновения. У этих людей репутации в газете как бы не существует. Они живут от планерки к планерке – сегодня так, а как будет завтра – неизвестно. Что касается прошлого, то его как бы не было совсем. Состояние это исключительно тревожное, раздражающее и оскорбляющее. Рядовые работники отделов, которые редко бывают на планерке – их зовут, когда надо, – переносят его легче. А завья, для которых день начинается планеркой, приспосабливаются к нему по-своему.

Сельскохозяйственник – невысокий, в потертом пиджаке, в наглухо застегнутой косоворотке, с истовым, неулыбающимся лицом, которое день ото дня становится истовее и внимательнее, – выдвигается из первого ряда, чтобы никто – ни сбоку, ни сзади – не отвлекал его от того, что скажут редактор и Владислав. После редактора сельскохозяйственник обязательно просит слово. Говорит жестко, решительно, называет присутствующих – критикует тех, кого только что назвал редактор. Когда он сядет, краска негодования долго не гаснет на его скулах. В посевную и уборочную он просит для своего отдела больше места, но сам не пишет никогда, редактор никогда не заставляет его писать. У сельскохозяйственника четверо детей, а зарплата, не подкрепленная гонораром, мала. Так что бедность его не показная. Его подчиненные, которым он не мешает писать, зарабатывают больше, чем он. Себе сельскохозяйственник оставляет телефонные разговоры с глубинкой. На телефоне сидит до глубокой ночи. Когда он говорит, редактор слушает его, напряженно наклонив голову. Называет он сельскохозяйственника только по имени-отчеству – Николай Федорович и работу отдела всегда отмечает: оперативность, политическая грамотность, беспощадность к расхитителям народного добра, разгильдяям, врагам народа. Перечень этот никогда не оборвет посередине. Редактор любит митинговать, а заместитель говорит тихо, длинные матерчатые налокотники, которые он не снял, когда шел на планерку, рукава пиджака да и весь пиджак как бы серебрятся, когда он поворачивается к кому-нибудь. Да и то, о чем он говорит, требует более рассудительной интонации. Он сообщает об ошибках, которые были выловлены в самый последний момент из полосы, говорит о том, насколько профессионально сделаны материалы. Можно подумать, что они давно договорились с редактором, о чем должен говорить каждый, чтобы не повторять друг друга. Но в напряженном наклоне редакторской головы все видят нетерпение.

Разная степень наклона редакторской головы показывает разную степень нетерпения. Когда говорит Александр Васильевич Пыреев, заведующий партийным отделом, редактор слегка кивает. Если слово берет Вовочка – это бывает очень редко, – редактор снимает очки и поворачивается к нему всем корпусом. Однако если Вовочка затягивает, редактор опять возвращается к своему столу, надевает очки и рассеянно кивает.

Вообще редактор – человек увлекающийся, не желающий ни с кем делить свою газету. Когда редакционный завхоз напечатал в газете заметку, редактор уволил его:

«На этой должности мне нужен именно завхоз».

В три часа редактор уезжал на обед, а возвращался в пять, к концу рабочего дня. Медленно шел по лестнице вверх, навстречу тем, кто собирался домой. Останавливался на лестничной площадке, несколько минут отдыхал, потом шел по коридору, заглядывая в отделы. Первым от лестничной клетки был отдел культуры, и когда редактор открывал дверь, он видел улыбающееся Вовочкино лицо, поворачивающееся ему навстречу. К тому времени, когда на лестнице слышался редакторский голос, Вовочка принимался за материалы, которые сдали ему Стульев и Слатин. Вовочка специально откладывал чтение этих материалов на пять часов. Вообще по всей редакции в пять часов прокатывалась вторая рабочая волна. Хлопали двери, заведующие отделами несли в секретариат вычитанные материалы. Владислав бежал к редактору, и полоса развевалась по ветру. Домой, навстречу редактору, шли только нагруженные хозяйственными сумками – в обеденный перерыв бегали на базар – машинистки; редактор, еще стоя на лестничной площадке, прощался с ними. Потом он открывал дверь в отдел культуры и останавливался на пороге в расстегнутом пальто.

– Владимир Акимович, куда идут твои работники? – спрашивал редактор.

Вовочка поднимал брови, разводил руками.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Петр Яковлевич, – говорил он с ужимкой, – пять часов, рабочий день кончился.

– Но ведь ты работаешь?

Вовочка разводил руками, а Стульев и Слатин продолжали укладываться: снимали налокотники, прятали бумаги в ящики стола.

– Петр Яковлевич, – говорил Стульев своим мощным голосом, – посмотрите в папку готовых материалов. Еще что-то надо сделать? Я останусь.

Но редактор подходил к более молодому Слатину:

– Ты что же? Как машинистка? От звонка до звонка?

По правде говоря, Стульев и Слатин не сразу решились на это – они стали при редакторе уходить домой, когда уже могли себе это позволить.

– Петр Яковлевич, – говорил Слатин, – в среду я сутки не уходил, делал материал в номер.

Но редактор знал все. Он уже начал поощрять Слатина повышенными гонорарами, а главное, тем, что иногда обращался к нему, минуя Вовочку.

Откроет среди рабочего дня дверь в отдел, ничего не ответит на Вовочкин вопросительный взгляд, скажет:

– Слатин, зайди ко мне.

Что-то его взволновало – не секретаря прислал, сам от своего рабочего стола прибежал к рабочему столу журналиста, очки не снял. Слатин поднимется, не забудет спросить Вовочку: «Что это он?» Вовочка ответит обиженной усмешкой. Слатин быстро пойдет за редактором, но, войдя в кабинет, застанет его сидящим за столом так, будто он и не выходил отсюда.

Стол у редактора огромный, чтобы обойти его, нужно время. На тумбочке рядом с телефонами – модель комбайна, на стене портреты Сталина и Ленина – все новое, даже дорожки на паркете, даже стулья. И во всей редакции все перебелено, сменена мебель – ничего от старого редактора не осталось. Даже завхоз новый, даже машинистки и вахтеры. Слатин помнил, как увольняли старого работника отдела информации Белоглазова. Это было еще в самые первые недели, когда Слатин поступил в газету. Белоглазова он почти не знал. Запомнился он ему только как высокий человек с тонким женским голосом, обязательно выступавший на всех собраниях, планерках, летучках. Выступления были раздражающе скучными, и Стульев как-то сказал Слатину:

– Вот увидишь, его скоро уволят. У редактора на его место уже есть человек.

В городском университете несколько лекций прочел профессор-китаец, приехавший сюда по приглашению обкома. Профессор был коммунист и интернационалист, и газета взяла у него интервью. В заметке – потому что это была именно заметка, а не интервью, которые тогда не печатали из-за их специфически буржуазной, заносчиво-личной формы – было сказано о том, как китайские революционеры учатся побеждать у русских пролетариев. Заключение же заметку несколько иероглифов, нарисованных профессором – приветствие читателям областной партийной газеты от китайских борцов против империализма. Вот эти-то иероглифы и были напечатаны перевернутыми. Конечно, во всем городе никто не смог бы этого заметить, если бы профессор не поставил дату арабскими цифрами 23.1.1938. Цифры и были перевернутыми.

В тот день Белоглазов был вторым дежурным по газете – «свежей головой». Он должен был читать после корректоров, после дежурного – на «свежую голову». На самом деле «свежая голова» читает полосы вместе с дежурным или даже до него, поскольку «свежая голова» просто помощник дежурного. Так под давлением газетной иерархии изменилась эта идея. Дежурным по газете может быть только заведующий отделом, помощником – литературный работник. Следовательно, главная на полосе подпись дежурного, а полоса, подписанная «свежей головой», берет ее во внимание только при сверке. Готовую, вычитанную и выправленную газету «в свет» подписывает редактор или его заместитель. А в те дни подписывал только редактор.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Должно быть, судьба его предшественника была у него в памяти, и он, задерживая наборщиков, корректоров, дежурных, «рисовал» на первых двух полосах, где шли передовая, статьи партотдела, важная информация. Разумеется, редактор читал эти материалы в машинописи, когда они поступали из отделов, а потом в гранках, когда они возвращались из типографии. Но теперь они стояли рядом, в полосе, под жирно набранными заголовками, и он читал их еще раз, смотрел, чтобы не было двусмысленных стыков, и еще раз правил. Первая полоса страшила его особенно, и он вычеркивал, вписывал, менял местами – и так по многу раз. Старший корректор бежал к выпускающему, выпускающий в типографию, наборщики выбрасывали вычеркнутое, набирали дописанное, в материалах образовывались хвосты или, напротив, пустоты. Хвосты надо было сокращать, пустоты перекашивали макет – короче говоря, работа была сделана – начиналась нервотрепка. В тот день Петр Яковлевич «рисовал» много, а потом, как он это иногда делал, подписывать газету «в свет» спустился из кабинета к дежурным.

Петр Яковлевич был в пальто и без очков. Это означало, что он едет домой, в дежурку забежал на минуту, чтобы, ничего не меняя, вместе с дежурными подписать газету. Белоглазов и дежурный по номеру – заведующий промышленным отделом – встали. Редактор, не присаживаясь, взял из рук выпускающего два номера свежей газеты. На одном он должен был расписаться, другой он брал домой (он тут же сунул его в карман пальто). В дежурке горел верхний, без абажура, голый свет и две настольные лампы. Доносились запахи и звуки наборного цеха – звуки непрерывно падающих металлических пластин.

– Ну как номер? – спросил редактор не у дежурных, а у выпускающего, которого он знал очень давно.

Белоглазов своим занудливым голосом сказал:

– Было несколько блох, но мы их выловили. А так номер...

– Прекрасный номер, Петр Яковлевич! – перебил его дежурный – самый молодой зав в газете, пришедший в газету вместе с редактором.

Но редактор уже доставал очки и разворачивал газету.

– Так, значит, все в порядке? – сказал он и присел на стул Белоглазова. Оба стола в дежурке были испачканы типографской краской.

– Да брось ты, Петя! – сказал выпускающий редактору. – Все в порядке! – И слабо потянулся за газетой. Но редактор уже не обращал на него внимания. Он пробежал заметку китайца. Она его беспокоила тем, что слишком походила на интервью. Он поморщился и вопросительно посмотрел на дежурного. Заметка шла через отдел культуры, и дежурный в ответ неопределенно сморщился. Редактор посмотрел на часы, покачал головой, но все-таки вычеркнул две строки. Он остался ждать в дежурке, а дежурный молча взял газету и вместе с выпускающим пошел в корректорскую. Он был зол: выпадают две строки, следовательно, вся заметка поднимется к заголовку, поднимется пластинка с иероглифами, а между ней и подписью образуется пустота – и ничего не поделаешь: на исправления и дописывание времени нет. Он покрутил пальцем возле головы – с ума сошел шеф! Выпускающий кивнул. Корректорши, бегавшие в туалет мыть руки, заахали, старшая внесла исправления в полосу, подписанную дежурным и «свежей головой», выпускающий выругался и пошел в наборный цех. Там вытащили две строки, заменили их двумя пластинками, чтобы не распался набор. И пока наборщик шилом выковыривал две сокращенные редактором строки и заменял их пустыми пластинками, он сдвинул в сторону пластинку с иероглифами. Потом вернул ее на место, но не заметил, как перевернул ее. Он уже много раз снимал и ставил ее, и ему показалось, что все в порядке, он уже привык видеть ее так, а не иначе. К тому же все злились и нервничали, и он тоже злился.

Полосу с сокращениями принесли редактору, он подписал ее. Потом еще раз делали газету, он написал «в свет» и уехал домой на машине. Корректорши, боявшиеся идти домой по ночному городу, остались в редакции. А дежурный и «свежая голова» домой добирались пешком – трамвай уже не ходили.

К утру газету напечатали, развезли по киоскам, а первые номера, как всегда, прямо из типографии отнесли в обком и оставили на столе дежурного милиционера. Часам к десяти газету в обкоме прочли или просмотрели все, кому ее положили на

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru стол. И никто не заметил, что маленькие цифры, вписанные в иероглифы, напечатаны перевернутыми. Но в обком позвонили – в любом городе есть люди, которые читают газету пристрастнее, чем корректоры, выписывают все ошибки и сообщают об этих ошибках куда следует. Звонивший не назвал себя, он потребовал, чтобы его соединили с первым секретарем по делу государственной важности. Ему дали приемную, и он сказал:

– Посмотрите, как в сегодняшней газете напечатано приветствие китайского товарища! Вредители свили гнездо в партийной газете! Это настоящая диверсия!

И повесил трубку.

Но и после этого не сразу докопались до сути дела. Никто ведь не пытался прочесть иероглифы – все читали заметку, а в ней как будто было все в порядке. Но все-таки, конечно, докопались, потому что уже не раз по городу прокатывалась паника: на ученических тетрадях, например, находили замаскированный, хитро вплетенный в какой-то рисунок фашистский знак. Или тот же знак замечали на папиросной коробке «Казбек», или в школьной хрестоматии, в репродукции знаменитой картины «Застава богатырская».

– Вот я читаю в твоей газете замечательные слова, – позвонил секретарь обкома редактору, – «идиотская болезнь – потеря бдительности». Правильная мысль. И я же читаю выступление китайского товарища. Что это? Ты еще не знаешь? Я думал, тебе давно все известно.

Ляпы – так в газете называют ошибки – идут каждый день. Движитель назовут двигателем. При сокращении выбросят фамилию, подписи под фотографиями спутают – и такая ошибка возможна, если в номере две фотографии одного формата. Но чаще, конечно, ляпы бывают мелкие. Их обнаруживают тут же, в редакции, те литературные работники, которые готовили материалы в печать и помнят их со всеми точками, запятыми, красными строками. Перечитывая свою заметку, журналист реагирует на мельчайшие сбивы ритма, на чужие слова, на то, что кто-то стянул в один абзац два абзаца, и он же легко находит ляп, если он оказывается в его заметке. Ляп – постоянная тема телефонных розыгрышей и постоянный вопрос в повестке всех газетных собраний. Ставится он до предела жестко: «Мы, советские журналисты, не имеем права ошибаться». Издается приказ: журналист, по чьей вине проходит ошибка, увольняется. И увольняют. Но потом о приказе этом как бы забывают. Потому, что одно дело уволить нерадивого или малоспособного работника, а другое – двух или трех заведующих отделами сразу.

Но это мелкие ляпы. А бывают страшные ошибки. Проникающие даже в заголовки. Проходят они крайне редко, один раз в несколько лет, но все же проходят. И невозможно поверить, что это случайность, что ни редактор, ни дежурные, ни корректоры не заметили, не увидели того, что бросается в глаза, что все они, чем-то замороженные или ослепленные, пропустили такую ошибку.

Виновники тяжелого ляпа сразу же становятся видны. Эти люди ходят по редакции с бледными лицами, разводят руками или доказывают, что это не их вина. Им сочувствуют все, кроме таких оголтелых, как заведующий сельскохозяйственным отделом. Все боятся оказаться на их месте.

Сразу стали видны и вчерашние дежурные: заведующий промышленным отделом Платонов и «свежая голова» Белоглазов. Белоглазов добыл в корректорской полосе со своей подписью – на полосе все было в порядке. Иероглифы стояли так, как их нарисовал профессор, цифры не были перевернуты. Белоглазов ходил из отдела в отдел – показывал полосе со своей подписью. «Вот!» – говорил он и пожимал плечами. Но потом полосе у него отобрали – заставили вернуть в корректорскую. Платонов вел себя тише, подписи своей на полосе никому не показывал. И оба они ни словом не упоминали редактора и никому не говорили, что это он в последний момент из вычитанной уже газеты вычеркнул две строки. Затем на совместном заседании редколлегии и партбюро заведующий отделом информации сказал, что он давно собирается поставить вопрос о своем работнике Белоглазове. На него жалуются машинистки – неразборчиво пишет, жаловалась уборщица – в корзине полно грязи и окурков. Поздно задерживается в редакции якобы для того, чтобы работать, а на самом деле использует кабинет неизвестно для каких целей. Несколько раз там находили бутылки из-под вина. И наконец, самое возмутительное – без разрешения редактора или его заместителя вынес из корректорской полосе, которая является отчетным документом и должна храниться в корректорской.

Белоглазов своим занудливым голосом говорил, что он не курит и не пьет, поэтому окурки и бутылки не могут принадлежать ему. Полосу он действительно взял в корректорской без разрешения, но только потому, что был чрезвычайно взволнован ошибкой, которая прошла в газете во время его дежурства.

– С какой целью вы носили эту полосу по отделам? – спросил его сельскохозяйственник.

– Я хотел показать, что не я виноват в этой ошибке.

– Значит, вы носили полосу по отделам? – сказал сельскохозяйственник и посмотрел на соседей – «что я говорил!».

– Не пошли к редактору, к заместителю, не обратились в партбюро – а пошли по отделам. Чего вы добивались?

Заведующий партотделом Пыреев говорил рассудительно:

– Вы не считаете себя виновным в ошибке. Но вы были дежурным.

А Платонов не оправдывался. И оба они опять ни слова не сказали о редакторе.

Слатин почти не знал Белоглазова, обстоятельства дела были ему не очень ясны, на заседании редколлегии его, понятно, не звали. Но он сочувствовал Стульеву. Два человека в редакции ходили, пожалуй, еще более бледными, чем Платонов и Белоглазов, – Стульев и помощник ответственного секретаря Головин. Они отказывались голосовать за увольнение Белоглазова. Стульева позвали к редактору в первый же день – Стульев был председателем местного комитета. Он вернулся через час с выражением своей самой сумрачной сосредоточенности, даже походка его стала сумрачной. Не ответив на вопрос Слатина, он прошел к своему столу, но править не смог. Поднялся и ушел куда-то, ничего не сказав Вовочке.

И еще несколько раз вызывали его к редактору. В конце концов Стульев сказал Слатину:

– Требуется, чтобы я подписал отрицательную характеристику на Белоглазова. А я ему сказал: «Петр Яковлевич, вы меня в следующий раз не избирайте. Я этого не могу сделать».

Белоглазов после собрания в редакции не появлялся, Платонов, получивший строгий выговор, работал как обычно, Головин сдался – и теперь внимание всех было сосредоточено на Стульеве. Он как будто бы даже стал привыкать к этому состоянию, начал работать. Слатину он говорил:

– Как я могу голосовать за увольнение Белоглазова, если виноват редактор?

Но сдался и он. Пришел от редактора и сказал Слатину:

– Ничего нельзя было сделать. Этим Белоглазовым заинтересовались органы. – И добавил даже с облегчением: – Дурак он – на редакцию в суд подал!

Головина перевели в заводскую многотиражку, а Стульева не переизбрали в местком. Да и сам он, как будто это само собой разумелось, сразу же после этой истории отошел от своих обязанностей председателя месткома. На Слатина эта история подействовала, но Стульева он не перестал уважать. Сколько раз он видел, что этот маленький человек обладает силой, которой за собой Слатин не чувствовал. Как-то в редакцию пришел сумасшедший. Слатин был в отделе один, он обернулся на открывшуюся дверь. Посетитель был в кожаной куртке, в наглаженных брюках – вид у него был полувоенный, полуспортивный. Своих посетителей Слатин знал: это были артисты, преподаватели университета, школьные учителя. Он спросил:

– Вы к нам?

Вообще-то, конечно, приходили разные люди. Приходил недавно мужчина лет тридцати с девочкой. Синий от татуировок, просвечивавших сквозь шелковую рубашечку, мускулистый, но очень худой, какой-то нервной, сжигающей худобой. Он был навеселе, девочку вел осторожно, и было сразу видно, что человек не туда забрел.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

А он, не спрашивая разрешения, взял у Слатина чистый лист бумаги, посадил девочку к столу. Она написала А, потом Б, В и всю азбуку, не сделав ни одной ошибки. Мужчина положил лист перед Слатиным.

– Ей четыре года, – сказал он.

– Очень интересно, – сказал Слатин.

– А-а! – сказал мужчина. – Ничего вы не понимаете! Ей четыре года, а она пишет и читает.

– Все-таки вам надо в детскую газету, – сказал Слатин. – В «Ленинские внучата».

– Я бывший вор, – сказал мужчина с презрением. – Десять лет по тюрьмам. А пять лет назад женился и завязал.

Бывший вор, который порвал с прошлым, вступил в новую жизнь, – это была вполне газетная тема. Но человек был под хмелем, и Слатин предложил:

– Приходите завтра. Сегодня я занят.

– Ничего вы не понимаете! – сказал мужчина презрительно и взял девочку за руку. Они ушли не попрощавшись. Вошли, не поздоровавшись, посмотрели, кто тут сидит, что здесь такое, – им не понравилось, и они ушли. Этот, в кожаной куртке, с короткой и густой спортивной стрижкой, не был похож на бывшего вора. И сила, которая в нем сразу была видна, казалась сковывающей его. Он мял в руках листок небольших размеров.

– Стихи, – сказал мужчина.

– Минутку, – сказал Слатин и показал на стул. Стул стоял напротив стола. Но мужчина перенес его и сел рядом со Слатиным и немного за его спиной. Это было неприятно. Слатин оглянулся, и ему показалось, что мужчина вспотел под его взглядом.

– Давайте, – сказал Слатин. Но мужчина не отдал листок. Он прочел:

– Удары гнут деревья вниз...

Слатин подождал и удивился:

– Все?

– Да, но... – сказал мужчина и окаменел. У Слатина мелькнула догадка, он взял из пальцев мужчины листок. В том, как этот листок был исписан, было безумие. Исписан уголок, еще уголок, какая-то черточка, а все остальное чисто. Мужчина как будто понял, что разоблачен, в глазах его появилось что-то хитрое. Должно быть, усилия, которые он делал, чтобы прийти сюда, чтобы вот так держаться (в отделе и потом иногда появлялись такие посетители, и все они до какого-то момента держались), истощали его, и он с облегчением вдруг забормотал:

– У меня много украли... – И назвал две известнейшие песенные строчки. Потом он еще теснее придвинулся к Слатину и замер, уставившись на его затылок. В этот момент и вошел Стульев. Слатин, который так и не решил, что же нужно делать, сказал с облегчением:

– Родион Алексеевич, человек принес стихи.

Стульев взглянул на мужчину, расправил листок и спросил:

– Давно из больницы?

Наверное, сила была в той сумрачной сосредоточенности, с которой Стульев это спросил. Человек вздрогнул и послушно вместе со стулом пересел к столу Родиона Алексеевича. Стульев назвал диагноз. Мужчина кивнул. Он как будто просыпался.

– Зачем пришел?

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

- Стихи, – забормотал мужчина.
- Ерунда, сам понимаешь, – сказал Родион Алексеевич. – Кем был до больницы?
- Летчиком.
- Что советуют врачи?
- Покой.
- Родственники в деревне есть? Уезжай из города. А в редакцию больше не ходи. Опять в больницу попадешь.

У Слатина не было вот этой решимости спросить и сказать прямо. Когда мужчина ушел, Стульев сказал:

- Меня один сумасшедший задушить хотел.

И приоткрылась еще одна бездна в жизни этого маленького человека. Где-то на Дальнем Востоке он заболел тифом, а потом с нервными осложнениями попал в психиатрическую лечебницу. В палате было несколько человек. Один из них сел на койку Родиона Алексеевича, долго смотрел ему в глаза и сказал:

- Ты шпион, я тебя задушу.

Стульев поманил его пальцем, тот нагнулся, и Родион Алексеевич, глядя ему в глаза, зашептал:

- Шпион скрывается. Не ешь из тарелки, когда принесут. У меня есть лакмусова бумага. Сунешь ее в суп. Если не посинеет, значит, суп не отравлен, – и показал кусок газеты.

- Я довольно быстро выздоровел, – сказал Родион Алексеевич. – Истощен я был, голоден, и врачи держали меня, пока можно было держать. Давали откормиться. А я им плакаты рисовал, карикатуры в стенную газету, стихотворные подписи.

И Слатин, который только что поражался силе духа и находчивости Стульева, подумал, что Родион Алексеевич привык защищаться своими способностями.

Домой Слатин обычно уходил со Стульевым. Стульев говорил:

- Я люблю приходить домой.

Он и в перерыве бегал обедать домой, а не спускался в пирожковую. По улице он шел с тем же выражением сосредоточенности и отрешенности на лице. Слатину он говорил:

- Мать жены три года с постели не вставала перед смертью, а я все равно любил домой приходить. Вначале она меня невзлюбила, просила Лину: «Прогони его!» А потом Лину прогоняла: «Уйди, ты не умеешь».

Иногда он сообщал:

- Работал до утра, писал «настоящую» пьесу.
- Устал?
- Мне было интересно. Я дома работаю. Я вообще люблю, когда много работы.

Слатин смотрел на неряшливо выбритого, уже седеющего Стульева и думал, что, может быть, и не нашел бы своего горения, не пришел бы к этому чувству, если бы начал работать в газете с другим напарником.

И когда редактор приходил в отдел к концу рабочего дня и спрашивал, куда они собираются, Слатин вслед за Стульевым смело отвечал:

- Домой, Петр Яковлевич. Дома я работаю.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

Газета выходила каждый день – в этом было все дело. Газета выходила каждый день, а штатных литературных сотрудников в ней было мало. Если бы можно было собрать и сброшюровать то, что Слатин правил, писал и переписывал, то за месяц собирался бы небольшой том. Не все работали так, как Слатин, не всем давали срочные задания: оставляли в газетном макете пустое место – до полуночи написать, продиктовать специально оставленной машинистке, дать завизировать начальству и заслать в набор. В этой ночной работе, в этой бешеной гонке была бездна газетного романтизма и бездна самолюбия. Когда-то Слатин думал только о целях журналистики. Он не думал, что когда работы много, когда работы слишком много – сама работа может стать целью, что целью могут стать оперативность, темп, грамотность. Он не думал, что пот работы, ее постоянное напряжение могут заслонить то, ради чего работа. Слатину не в чем было упрекнуть себя – он изматывался до предела, ничего не оставлял про запас. Когда он так работал, ему казалось, что он чувствует время, ритм эпохи. Он не ходил, а бегал по редакционному коридору, не мог дожидаться, пока перепечатают весь его материал, – снимал с машинки по страничке. Он становился мастером. Но главное было не в этом – его нравственное чувство если не насыщалось, то изматывалось тем, что он работал, работал и работал. И только когда редактор вызывал его к себе, Слатин вставал от работы. Конечно, редактор не знал десятой и не умел сотой доли того, что знал и умел Стульев, и хвалить он звал или ругать, Слатин одинаково неуютно чувствовал себя в редакторском кабинете. В этой комнате с большим венецианским окном, выходившим на главную городскую улицу, как и у Владислава Маятина, стояло два телефона, висел график выпуска газеты и стол был закрыт полосами. Но у Владислава телефоны звонили непрерывно, полосы были грязными и исчерканными, на графике постоянно появлялись какие-то поправки, а здесь если телефон и звонил, то звонок раздавался в комнате секретарши, а график выглядел парадно. И не ругать или хвалить вызывал к себе редактор Слатина, а учить. И это было высокой степенью признания. Когда-то, в самый первый месяц испытательного срока, редактору не понравился очерк Слатина о заводском саде. Петр Яковлевич читал возмущенно на планерке: «Листья кажутся металлическими!» И говорил: «В таком саду не засидишься!» Сельскохозяйственный кивал: «На заводе железо – и в саду железо!» Редактор сказал тогда Вовочке: «Испытательный срок подходит к концу. Владимир Акимович, давайте ставить вопрос о человеке». Вовочка выручил Слатина. «Мне кажется, здесь есть материал», – сказал он. «Владимир Акимович защищает своего работника», – сказал сельскохозяйственный. «Я говорю о материале», – сказал Вовочка. После планерки он увел Слатина в кабинет, махнул рукой в сторону редакторской комнаты. И вообще был очень хорош. Не кокетничал, не кривлялся, был прост. Сам сел подгонять очерк под «газетный материал».

Теперь редактор, подзывая Слатина к столу, показывал ему какую-нибудь фамилию в полосе:

– Зачем ты о нем пишешь?

– Мне его порекомендовал партком.

Редактор смотрел через очки снизу вверх.

– Ты меня слушай, – и кивнул на один из телефонов, – я все знаю.

Разговора этого редактор не продолжал и не возобновлял. Но он, правда, поражал Слатина тем, что как будто знал всех в городе и в области. Если на планерке предлагали кандидатуру ударника, стахановца для очерка, редактор не спрашивал, кто это. Он или кивал, или говорил «нет», или морщился – не совсем то, что нужно. (У него были свои газетные идеи. Сейчас это, может быть, и странно называть идеями, но тогда казалось не совсем обычным то, что редактор добивался, чтобы инициалы обязательно ставили перед фамилией и чтобы инициалов было два. У него было старое пристрастие к некоторым шрифтам, он разрешал Владиславу Маятину верстать газету веселее, перебивать основной шрифт другими шрифтами.) Главной его страстью была оперативность. На планерке обязательно сообщалось, сколько информации со словом «сегодня» прошло в номере.

Бывало, что ничего существенного в выступлении редактора на планерке не оказывалось. Но иногда оно на несколько дней меняло направление работы всех основных отделов. Начинал он всегда с международных событий:

– Немцы захватили Крит. Одним ударом с воздуха. Все уже знают? Провели англичан. Подбираются к Каиру. Что это значит, ясно каждому. Война идет у наших границ.

Кто-то подскажет:

– Англичане Гамбург бомбили.

– Да, – скажет Петр Яковлевич. – А сколько у нас было на прошлой неделе материалов по машиностроительному заводу? – спросит он у Владислава.

– Семь, – с готовностью ответит Владислав и весело взглянет на Платонова.

– О других заводах материалы были? – Это опять Владиславу, а не Платонову, который уже несколько раз облизал языком узкие губы.

– Были. О калориферном.

– В области нет других предприятий? На них не наши люди работают? Или эти предприятия не имеют оборонного значения?

Платонов моложе Владислава, но хотя он и самый молодой зав в редакции, он лучше любого другого может постоять за себя. И привычка в волнении облизывать узкие губы выглядит у него как приготовление к нападению. Но и он не станет напоминать редактору, что тот месяц тому назад вот так же на планерке спросил у Владислава, сколько за неделю прошло материалов по самому крупному в области машиностроительному заводу. И потребовал, чтобы материалы об этом гиганте первой пятилетки шли в каждом номере. Завод, на котором трудится пятнадцать тысяч человек! Сотни инженеров, тысячи техников! Завод, имеющий первостепенное оборонное значение! Может быть, кому-то надо напоминать, в каком окружении мы живем? Как близко у наших границ ходит война? Но Платонов этого не скажет. Только наивный человек будет оправдываться. Пришли новые указания, следовательно, нужно сразу перестроиться и дать материалы по мелким предприятиям. Редактор, конечно, мог бы сказать: «Нас поправили: увлекаетесь гигантом, не видите заводов поменьше». Но Платонов прекрасно знает правило: претензии можно предъявлять только самому себе – надо было иметь в запасе материал по мелким фабрикам.

После стычки с Платоновым редактор и поднимает Вовочку – людям нужна разрядка.

– Владимир Акимович, – говорит редактор, – читатели имеют право знать тех, кто работает в газете.

– Но, – начинает кокетничать Вовочка, – я не специалист по театральным рецензиям. А сейчас в городе нет ни одного порядочного театра.

Вовочка рассчитывает на смех и вызывает его. Дело в том, что писать рецензии, считают в редакции, – получать гонорар ни за что. Своими словами пересказал содержание пьесы – и все.

– Нет театров? – спрашивает редактор. – Что говорит кинопрокат? Революционные, патристические фильмы есть? Пойди и напиши. Владислав Сергеевич, у нас на четвертой полосе место есть? Оставь строчек восемьдесят. Владимир Акимович завтра сдаст тебе рецензию.

Заданием Вовочка не то чтобы подавлен – страшно затруднен. Эти восемьдесят строк замучивают его ужасно. Из редакционной библиотеки он приносит подшивки «Правды», «Известий», «Советской культуры», посетителей передает Стульеву. Он мог бы просмотреть подшивки в библиотеке, чтобы Стульев и Слатин не видели, как он компилирует рецензию, но Вовочке не до этого. Весь день он тратит на восемьдесят строк, но так и не заканчивает работы – оставляет на завтра. На следующий день в отдел с утра начинает бегать Владислав:

– Владимир Акимович! – говорит он, открывая дверь. За полчаса Владислав, пробегая мимо кабинета, несколько раз распахивает дверь:

– Когда будет рецензия?

Потом Владислава захватят дела, и он появится только минут через сорок. Теперь он зол, не подмигивает Стульеву и Слатину.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– Владимир Акимович! Задерживаете газету!

Вовочка начинает огрызаться:

– Подождешь! Подумаешь!

Наконец он закругляется, несет листки машинисткам, возвращается с перепечатанной рецензией, кладет перед Стульевым:

– Родион Алексеевич, прочтите и распишитесь.

Стульев расписывается, не читая.

Рецензия написана тщательно, следы компиляции затерты, а оценки поставлены умеренней, чем в центральных газетах.

После этой гонки Вовочка жалуется Слатину, говорит, что больше его не заставят, даже если редактор будет нажимать.

Приносят полосы, и Вовочка усаживается читать свою рецензию. Он нервничает, не верит самому себе, просит прочесть Стульева или Слатина, много раз сверяет инициалы. Но в конце концов все сходит хорошо, и Вовочка постепенно успокаивается.

* * *

Еще одним не пишущим журналистом был в газете тот самый Головин, которого переводили в заводскую многотиражку. Его вернули через год – он обладал редкостной, какой-то математической грамотностью. Работал он в секретариате, сидел один в маленькой комнатке, читал подписанные в отделах материалы и правил. Вычеркнутое никогда не восстанавливал, дважды к одной и той же строчке не возвращался. У него был чертежный, «гостовский» почерк, чертежная система вычеркивания. О себе говорил, что по призванию он химик, филологический факультет выбрал по ошибке. Единственный материал, который появился за его подписью, и был посвящен университетским химикам. Это был образцовый материал, отличавшийся от всего, что было в номере, как отличаются столичные материалы, перепечатанные провинциальной газетой. Однако на еженедельной летучке докладчик этот материал не упомянул, и только кто-то сказал, что Головин выступает редко, а писать, оказывается, умеет. Так и прошло это событие, оставив некоторое недоумение, и забылось, как забываются перепечатки из других газет и журналов. Слатин приходил в комнатку Головина, усаживался на край стола, смотрел, как он работает, и поражался безошибочности его глаза. Иногда только казалось, что он уж слишком жестко сжимает материал, не оставляет между значащими словами «воздуха».

– Для машин правишь: формула, формула, а вздохнуть негде.

– Пожалел? – спрашивал Головин. – Давай восстановим.

Слатин еще раз смотрел и вздыхал:

– Нет, все правильно.

– Газетная площадь, – говорил Головин. – Сколько у нас площади? Из паршивого очерка лучше сделать информацию.

– Сам почему не пишешь?

– Некогда. В секретариате – не в отделе. Вы уже пиво пить пойдете, а я еще в редакции. Вчера полосу макетировали – сегодня в Москве речь. Макет летит – сидим до полуночи. А потом на двух трамваях домой. Ты в центре живешь, а мне от трамвая еще пешком идти.

– Я ночью пишу.

– Ночью пишешь, а вечером начинаешь. А я вечером писать не могу. Двое детей в комнате. Жена в институте.

– Посуду моешь?

- И посуду, и пеленки.
- У тебя ж прекрасный материал был. Лучше меньше бы правил – больше писал.
- Тебе понравилось? – говорил Головин. – Нам надо встретиться и поговорить.
- Да мы уже встретились!
- Да нет! Ты ко мне или я к тебе. Посидели бы за пивом.
- Да я давал уже тебе свой адрес!
- Правда? – и начинал листать свой блокнот. – Ну дай я еще раз запишу.
- Записывай, записывай! Ты уже не первый раз записываешь. Слушай, ну чего ты такой робкий? Думаешь, если не пишешь, так нечего тебе опасаться? Ты же каждому в редакции на треть срезаешь материал. Гонорар сокращаешь.

Головин улыбался. Слатин уходил, и они забывали друг о друге на неделю. Сталкивались в редакционном коридоре: Слатин – в машинное, Головин – из машинного бюро, кивали друг другу на ходу и разбегались. Или вдруг Головин распахивал дверь и кричал с порога:

- Отдел культуры! Две информации на третью полосу! Срочно! – И захлопывал дверь, чтобы не слушать возражений. Слатин добывал информации, нес в маленькую комнатку. Головин, не глядя на Слатина – чертил макет, – брал их у него из рук, быстро просматривал, откладывал в сторону и придавливал металлической линейкой:
- Хорошо. Может быть, пойдут.

И все. Слатин уходил, забывал о Головине, о том, как четко, какой идеальной прямой чертой он вычеркивает пустые слова, как «конвертом» зачеркивает целые абзацы, каким ясным чертежным почерком вписывает новые слова, как рисует макеты новых полос и правит, правит после газетных правщиков и вежливо разговаривает с ответственным секретарем, обсуждает ерундовые первополосные материалы, написанные Лешей Иванченко. А где-нибудь на лестнице Головин догонял Слатина, брал его за локоть, и Слатин спрашивал:

- Поговорить нам с тобой надо?
- Надо, надо нам с тобой поговорить, – не замечая слатинского раздражения, отвечал Головин. – Посидеть хорошенько и потолковать. Есть у меня мысли, хотел с тобой посоветоваться. Думаю, знаешь, засесть и написать кое-что.
- О химии?
- О жизни. Ты в пирожковую?
- Нет, – отвечал Слатин, хотя собирался именно в пирожковую.
- А я за пирожками.

И они расставались. Проходило несколько недель, и опять Головин спрашивал, где живет Слатин, листал блокнот и смотрел растроганно. И Слатин стал его дразнить. Кричал, встречая в коридоре:

- Поговорить надо?
- Надо, надо, – грустно отвечал Головин.
- Записать тебе адрес или сам запишешь?

Слабый этот, грустный взгляд раздражал Слатина.

Головин начинал ответственным секретарем краевого альманаха и там жестко и честно правил тексты, написанные областными писателями. Ему предложили уйти, и он перешел в газету помощником Владислава. Но и тут его наивная, но странно

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru твердая грамотность не пришлась по вкусу. И после истории с Белоглазовым редактор ему сказал:

– В обкоме меня спросили, кого направить в многотиражку машиностроительного. Я назвал тебя. Советую. Сам будешь хозяином.

И Головин ушел в многотиражку. В секретариат сажали Стульева, еще кого-то, но через год опять позвали Головина – все-таки он был чрезвычайно грамотен и работоспособен. И за много лет работоспособность и грамотность в нем нисколько не притупились, не поизносились. Он вернулся в секретариат и заперся в маленькой комнатухе, в которую уже нельзя было поставить второго стола. Когда Владислав уходил в отпуск, Головин вел планерку, и сразу сельскохозяйственник переставал выделяться вперед, редактор не обращался с вопросами к кому-то через ведущего планерку, и вообще планерка шла скучнее, без обычного утреннего драматизма. И только самому Головину кто-нибудь давал понять, что он временный, поскольку не обладает политическим темпераментом Владислава Маятина. А если в это время вместо редактора, ушедшего в отпуск или заболевшего, за столом сидел заместитель, страсти и вовсе замораживались и как бы падало обычное для редакции рабочее озлобление. Газета начинала выходить вовремя, как будто выпуск каждого номера не был подвигом, а самым обычным будничным делом. Но возвращались редактор и Владислав, и в редакции опять восстанавливалась горячая атмосфера подвига, утренние планерки наполнялись драматизмом, и Вовочка, который при заместителе редактора и Головине как-то опрощался, опять начинал кокетничать и кривляться.

У Слатина были дружеские отношения со Стульевым и с Головиным, но Слатину нужен был кто-то покрупнее телом, что ли. Кто не так, как Стульев, спешил бы с работы домой. Помоложе, побесшабашнее, что ли. Они нашли друг друга, хотя были очень разными и вызвали друг у друга постоянную напряженность. Звали его Виктор Курочкин. Как потом выяснилось, это был тот самый человек, которого редактор и Владислав Маятин готовили на место Белоглазова. Впервые в отделе культуры он появился в районных сапогах – принес показать стихи. Приехал он из района дня на два – он работал тогда ответственным секретарем районной газеты, – и потому стихи его, против всех правил, читали тут же, при нем.

– Не понравились? – удивился он, когда Вовочка возвратил ему листки. – А Ошанин их хвалил. Я в Москву посылал.

Но огорчен он не был. Не за этим приезжал. Из отдела не торопился уходить – районный газетчик хотел посидеть с коллегами из областной газеты. Выглядел он не просто худым – истощенным: запавшие щеки, отливающие желтизной глаза, тонкие руки. Вовочка любезно спросил, не устал ли он с дороги. Он ответил:

– Вы не смотрите, что я худой. Я очень сильный. Я никому не уступлю. Ему вот, – кивнул он в сторону громоздкого Слатина.

Стихами Слатин не занимался, он работал и не прислушивался к тому, что говорили гостю Вовочка и Стульев, но тут он взглянул на Курочкина. Посетители отдела никогда еще не прикидывали, сумеют ли они справиться со Слатиным. Очень худой человек, только что хваливший свои стихи (он сказал: «Я не считаю, что это классика. Но стихи на уровне. Их можно печатать в любой газете, за это я ручаюсь, что бы мне ни говорили»), показался ему не очень приятным. А Курочкин, уловив его взгляд, сказал без смущения:

– Честное слово, я худой, а жилистый. Вы не смогли бы меня побороть.

(Они потом боролись, и Слатин действительно не мог его побороть, хотя был сильнее и тяжелее – очень быстрым, решительным и жилистым был Курочкин.)

Он уже работал в редакции, а Слатин, встречая его в коридоре, удивлялся тому, что он так долго не уезжает к себе в район. Потом они стали встречаться по дороге на работу – Курочкин поселился рядом со Слатиным. Однажды он пришел к Слатину, его встретила лаем маленькая собачка – помесь болонки и тойтерьера. Мать Слатина из вежливости прикрикнула на собаку, а Курочкин сказал:

– Не беспокойтесь. Если она ко мне полезет, я сверну ей шею.

– Такая маленькая собака!

Но Курочкин не смутился. Он сказал Слатину:

– Если у меня будет сын, я его с детства буду вооружать всякими боевыми навыками. Меня в детстве, знаешь, как били! Во дворе верховодили дворничихины дети. Трое братьев. – Курочкин засмеялся, напряг плечи. – Дворничихины же, вот такие крепкие. Куда я против них! Я не боялся. Просто драться не умел. Махал руками и чувствовал: больно, еще больнее, совсем больно... Всегда со мной что-нибудь случалось. То руку поломаю, то мне палец разрубят, то в глаз железкой ткнут.

С собакой он так и не помирился. Топал на нее ногами, рычал, и песик его как-то тяпнул. Курочкин позеленел. Слатин сказал:

– Приношу мои извинения.

Курочкин молчал, потом сказал:

– Да, это тот случай, когда...

И совсем поразил Слатина:

– Видишь ли, меня еще никто безнаказанно не кусал. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не добраться до вашего пса.

Однажды утром Слатин поднялся на пятый этаж к Курочкину.

– Открыто! – отозвался Курочкин из комнаты, которую от двери отделял коридор прихожей.

Слатин вошел, Курочкин был в постели, только проснулся.

– Ты чего ж не запираешься?

– А я никого не боюсь.

– Ну, это пока бодрствуешь. Но когда спишь, какое значение имеет то, что ты не боишься?

– Все равно.

Он любил это повторять:

– На меня не кидаются. Никто не кидается. Ни воры, ни хулиганы. Я, правда, никого не боюсь. Всегда готов к отпору, и это чувствуют. Токи, что ли.

Один из всей редакции он ходил обедать в ресторан. Однажды там между столиками шатался пьяный тип с наколками на груди. Он лез рукой в тарелки, и все сидели в напряжении, ожидая своей очереди. А он направился к столику, за которым сидели военные летчики.

– Цацек навесил! – сказал он одному из них. – Налей ему водки, – показал он на молчаливого подобострастного подонка, который сопровождал его по ресторану.

Летчик побагровел, стал зачем-то расстегивать китель:

– Ты меня не трогай, я стреляный!

– Я бы, Миша, ему помог, – рассказывал Курочкин, – но их было четверо, и он этому громиле говорит: «Не трожь меня, я стреляный». А я этого громилу откуда-то знал. И он меня тоже. Он шел по ресторану, а меня видел давно, и я его тоже видел. Понимаешь, мы должны были встретиться. Он шел между столиками, и, когда поравнялся со мной, я встал и загородил ему дорогу. Миша, он на голову выше меня. Физически мне с ним делать нечего. Но я подумал: «Пусть все летит к черту. Не кулаком, так тарелкой, вилок – кишки у него такие же тонкие, как и у всех». Мы с ним глазами встретились. Не случайно встретились, а кто кого. Он мне хотел что-то сказать, но я сразу, Миша, улавливаю эти мелкие движения человеческой души: глаза у него подались. Ему надо пройти, а я стою на дороге. Я ему говорю:

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
«Что за базар?» Тихо говорю: «Что это такое? Резвишься! Иди отсюда, чтобы я тебя не видел!» Он мне отвечает: «Я тебя знаю. Ты меня лучше не дразни». А я ему говорю: «Кишки у тебя такие же тонкие, как у всех. Понял?» Тут этот шестерка, подонок, который шел за ним: «Ребята, не надо, чего вы!» Миша, я не хотел помогать этим летчикам, раз они сами не могли себе помочь. Но я его выгнал потому, что это уже касалось меня.

Всегда с ним что-то такое случалось. На автобусной остановке подвыпившие, хулиганящие мастеровые пытались смять очередь. Он сказал самому здоровому и злому из них:

– Я тебе сейчас так дам – из собственных штанов как намыленный, выскочишь. Понял?

Сказал так, как может сказать настоящий уголовник. Тем самым зловеще спокойным тоном, от которого никаких сомнений не остается. До мастеровых дошло, они бы и отстали, но было много зрителей, и они уже не могли удержаться. Тогда Курочкин остановил проходившую машину, утащил здорового за собой и отвез в милицию.

– Не побоялся, что здоровый? – спросил Слатин.

– Миша! – сказал Курочкин с презрением. – На здоровых воду возят.

Во всех его приключениях была одна какая-то нота, привлекавшая и отталкивавшая Слатина.

Не пьющего совершенно, его почему-то всегда тянуло в места, где пьют. В открытом летнем кафе пьяная компания устроила танцы под музыку, доносившуюся с расположенной рядом танцевальной площадки. Курочкин вошел в кафе с двумя девушками. Едва они сели, расхристанный парень взял девушку выше локтя.

– Она не танцует, – сказал ему Курочкин.

Протянувшись через столик, парень пальцем зацепил кармашек на пиджаке Курочкина.

– А тебя не спрашивают, – сказал он Курочкину.

Девушки стали нервничать: «Уйдем». Подошла официантка, Курочкин сказал:

– Заказывайте.

А парню сказал:

– Пойдем. Я тебе сейчас лично объясню, почему с такими, как ты, эти девушки не танцуют.

За ними следили от двух сдвинутых столиков, за которыми расположилась компания. Когда Курочкин проходил мимо, ему подставили ногу, потянули за полу пиджака.

– Ребята, – изумился Курочкин, – вы пьяные или на самом деле такие храбрые?!

За ним увязалось человек пять. С одним Курочкин разговаривал, двое ему дышали в затылок, кто-то сзади мацнул брючные карманы.

– Мацни меня за другое место, – сказал ему Курочкин.

Он потом рассказывал Слатину:

– Тут еще как бить будут! Могут до смерти избить, а унижен не будешь. А могут дать носком под зад – и ничего не сделаешь. Важно не дать им почувствовать свою силу и мою слабость. Я им говорю: «Вот вы стоите передо мной, а через пять минут на коленях ползать будете!» – «Старший лейтенант милиции!» Я говорю: «Гораздо страшнее!» Этот парень кому-то советует: «Дай ему!» Я спрашиваю: «А что у тебя голос дрожит?» Он и клюнул: «Я под хмелем!» – «Дерьмо жрал?»

Слатин спросил у Курочкина:

– А чего ты милицию не позвал?

– Миша! Да разве в этом дело! Иногда с кем-то в редакции споришь – убить хочется, а приходится ограничиваться язвительными замечаниями. А ведь он может оказаться язвительнее тебя. В тот раз я, можно сказать, победил. Их сколько, а я один! А все равно хожу отравленный. Парень-то этот ко мне прикасался, за кармашек тянул, а я ничем не ответил.

Завел себе льва. Настоящую львицу месяцев пяти-шести. Использовал свое влияние газетчика и взял на воспитание из юннатского кружка при зоопарке. Приводил знакомых смотреть на львицу. Худой, спортивный и легкий, он, опережая гостей, поднимался к себе на пятый этаж и ожидал их на лестничной площадке у своей двери. Знакомые немного медлили и спрашивали еще раз:

– Так каких она размеров?

– Вот таких, – показывал Курочкин, невысоко поднимая руку над полом. – Как собака.

Он открывал дверь, и гости застывали в страхе, потому что перед ними был настоящий лев. Потом, когда они успокаивались, они видели, что львица действительно невысока, не выше крупной собаки, но это вовсе не значило, что и во всем остальном она была не больше собаки. У нее было длинное мощное тело, мощные лапы и крупная человечесья голова. И невысокой она казалась только потому, что, примериваясь к размерам коридорчика, ходила на полусогнутых лапах. Эта прицеливающаяся, крадущаяся походка на полусогнутых лапах в первые мгновения особенно пугала гостей. Курочкин, вытянувшийся, стройный, подтянутый, с той же сдержанной улыбкой, с которой он показывал: «Не выше собаки», – предлагал: «Проходите, проходите». И гости шли в комнату мимо львицы, которая в отличие от собаки не умела сторониться. На гостей она не обращала внимания. Она прицеливалась к тому, чтобы пробежать в комнату, куда ее в обычное время не пускали. Она и пробегала, и Курочкину не удавалось ее удержать. Впрочем, «пробегала» не то слово. В этой маленькой комнате львице с ее длинным телом некуда было бегать. Она не вспрыгивала, как это сделала бы собака, даже очень большая, на тахту или кровать, а, будто не замечая разницы между полом и кроватью, оказывалась на кровати. Курочкин замахивался, и она таким же не приметным движением своего плавного тела переливалась, перелетала на кресло, оттуда на пол. На полу был постелен ковер, которым Курочкин очень дорожил. Львица самым обычным кошачьим движением запускала в него когти. Необычными были размеры лапы – когда львица вбирала когти, ковер собирался складками. Курочкин замахивался всерьез. Шкафа для одежды у него еще не было, и весь его гардероб висел на деревянных плечиках, зацепленных за гвозди, вбитые в дверь и над кроватью. Курочкин был женолюб и очень следил за своей одеждой. У него было много галстуков и рубашек, а львица, прыгая на кровать, запускала когти в рубашки и новенький, покрытый чехлом из простыни костюм. Ей не нужно было его дергать, чтобы сорвать с крючка. Все в этой комнате было несоразмерно с ее силой. Костюм просто обрывался с гвоздя, когда она тянулась лапой, чтобы попробовать, что это такое. Курочкин свирепел. Он замахивался на львицу рубашкой, которую отнял у нее, львица пугалась, отпрыгивала и казалась бы совсем безопасной, если бы не желтый, янтарный свет в ее испуганно расширенных глазах и если бы не напряжение и скрытый страх в глазах самого замахивающегося Курочкина.

– А ты сам не боишься? – спрашивали у него.

– Боюсь, – говорил Курочкин, подумав. – Сам видишь – зверь. – И он закатывал рукав рубашки, показывая вспухшие продольные полосы на руке. – Играя!

Он выгонял львицу в коридор и закрывал проход в комнату не дверью, а металлической решеткой, которую ему специально сварили на заводе.

Каждый день он ходил на бойню – там ему для львицы продавали три килограмма конины.

Дважды при Слатине львица вырывалась из квартиры и сбегала по лестнице вниз. Глаза ее в эти мгновения светились особенно, как будто было в ней напряжение, которого она сама, родившаяся в клетке, живущая в этом многоквартирном, густонаселенном доме, не понимала, но к которому прислушивалась. Курочкин и Слатин бросались в погону, но Слатин только покрикивал, готовый в любой момент уступить львице дорогу, а Курочкин брал решетку и, держа ее перед собой, загонял

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
львицу в квартиру. Когда львица, пробегая мимо Слатина по лестнице, задевала его боком и плечом, он чувствовал, какое это могучее существо.

У Курочкина побывала, кажется, вся редакция. Его львицей хвастились, водили к нему приезжих: «У нашего работника в доме живет лев». Поместили в субботнем номере фотографию – Курочкин со своей львицей. Все это продолжалось месяцев пять, а потом Курочкин вернул львицу в зоопарк. К дому подъехал грузовик с клеткой, приехали зоопарковские служители в толстых стеганках и юннатка, которая ухаживала за львицей до того, как ее забрал Курочкин. Курочкин сказал, что ему трудно смотреть на то, как увозят его львицу, и согласился только вывести ее из дому и посадить в грузовик. Однако увезти львицу оказалось не просто. За эти месяцы она впервые спустилась с пятого этажа, не узнала юннатку, шарахалась от служителей. С Курочкиным она влезла в кузов грузовика, но войти в клетку отказалась наотрез. А когда Курочкин спрыгнул на землю, львица впала в панику, билась о кузов, и деревянные борта грохотали и трещали. Пришлось Курочкину лезть в кузов и ехать в зоопарк.

Слатину он сказал:

– Если будут спрашивать, скажи, что львицу мне подарил капитан дальнего плавания. Мне так надо. Хорошо?

И вообще с приходом Курочкина страшно обострились какие-то события на периферии редакционной жизни. Так что даже Слатин стал их замечать. Однажды, столкнувшись в коридоре с молодым литературным сотрудником Глебовым, он увидел у него под глазом синяк. Глебов любил выпить, но Слатину и в голову не пришло, что работник редакции может позволить себе кулачную драку.

– Что случилось? – спросил Слатин.

– На швабру наступил, – сказал Глебов. И Слатин поверил.

– Видел, – сказал он Родиону Алексеевичу, – какой у Глебова синяк? На швабру наступил в темноте. Хорошо, глаз не повредил.

– М-гу, – сказал Родион Алексеевич, не поднимая головы от работы и не вынимая папиросы изо рта.

А было все очень просто. В редакции – и этого не замечал Слатин – люди группировались самым обычным образом для того, чтобы пойти в ресторан, ухаживать за женщинами. Курочкина позвали в такую компанию, а подвыпивший Глебов не хотел принимать новичка за своего.

История эта ошеломила Слатина. В детстве он дрался положенное количество раз, в юности занимался боксом и борьбой, но потом не то что забыл – выпустил из памяти совершенно. Редакция, считал он, должна быть местом, похожим на храм нового общества. Здесь можно было думать только о высоком, добиваться высокого. Вот почему простейший синяк, который в других обстоятельствах дал бы мыслям Слатина определенное направление, так долго держал его в недоумении. Однако вспомнить о том, что под влиянием алкогольных паров молодые мужчины могут драться, оказалось не трудно, и Слатин оценил ситуацию по обычному счету: учел заносчивость Глебова, риск, на который пошел новичок, и проникся к нему интересом.

Из пирожковой редактору пожаловались, что Глебов оставил в долг корреспондентский билет, и Глебова уволили.

История эта пришла к Слатину из мира, с которым у него почти не было связей. Но Глебов, с которым и Слатин, и Стульев и виделись и разговаривали редко, вдруг пришел к ним в отдел, чтобы спросить, правильно ли его увольняют. Он объяснил:

– Мне очень важно именно ваше мнение.

Глебов был пьяница. Как от старых пьяниц, от него несло даже не алкоголем, а вчерашним винегретом. Он постоянно был кому-то должен, продавцы пирожковой уже не раз разыскивали его в редакции, и Слатин не пожалел, когда узнал, что его увольняют. Все было правильно: человек, не отвечающий за свои поступки, не должен работать в газете. Но у Глебова оказались неожиданные симпатии, он выбрал их со Стульевым, чтобы узнать, справедливо ли его увольняют, и Слатин

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
заволновался.

– Не знаю, – сказал Родион Алексеевич резко, – как бы я поступил на месте редактора, но таким, как ты сейчас, работник редакции не должен быть.

– А эти? – сделал Глебов неопределенный жест.

– Не знаю, о ком ты говоришь.

– А ты? – спросил Глебов у Слатина.

– Зачем себя с кем-то сравнивать? – сказал Слатин. – Надо отвечать за себя.

– Значит, и вы, – сказал Глебов. Уволившись, он должен был уехать из города потому, что был не местным. А ехать ему было некуда потому, что он воспитывался в детдоме.

Он ушел, а Слатин старался понять, чего он стыдился. Все было правильно: слабый, беспринципный человек, подозревающий всех в дурных поступках. Но зачем он выбрал их в совестные судьи! И что стыдного в том, что ему сказал Слатин. Или, правда, если кого-то увольнять, так нужно начинать с редактора, который не только расправился с Белоглазовым, но и всю редакцию принудил к несправедливости? Курочкину, который сидел на месте Белоглазова, Слатин сказал об этом. Тот закричал:

– Какая справедливость! Миша, о чем ты говоришь? Его давно надо было гнать грязной метлой! Ты меня удивляешь! Справедливость в том, что способного работника сохранили, а бездарного выгнали.

Он четко произносил каждое слово. Как будто, кроме известного всем, оно имело еще и другой, обидный для слушающего смысл. Обидным для Слатина было то, что Курочкин говорил с ним как старожил с новичком. И о Глебове, который еще слоняется по редакционным коридорам; он сказал: «Правильно! Гнать грязной метлой!»

Глебова уволили, он уехал, объявился в Москве, а через год вернулся – приехал искупать вину в том месте, где провинился. Ему разрешили писать для газеты, но в штат не взяли, и он месяца через два исчез из жизни Слатина окончательно. А Курочкин, не став еще старожилом, переругался с половиной редакции. Первыми были корректоры и машинистки. Машинистки были самыми старыми работниками редакции. Их здесь удерживала, должно быть, вот эта мысль – «я работаю в газете». Иначе они давно отыскали бы себе место полегче. Возможно, это были самые квалифицированные машинистки в городе. И все были с ними очень вежливы. Потом он поскандалил с милиционером, дежурившим в обкоме партии. Курочкину, бывшему в тот день помощником дежурного, надо было отнести газеты из типографии в обком партии. Для этого в здании обкома нужно было подняться на третий этаж. Курочкин оставил газеты у милиционера, сидевшего в вестибюле.

– Передайте наверх, – сказал он и бросил газеты на конторку.

Он делал это уже не в первый раз, и милиционер запротестовал:

– Поднимитесь наверх.

– Я тебе не курьер, – побледнел Курочкин. – Сам отнесешь.

Раньше газеты носил курьер, но редактор решил, что в обком газеты должен носить журналист. Это и имел в виду Курочкин.

Платонов – это был уже третий заведующий, к которому за год перевели Курочкина, – отказывался с ним работать. Он говорил, что Курочкин заваливает одно задание за другим. Когда отношения с начальством становились совсем невыносимыми, Курочкин брал бюллетень. Когда-то у него были туберкулез легких и язва желудка. Все это зарубцевалось или зарубцовывалось, но в больнице для него всегда готов бюллетень. Сидеть дома он не мог, его видели в городе, встречали с женщинами в кинотеатрах. Завы, у которых он в это время числился, нервничали, никто им в отдел на это время людей не давал, работу делали те, кто остался; на Курочкина писали докладные, но пока он болел, никто не решался действовать настырно. Он

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru выходил на работу, ему давали несколько дней «на раскачку», и опять начинались скандалы. Заведующие носили в секретариат материалы, которые писал или правил Курочкин, возмущались его небрежностью, грубыми ошибками, ходили к редактору, а Платонов даже объявлял Курочкину бойкот: не давал ему заданий, не разговаривал с ним, не подписывал материалов, которые он написал или выправил. А Курочкин всем дерзил, находил ошибки в работах Платонова, вырезал из столичных газет передовые статьи, красным карандашом подчеркивал те самые стилистические ошибки, которые ему ставили в вину, носил все это к редактору или в секретариат. А однажды он повесил на доске объявлений вырезку из газеты, подчеркнув в ней слово «проверка».

«Некоторые товарищи думают, что проверять людей можно только сверху, когда руководители проверяют руководимых по результатам их работы. Это неверно. Проверка сверху, конечно, нужна, как одна из действенных мер проверки людей и проверки исполнения заданий. Но проверка сверху далеко не исчерпывает всего дела проверки. Существует еще другого рода проверка, проверка снизу, когда массы, когда руководимые проверяют руководителей, отмечают их ошибки и указывают пути их исправления. Этого рода проверка является одним из самых действенных способов проверки людей».

Это был слишком хорошо известный текст. Слатин подумал, что раздраженный Курочкин затеял смертельно опасную игру. Однако гром почему-то не грянул. Вырезка провисела минут сорок, все ее успели заметить, а потом Курочкин ее снял.

Его вызвали к редактору. Редактор сказал:

– Будем ставить вопрос о вашем увольнении. Ваши товарищи говорят о вас...

– Это ваши товарищи, а не мои, – сказал Курочкин. – Алкоголики! В редакцию войти нельзя – с порога слышно! Я отстаиваю свои взгляды, спорю потому, что я больше вас заинтересован, чтобы газета выходила по-настоящему партийной.

Все знали, что Курочкин не пил и не курил. Курящих он тотчас выставлял из кабинета. А редактор старался не замечать, что вечером в отделах пили. Редактор любил, когда люди поздно задерживались на работе.

Родион Алексеевич говорил Слатину:

– Курочкин – фигура саморазрушающаяся. Его выдвинули из районной газеты, он слишком быстро хочет стать начальником. Слишком самолюбив. Слишком любит жизнь и приключения.

Курочкин говорил Слатину:

– Миша, я знаю себе цену. Во всей редакции только ты да Стульев можете работать так, как я. Ты, правда, используешь рецензии, чтобы протаскивать в газету свои мысли, но не в этом дело. Я сам знаю, как я работаю и как могу работать. И я прямо об этом говорю. А люди не привыкли к тому, чтобы об этом говорили, как я. Они меня осуждают, и я их понимаю. Я даже знаю, что надо было сделать, чтобы меня полюбили. Надо было прийти к тому же Владиславу, сказать: «Слава, понимаешь, я из районной газеты, в большой только начинаю работать, чувствую, что не все у меня получается. Вот тут мой материал идет, пройдишь по нему рукой мастера!» И все! Но я не могу! Тогда это буду не я, а кто-то другой. Я умней Владислава. Я это знаю, я это чувствую, уверен в этом. Я тебе больше скажу: я на своем веку разных людей повидал. И бывших больших начальников, и шпану, и сошку всякую – всех. И знаю – я не глупее кого бы то ни было на свете. Я меньше знаю, но это не от меня зависит. Если бы я сидел в Москве, в правительстве, я бы знал столько же и был бы ничуть не хуже. Правильно, я не люблю писать, у меня нет этой страсти – печататься. Но если я захочу, я могу дать материал любого качества. Я это знаю, понимаешь, нервами своими знаю.

И еще он говорил:

– Шестеркой я по природе своей быть не могу. Я тебе еще не рассказывал: я пацаном связался с беспризорными. В лагере выдал себя за вора. Миша! Я ненавидел их, я был умнее их, но надо было быть или с ними или внизу. Несколько лет по острою ходил! Меня знали на всех командировках. Двое часов на руке носил. В воровских сходках участвовал. Ты не представляешь, как это опасно! Если

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru кто-нибудь доказал бы, что я только выдаю себя за вора, – меня под землей бы нашли. Ты не представляешь, на что идут, чтобы добраться до того, кого собираются убить! Начальство его в карцер за толстые стены посадит – камень грызут, преступления совершают, чтобы в карцер сесть. На другую командировку переведут – найдут способ перебраться за тобой через всю страну, любое преступление совершат, чтобы добиться пересмотра дела и оказаться в этапе. Тут все время надо быть настороже, а я не один год держался! И все важно – что сказать, как ответить. Играешь, например, в карты, мат стоит. Ты кричишь партнеру: «Такой-сякой, карту передергиваешь!» – «Кто передергивает?» – «Ты, так и перетак!» – «Что ты сказал? А ну, повтори!» Вот тут повторить нельзя. Ты кричишь: «Да я тебя в ухо, в глаз, в сестру, в отца и всех родственников!» Он и успокаивается. А если это у тебя не в крови, не в нервах – сбиться можно, тебя и заподозрят. Я многое знал, многое умел, но не все, а главное, ненавидел их. Ты говоришь, справедливость – несправедливость! Я на людей насмотрелся. Люди не за справедливостью идут – за силой. Это вы, интеллигенты, путаете. Я тебе скажу – в истории ничего, кроме силы, не было. Любая общественная организация на стороне тех, у кого нервная система сильнее. Я воров ненавидел, но я их и сейчас уважаю за силу духа. Сила – это ведь, Миша, не мышца, а дух. Понял? Это надо видеть.

Когда Курочкин это говорил, на лице его появлялось выражение презрительной пронзительности, как будто он насквозь видел громоздкого Слатина, как будто точно знал, что Слатин со всеми его мышцами человек слабый. А Слатин думал, что для него существует какой-то предел жестокости, что ли, за которым он уже не в состоянии ее воспринимать как явление той же самой жизни, в которой живет и он сам, Слатин. А у Курочкина этот уровень жестокости был бесконечно отодвинут. Он, например, с восторгом рассказывал, как порезались пацаны-полууголовники. Они поссорились из-за девчонки или еще из-за чего-то и схватились за ножи. Их пытались удержать, но они разбросали удерживающих и нанесли друг другу несколько ран. Ранения, которыми они обменялись, не останавливали их до тех пор, пока они не обессилели. «Скорая помощь» застала их сцепившимися, но ослабевшими. Их растащили – кусающихся, ругающихся. В больнице их уже в бессознательном состоянии уложили на два стола в одной операционной. Один пришел в себя и схватил какой-то режущий инструмент...

– Понимаешь, – говорил Курочкин, – дух! Дух у ребят какой! Жизни осталась минута, а он лезет!

– Сильный человек – это, конечно, хорошо, – говорил Слатин. – Но не родился с сильной нервной системой – и все? Что же тут делать?

Курочкин презрительно улыбался, он знал, что надо делать со слабыми. Голова от этого у него не болела. Но вообще, когда они спорили, Курочкин слушал напряженно, тер пальцами виски – сосредоточивался, хотел понять, но то, что он знал, было гораздо сильнее того, что мог сказать ему Слатин.

– Миша, – говорил он, – когда мой срок подходил к концу, воры в моем бараке собрались пришить трех работяг. Я этого уже стерпеть не мог и пошел к начальнику. Он первым делом спрятал меня в карцер, чтобы до меня не добрались. Мы пошли с охранником, а во дворе к нам бросился человек – за ним гнался вор. Я вору подставил ногу – он упал. Для меня это было уже все! Человека, которого я спас, посадили вместе со мной. Это ж как сказать по справедливости? Я ему жизнь спас, мог рассчитывать на какую-то благодарность. А он ночью деньги у меня украл.

У него в запасе всегда были такие примеры, и он не соглашался со Слатиным, который говорил, что примеры ничего не доказывают уже хотя бы потому, что ими можно доказать все, что угодно.

– Это раньше ничего не доказывали. А теперь многие побывали там, где человек виден насквозь!

О чем бы они теперь ни говорили, все выходило продолжением их постоянного спора. Пожаловался им сосед Слатина: завел дорогую собаку, давно мечтал, а сын таскает ее за хвост, заставляет бегать, как дворнягу, с мальчишками. Пес еще молодой, но уже видно, никакой сторожевой злобности у него не будет.

– Зачем тебе злая собака? – сказал Слатин. – Пусть будет добрая.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru

– Испортишь собаку, – усмехнулся Курочкин. – Тут надо выбирать – сын или собака. Понятно, сын. Но собаку испортишь. На нее даже замахиваться нельзя. Собака должна быть уверена, что сильнее всех на свете. Что только хозяин сильнее ее.

...Идут вместе на работу под дождем. Курочкин далеко обходит лужи, туфли на нем чистые, брюки наглаженные, новенькое пальто не вымокло, а у Слатина брюки и туфли забрызганы, сам раздражен – повздорил с женой.

– За пять лет ни в чем друг друга убедить не можем.

Курочкин заходит в подворотню, чтобы переждать сильный порыв, и сдержанно улыбается. Улыбка у него имеет десятки оттенков, он точно ее дозирует. Улыбается ровно настолько, насколько считает нужным улыбнуться. Уговорить никого ни в чем нельзя – это ему давным-давно известно. Вести к цели может только сила. Он не говорит этого, но Слатин понимает и так.

Дома у Курочкина иллюстрированные журналы, научно-популярные брошюры. Он их читает. Но знает немало. Имена политических деятелей многих стран, имена генералов, названия городов – все это держится у него в голове. Память у него прекрасная. Не запинаясь, он произносит самые интересные фамилии. Если Слатин говорит: «Надо писать правду», – Курочкин кричит:

– Миша, какую правду?! Что такое правда? Умно надо делать!

Он считает, что все, в основном, у нас делается умно. Сильная внутренняя политика, сильная внешняя. Только ноты протеста, за которыми не следуют решительные поступки, его раздражают.

– Нечего ругаться матом, – говорит он, – если боишься в морду дать!

Себя он считает обойденным только потому, что он мог бы делать все умнее, чем тот же Платонов, но руки у него связаны. Причем умнее для него не значит квалифицированнее, честнее, с большим знанием дела. Курочкин что-то совсем другое вкладывает в это слово. А когда он рассказывает Слатину о своих стычках с редактором, видно, что чувства его раздваиваются – Курочкин всегда примеривает на себе самые высокие должности и себя ни в коем случае не согласен считать униженным и оскорбленным. Инстинкт самосохранения мешает.

– Правильно! – говорит он о редакторе и усмехается. – У редактора всегда в руках должна быть суковатая дубина. И вообще я тебе скажу, инициативные люди нужны только во время войны. Ты вот говоришь, газету надо делать, хорошо писать, честно. Кому это нужно – «хорошо писать»? Газету нужно делать – и все! Ты тут будешь, я. Или ни тебя, ни меня здесь не будет – газета будет та же. Я вот иногда думаю о себе: талантлив же я чертовски, смел, будь война, я бы мог так развернуться! А так талант мой пропадает. А что делать?

И он смеялся и, будто собираясь танцевать, слегка поводил плечами.

Дружил он с ребятами, которые были лет на десять моложе его.

– Мне с ними интересно, – говорил он. – Мы вместе ухаживаем за молодыми женщинами.

Может быть, и к Слатину его привязывало то, что Слатин сохранил еще какую-то мускульную молодость, азартно играл в пинг-понг. Они всегда скандалили, когда играли, и если Курочкин проигрывал, он ругался страшными словами, и лицо его искажалось гримасой. Выигрывая, он говорил, забывая о бюллетенях, которые часто брал:

– Миша, я здоровый. Может, поэтому я никогда ничего не боялся. Всегда чувствовал себя здоровым.

Они и спорить начинали тут же, и Курочкин слушал, напрягаясь, стараясь понять. Прикладывал пальцы к вискам, а в глазах боль, головная боль – так трудно ему отвлекаться от того, что он считает единственно правильным, и так честно он старается сосредоточиться на чужих мыслях. Ни в чем не сходясь, они и людей, работающих в редакции, оценивали по-разному. Если Слатин говорил, что вот Головин настоящий мастер, обладающий журналистской мгновенной грамотностью, то

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Курочкин только презрительно и снисходительно посмеивался:

– Грамотность, грамотность! Далась она тебе.

Но в редакции дела Курочкина шли плохо, и было время, когда казалось, что его вот-вот уволят.

Однажды он принес в отдел те самые стихи, которые когда-то привозил из района. Он отдал их Вовочке с улыбкой, которая означала: «Тогда я был сторонний автор, а теперь работник редакции». Через несколько дней Вовочка вернул их ему с одной из самых своих очаровательных улыбок.

– Все-таки не понравились? – сказал Курочкин.

Вовочка, все так же улыбаясь, развел руками.

Года через полтора Курочкина назначили заведующим отдела информации.

Слатин как-то спросил у Головина:

– Если бы ты решил написать о нашей редакции роман, какое событие ты бы положил в основу сюжета?

Головин задумался.

– Я бы написал о том, – сказал он, – какие люди уходят и какие приходят.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

По крайней мере, в первый год работы в газете Слатин был счастлив. Слатина отличало одно вполне определенное обстоятельство – у него было постоянное и очень сильное желание понять мир при стойком ощущении, что он его не понимает. Это постоянное ощущение – не понимаю – его мучило. Так много страданий человеческих он видел в детстве, слышал о них, становясь подростком, юношей. Он видел верующих людей и никогда не верил сам. Он знал, что не понимает, и искал книги и людей, которые помогли бы ему понять. Нужен был смысл для жертв военных, голодных и других лет, нужна была логика – логика истории, прогресса, которая давала бы человеческое освещение всему тому, что он видел. Слатин прекрасно понимал, что в момент убийства или насилия факт этот мог не иметь ничего общего с какой бы то ни было логикой. Но потом он обязательно должен был вовлекаться в движение истории, освещаться историческим смыслом, вступать в связь со всеми другими историческими фактами. Связь должна была быть! Поэтому он испытывал такое наслаждение, читая у Маркса фразы, которые звучали примерно так: «Дело не в том, что сейчас думает отдельный рабочий, и даже не в том, что думают целые группы рабочих – дело в том, что вынужден будет сделать весь рабочий класс, чтобы выжить и сохранить себя». Вынужден будет! Слатин, конечно, немного мистифицировал для себя материалистические законы. В это «вынужден» он вкладывал не совсем то, что думали по этому поводу великие Маркс и Энгельс. Но Слатин не был великим. Он был провинциальным интеллигентом, и счастье его было не в том, что он открывал великие исторические законы, а в том, что, испытывая на себе действие этих законов, он испытывал счастье понимающего, принимающего и участвующего. Это было счастье зрячего. Слатин, провинциальный интеллигент, марксист, видел то, чего не могли видеть Маркс и Энгельс, – подтвержденную практикой теорию великого ученого. И это было ни с чем не сравнимое счастье! Слатин нашел великую теорию и великих учителей. Он узнавал – и темные, слепые факты обретали смысл и объяснение. Это было не только объяснение, но и преодоление жизни. У Слатина было то, чего всю жизнь искали ищущие, верующие, избранные: у него была цель, у него была вера, у него было знание, и если бы он был постарше, можно было бы сказать – мудрость. Потому что когда он узнал, он успокоился в чем-то. Он нашел, ему незачем было суетиться. И жизнь и даже возможная смерть во время грядущей большой войны, неизбежность которой он чувствовал, теперь обрели смысл. Даже возможная несправедливость по отношению к нему не пугала его потому, что он в значительной мере утратил страх за себя, увидел то целое, в которое он входил незначительной частью. Соразмерил пропорции. Он мог сжиматься, работать по четырнадцать часов, изматываться до предела, мог отказаться от того, что называют личной жизнью, – знал, ради чего. А разве не этого, как самого высочайшего счастья, добивались думающие люди всех веков и народов – знать, ради чего можно пожертвовать своей жизнью?! Жизнь надо наполнить смыслом, тогда ею легко пожертвовать. У Слатина жизнь была наполнена

СМЫСЛОМ.

Отец Слатина был старым революционером. Он был в числе организаторов знаменитой южной забастовки 1904 года. В тридцать четвертом они всей семьей собирались переехать в Мариуполь, на юг, – у отца было плохо со здоровьем. В квартире было голо, даже кровати стояли с пустыми панцирными сетками – мать уже упаковала постели. Отец прилег на голую сетку – до поезда оставалось часа два. В это время постучали...

Через год отец вернулся, и он все-таки уехал в Мариуполь с матерью. А Слатин остался в городе. Потом отец умер, и мать вернулась. Самое главное, что Слатин запомнил об отце, – это то, что отец умел думать против себя. Правильным для него было совсем не то, что было приятней или легче. Может быть, поэтому для Слатина всегда были так значительны слова отца. И вообще отец, большой и слабый, всегда оставался для Слатина значительным, потому что умел думать против себя. Слатину казалось, что он перенял у отца это умение.

С самой возможностью несправедливости Слатин оборачивал дело так, что себя же считал виноватым. Ведь это же мы сами, куда ни взгляни, куда пальцем ни ткни! Слатин как-то не думал об этом, пока не стал работать в газете. Когда-то он считал, что сюда отбирают только самых проверенных, самых дисциплинированных и умных – ведь это те, кто говорят читателям правду! Другой такой газеты в области нет. Но люди, которые работали здесь, не были ни самыми умными, ни самыми дисциплинированными. А некоторые из них, как сельскохозяйственник, вообще не знали своего дела и даже были не в состоянии выучиться ему. При этом они явно не знали того, что знал он, Слатин, но и не стремились это узнать. Пока он не знал этого, у него было ощущение нелепости жизни, своей беспомощности в ней. У них нет ощущения незнания или непонимания. Они знают, поэтому не стремятся узнать еще что-то. Ему было странно, что многие в редакции Маркса вообще не читали, хотя портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина висели почти в каждом кабинете. Не было такой планерки или летучки, на которой не говорилось бы о том, что авторов своих надо знать, что привлекать надо только проверенных. Но брали случайных, печатали незнакомых, потому что невозможно проследить за всеми, кто присылал письма и заметки, и еще потому, что проверенные не могли или не хотели писать, а газета должна была выходить каждый день. Вот и получалось, что куда ни взгляни – это мы сами. И следовательно, все большие наши недостатки идут от наших малых, личных недостатков. От лени, жадности, эгоизма, от неумения жить по законам логики. И Слатин озлоблялся на самого себя, на свои недостатки, на собственную слабость. Надо, надо бить и за слабость, и за трусость, и за эгоизм! Надо заставлять людей работать, вытаскивать страну из технической отсталости. Он был еще молод, и бешеный рабочий темп был ему по силам, и весь новый мир казался ему молодым, бессмертным, а старики были подозрительны потому, что они были оттуда, из другого мира. Конечно, перегибы были, и никто от них не застрахован в будущем. Но дело не в отдельных перегибах – «каленное железо», о котором каждый день писали газеты, было не только средством наказания и устрашения, но и мерой нравственности, которую многие принимали сознательно. Не ниже! И мировая война, и революция, и гражданская война, и коллективизация, и пятилетки – все это было, вот оно. Ни о чем нельзя было сказать, что это вчерашний день. Вчерашним днем было «мирное время» – так пожилые люди называли то, что было до четырнадцатого года. А с девятьсот четырнадцатого мирного времени в стране не было. Была борьба, не имевшая себе равных в истории. На пороге ждала та самая война, к которой поколение Слатина готовилось всю жизнь. Инженеры, рабочие строили оборонные предприятия, а делом Слатина было воспитание сознательности. Его делом было воспитание новой, сознательной дисциплины, самоотверженности, героизма и веры; в такой борьбе ждать прекраснотуши от противника или терпеть его в своих рядах – преступление! Так много раз писал в своих статьях Слатин. Это была литая истина, требовавшая почти дословного повторения. В газетном обиходе было немало таких литых истин, и повторять их надо было, избегая перестановки слов в фразе потому, что малейшая перестановка казалась отсебятиной. Даже излишний энтузиазм редактор вымарывал безжалостно. И чаще всего он вымарывал у Слатина потому, что Слатин над этой литой истиной размышлял постоянно и мучительно и размышления его сказывались на том, как он писал. В размышлениях Слатина были и сомнения и озарения. Среди озарений и была мысль о том, как высоко, на какую жесткую и трудную, но нужную человечеству высоту поднимает эпоха свою нравственность. Сомнений у Слатина, пока он учился, пока в тридцатых годах его подросток сверстники не стали занимать командные посты, не было совсем. Он безоговорочно верил в дело, верил отцу, верил тем, кто был старше его, легко прощал им перегибы, но безоговорочно верить тем, кого он знал с детских лет, Слатин не

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru мог. Спасался он от сомнений работой. Что ни говори, а главным в эпохе была работа. И главное его сомнение начиналось тогда, когда ему начинало казаться, что такие, как Вовочка Фисунов, направляют всю его работу на холостой ход. Суреном Григорьяном Слатин и заинтересовался потому, что это был работающий человек. Правда, вначале Слатину казалось, что Сурен просто отгородился в своем техническом мирке от главных вопросов эпохи. Сколько угодно отгораживаются. Но потом он понял, что характер у Сурена не такой, с каким можно от чего-либо отгородиться. Недаром жена Сурена Лида шутя называла его «враг семьи». И перечисляла: в армии отпуск позже всех получал, самые трудные солдаты ему доставались, в любую драку вмешивается, сам деньги на роту ездил получать, уголовники однажды проследили, едва отбилсЯ от них с наганом – на ходу с поезда прыгал. А демобилизовался, в гимнастерке, в шинели еще ходил, только на работу проектировщиком устроился, опять в историю попал. В воскресенье вышел с бидончиком за молоком, а. вернулся закопченный, с порезанной рукой – хоть за молоком его не посылай.

Тут Сурен ее обычно перебивал:

– Погоди, погоди. Все равно перепутаешь.

И морщился, когда Лида что-то преувеличивала. Вмешивалась дочь:

– Мама, это же не ты тушила пожар. Пусть папа расскажет.

Сурен рассказывал. Шел он с бидончиком по своей улице, уже сто раз тут ходил. Швейная мастерская, магазин и жилой дом с низким первым этажом. В этом доме на первом этаже он и увидел пожар. Комната ярко освещена, кажется, что горит задняя стена, а перед окном девочка лет девяти-десяти с грудным ребенком на руках. Кричит: «Дяденька, помогите!» Сурен поставил бидончик на тротуар, натянул рукав на руку, разбил стекло, открыл окно и стал на подоконник. Оказалось, что горит не задняя стена, а постель перед окном. А девочка стоит у стены с ребенком. Сурен прыгнул в комнату, выбросил на улицу горящую постель, а в это время кто-то открыл запертую дверь комнаты, вошла старуха соседка, которую родители девочки просили присматривать за детьми, вошли еще люди. Делать тут было уже нечего, и Сурен вышел так же, как вошел, – через окно. Взял бидончик и пошел за молоком. Возвращаясь домой, он видел пожарную команду, людей у дома, но прошел мимо. Через день или два в коридоре, в «курилке», инженер, который жил в доме, где случился пожар, рассказывал о нем так, как будто огонь возник в подвале, где курили мальчишки, а Сурен сказал, что это девочка развлекала братика и подожгла целлулоидную игрушку.

– Откуда ты знаешь? – спросил инженер.

Сурен объяснил. В тот же день, или на следующий, областная комсомольская газета напечатала заметку о безымянном герое – воине, который спас двух детей и потушил пожар. Кто-то вырезал заметку, приколот ее к стенгазете проектного бюро и написал: «Это наш Сурен Григорьян». В заметке были такие слова: «Он действовал как в бою». А еще через три дня в бюро принесли новый номер комсомольской газеты с заметкой: «Имя героя известно». Скромным героем, не пожелавшим назвать себя, было напечатано в заметке, оказался демобилизованный командир Красной Армии, ныне начальник охраны табачной фабрики. Имя его Павел Анисимович Федоренко. Областное управление пожарной охраны наградило его денежной премией.

– Что мне было делать? – сказал Сурен. – Только на работу в коллектив пришел, демобилизованный командир, коммунист – плюнуть никак нельзя. Пошел в партбюро, в местком, двух ребят со мной послали. Приехали мы в редакцию. Редактора нет. Встречает нас заместитель. Выслушал и говорит: «Какие у вас претензии?» – Сурен засмеялся. – «Кто автор заметки?» – «Я». Оказывается, он звонил в управление пожарной охраны, там ему дали такую информацию. «Кто дал?» – «Начальник отдела кадров». Поехал он с нами. Пришли в тот дом. Я волнуюсь, не знаю даже, как войти. В окно ведь входил. Постучали. Отец дома, говорит: «Я давно на этого человека хотел посмотреть». Девочку позвали: «Узнаешь этого дядю?» – «Нет». – «Ты его никогда не видела?» – «Нет». И тут на мое счастье входит старуха соседка: «А вас тут ищут, ищут. Несколько раз пожарник приходил». Заместитель редактора говорит: «Теперь вы удовлетворены?» Он с самого начала недоброжелательно нас встретил. Знаешь, может, думал, склочник, за премией погнался. Я говорю: «Как „удовлетворены“?» – «А что же вам еще? Товарищи ваши знают, что это вы. А читателям все равно, чья фамилия там стоит. Просто

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru воспитательный факт». И уехал. Я ребят спрашиваю: «Плюнем?» Но они уже разожглись: «Нет, пойдем до конца!» Поехали на табачную фабрику, спрашиваем начальника пожарной охраны, а он выходит к нам: «Товарищи, я вам все сейчас объясню». Как будто ждал нас. «Я здесь ни при чем. Получил по почте перевод, заметку прочитал, устал уже отбиваться на работе. А деньги отнес в управление и сдал под расписку». Мы в областное управление, в отдел кадров. Начальник говорит: «Да, это я давал сведения в газету. Я составлял приказ на Федоренко. Мне начальник управления дал его кандидатуру». А начальник управления нас уже ждал. Вот так встретил нас. – И Сурен показал, как почти лежал, откинувшись на спинку стула, начальник пожарного управления и ногами сучил: – «Товарищи, товарищи! Но я же несколько раз посылал бойца. Почему вы так долго не объявлялись?» А ему, понимаешь, надо было показать, как хорошо у него люди работают, и деньги на премию были, он и решил воспользоваться случаем... Через два дня я получил грамоту и приглашение получить премию. Позвал ребят, которые со мной ходили, и других еще, поехали за премией. Сто рублей получил – и сразу же в ресторан. Своих еще рублей пятьдесят доложил – премию отметили.

Слатину неудобно было слушать, как наивно говорил о газетчиках Сурен:

– Понимаешь, может, и правильно, что они свой авторитет оберегают.

Но все равно Слатин был счастлив тем, что работал в газете. Как-то в их длинную комнату заглянул один из секретарей обкома партии, приходивший знакомиться с газетчиками. Слатин встал, и редактор, который сопровождал секретаря, сказал Слатину с одобрением:

– Сиди, сиди. Не в армии!

Но Слатин хотел чувствовать себя в армии.

А какие люди приходили к ним в их длинную темноватую комнату! Несколько раз приходил изобретатель телескопа. Он сам вытачивал удивительные стекла из круглых корабельных иллюминаторов, вставлял в раздвижную трубу. Мастерскую он оборудовал у себя в сарае, там у него и хранился телескоп, а он хотел подарить его городу. Приходил географ-энтузиаст, возмущавшийся тем, что на новых картах Северский Донец назван Северным, требовавший, чтобы название было исправлено. Изобретателей и энтузиастов Вовочка встречал сурово. Но они все шли и шли. Но чаще, конечно, в отделе появлялись авторы на мелкие поручения. С утра приходил старый актер Абрам Завадовский. Всю жизнь ходивший в сочинителях, всю жизнь искавший соавтора на пьесу, он располагался надолго, писал рецензии на эстраду, на самодеятельные спектакли, рассказывал анекдоты и передразнивал писателей. Чаще всего рассказывал, как областной писатель номер один Курков читал актерам свою пьесу. Куркову сказали, что у него плохо выписан меньшевик. Курков ответил:

– Много чести ему будет хорошо его выписывать.

Завадовский, подражая Куркову, произносил это так, будто у него забит нос, а язык в два раза толще, чем у обычных людей. Курков его поразил, и Завадовский охотно повторял, как областной писатель номер один произносит:

– Много чести ему будет хорошо его выписывать.

И интонация у него в этот момент была генерал-губернаторская.

Нет, не всем навстречу выходил Вовочка из-за стола. Приходил старый писатель – газетчик Слатин еще мальчишкой читал его фельетоны – Гершкович. На некоторое время, как он сам сказал, он уходил из литературы в адвокатуру, а теперь опять ходил в редакцию. Гершкович поздоровается со Слатиным и Стульевым, пройдет две трети длинной комнаты, и только тогда Вовочка начнет улыбаться. Когда Гершкович останавливался против Вовочки, Вовочкина улыбка делалась любезнее и любезнее, но Вовочка еще не поднимал головы – не мог оторваться от работы. Потом он переключивал папиросу из правой руки в левую и стремительно поднимался, похватывая плечом падающий пиджак. Теперь улыбка его была любезной и извиняющейся в одно и то же время – не сразу поднялся навстречу старому человеку. Он подавал руку, все так же стоя, открывал ящик письменного стола, доставал пачку рукописных листов, протягивал их Гершковичу:

– Не пойдет.

Стоял, ожидая, что скажет Гершкович, а затем сел, поправлял пиджак и добавлял:

– К тому же вы это нам уже приносили.

Гершкович не смутился или не подавал вида, что смущается.

– Разве? – говорил он. – То-то я еще подумал, а не показывал ли я вам уже? Значит, уже показывал.

Вовочка любезно улыбался, глядя на него снизу вверх. В этот момент Гершкович был неприятен Слатину. Старый писатель, старый адвокат, он должен был понять, как к нему относится Вовочка, а он держал в руках пачку старых, пожелтевших листов бумаги, делал вид, что все это, так сказать, в обычном рабочем порядке, и говорил:

– Не пойдет? Странно. – И это «странно» было не возмущенным, а ненатурально отстраненным, раздумчивым. – А кто-то мне говорил, что это неплохая вещь. Но если вы так считаете... – Он медленно направлялся к выходу, но вдруг останавливался – образованный человек, старый адвокат! – и выражение ненатуральности в глазах его усиливалось. – Нет, у меня, конечно, бывают срывы. – Он протягивал «бы-ва-ют сры-вы». – Недавно я послал рассказ знакомому редактору в «Крокодил» – он мне заказывал несколько фельетонов. И что же вы думаете? Он мне этот рассказ вернул с такой надписью: «Не узнаю старого мастера». – Помедлил и двинулся к выходу, сказав «м-да». Будто только сейчас почувствовал грустный смысл этих слов, будто и останавливался, пораженный их печальным смыслом. И все это была неправда, и Слатину она была неприятна. Вовочка не отвечал. Во время всей сцены он любезно улыбался и потихоньку клонил голову набок, будто вслушиваясь и сочувствуя. И только когда Гершкович закрывал дверь, Вовочка переставал улыбаться и возвращался к работе.

Слатина никак нельзя было назвать терпимым человеком. Он был раздражительным борцом за справедливость – так это можно было бы сформулировать. С юношеских лет он был уверен, что логика для всех одна, что образованный человек руководствуется в решениях своей логикой. Одним из самых ошеломляющих открытий было для него то, что логика не действовала на всех одинаково. Больше того, было сколько угодно людей, на которых логика не действовала совершенно. В начальнические качества Вовочки Фисунова, например, входило принципиальное незнание каких-то самоочевиднейших вещей. Он обладал вот этой способностью чего-то не знать и не понимать. И вот как раз в этой сфере, где не спрашивают, не отвечают, где Слатин постоянно попадал впросак, Вовочка ориентировался лучше всего. Приносил, например, кто-нибудь в редакцию сборник университетских философов и предлагал сделать на него рецензию. Вовочка улыбался и разводил руками:

– Не пойдет.

Слатин точно знал, что ни одной философской статьи ни в этом сборнике, ни в каких бы то ни было других Вовочка не читал. В другой раз Вовочка сам приносил Слатину на стол какую-нибудь книжечку и говорил:

– Сделаешь аннотацию строк на шестьдесят. Это интересно.

Вначале Слатин кричал:

– Кому интересно? Тебе интересно? Мне интересно? Ты туда даже не заглядывал!

Он очень быстро понял, что Вовочкино «интересно» к тому, что Вовочке на самом деле интересно, никакого отношения не имеет. Это было газетное «интересно», и Слатин со временем научился сам его произносить. Был тут соблазн приобщенности к той самой сфере, где точно знают, какой философ сегодня «интересно», а какой переместился в опасную зону «неинтересно». В сфере этой часто многое менялось, и люди, не работавшие в газете, не могли за этим поспеть. Когда Слатин был студентом, ему нравились научные поправки к старым аполитичным словам «правда» и «справедливость». Нравились не только научной обоснованностью, но и научным романтизмом. Научный романтизм даже составлял для него главную привлекательность. Слатин собирался перестраивать старый мир, и без этих научно

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru обоснованных, заряженных политической энергией слов в такой работе нельзя было обойтись. Поступив на работу в газету, он был счастлив тем, что попал к самым главным «держателям правды». Но Вовочка ежеминутно на его глазах лишал прекрасные слова «правда» и «справедливость» их научного романтизма. За те 39-40-й годы, которые Слатин работал вместе с Вовочкой, множество газетных тем переместилось из сферы «интересно» в сферу «неинтересно». К обширной сфере «неинтересно» прибавилась еще более обширная «не в компетенции областной газеты». Слатин, конечно, понимал, что не Вовочка виноват в том, что возникает душевная пустота, душевная незагруженность, но, конечно, Вовочка поручал ему, способному решать алгебраические задачи, работу на уровне четырех арифметических действий. Правда, и тут Слатин все поворачивал так, что обвинял самого себя. Дело было в недостаточной интенсивности его чувств, в несовершенстве его собственного воспринимающего аппарата. Решались такие задачи! Он, конечно, восхищался перелетами через Северный полюс, строительством огромных машиностроительных заводов, но не был способен жить этим восхищением каждый день и каждый час. В самом восхищении, в его оттенках, в сопоставлении с новым восхищением находить глубины, необходимые для жизни духа. На собраниях, куда он приходил, настроившись аплодировать и восхищаться, жить единым порывом со всеми, он страдал от косноязычия или глупости докладчиков, считая, что это они, читающие по бумажке, мешали залу соединиться в едином душевном порыве. Хотя большинство, несомненно, хотело соединиться и соединилось.

Конечно, можно было так, как Стульев, не поднимать головы от стола, но Слатин так не хотел и не мог. Иногда ему вдруг приходило в голову, что Стульев, поворачивающий свои способности в любую сторону, даже хуже Вовочки. Из всех принципов у него остался только один: бессмысленно чему-либо сопротивляться. И Слатин приходил все к тому же: надо работать, надо выписываться потому, что даже ясная, грамотная фраза сопротивлялась тому, что в газете происходило каждый день, – переводу «интересных» тем в «неинтересные». В конце концов, были в редакции люди, которые лучше его знали, что нужно делать, которые по должности своей должны были лучше разбираться во всех важных политических вопросах. И первым таким человеком был над ним Вовочка Фисунов. Над Вовочкой стояли Владислав, замредактора, редактор. Они не советовались со Слатиным, а давали ему задание, направляли на завод или в село. Он приезжал, шел в партком, завком, разговаривал с людьми, писал. Очерки его хвалили, люди, о которых писал Слатин, были прекрасными работниками, ударниками, стахановцами. Но чем-то эти очерки самому Слатину не нравились. Была в них какая-то неправда. Он даже сам не мог понять какая.

Хуже было, когда Слатин привозил совсем не тот материал, за которым его посылали. Самое тяжелое столкновение с Вовочкой и редактором было у него, когда он вернулся из поездки в моторно-рыболовецкую станцию. Это была первая в стране МРС, и Слатина посылали за юбилейной статьей. Добираться в станцию Екатерининскую, где была расположена МРС, нужно было двумя речными трамваями. Слатин приехал туда под вечер, а разговаривал с директором МРС Ковалевым ночью, потому что вечером он разговаривать со Слатиным отказался: у него был гость – врач из соседнего городка, они вдвоем играли в карты. Причина, по которой директор МРС отказывался разговаривать с корреспондентом областной газеты, изумила Слатина. Он бы обиделся, но деться ему было некуда, речные трамваи уже не ходили. К тому же, пока он разыскивал домик директора, было еще светло, а теперь стемнело, и он запутался бы на станичных улицах, перерезанных ериками. Дома здесь ставились на сваях или на высоких фундаментах. Весной улицы и фундаменты уходили под воду, следы привычных наводнений были видны на всей станции. Директор МРС был первым человеком, на котором Слатин увидел флотские командирские ботинки, а не резиновые сапоги. Слатин сказал ему, что приехал не от себя самого и потому не уедет, пока не поговорит. Ковалев вынес ему во вторую, не обставленную комнату три толстых бухгалтерских книги:

– Изучишь, тогда поговорим.

Слатин остался один, а Ковалев и его гость продолжали играть в карты. В комнате, где сидел Слатин, был только длинный деревянный стол и длинные деревянные скамейки. Бухгалтерские книги оказались чем-то вроде корабельного журнала. Изюм в день велись записи о состоянии обширной акватории. Направление ветра, уровень воды, уровень паводковых вод, мощность льдов, движение льдов, штормы, ливни, дожди, град. Читать это было интересно: река жила, вздувалась, мелела, сковывалась льдом, увеличивалась и падала скорость течения, менялась температура воды, насыщенность взвешенными частицами, илом, который она несла. В книге

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru назывались суда, которые выходили в реку и в море на лов рыбы: «Плотва», «Дельфин», «Тюлень», «Малек», «Пассат», учитывался улов. Однако разобратся во всем этом в короткое время было нельзя. Ковалев и сам это понимал. Часа через два он позвал Слатина ужинать, забрал книги и больше о них не заговаривал. Ужинали они не у Ковалева, он жил холостяком, а у соседки, председателя рыбколхоза.

– Все говорят, моя любовница, – сказал Слатину Ковалев. – Правду говорят.

Ужин был с водкой. За столом пели песни, на Слатина не обращали внимания. Потом провожали друга Ковалева к затону, где на якорях стояли «Плотва», «Дельфин», «Тюлень», «Малек». Доктора на лодке перевезли на один из кораблей, а Ковалев сказал Слатину:

– Может, и ты уедешь? «Дельфин» тебя вместе с доктором довезет, а там на поезд – и домой. Утром у себя будешь.

Но Слатин остался, и «Дельфин», застучав мотором, выдвинулся из правильного ряда судов и ушел в темноту.

Они вернулись к Ковалеву, и Ковалев опять не позвал Слатина к себе в комнату, где были и стулья, и письменный стол, и кровать, а остался с ним в первой, необжитой. Удивительная это была ночь. Слатин слушал Ковалева, и ему становилось жутковато оттого, что он сидел с этим пожилым человеком в одной комнате. Ковалев спросил, помнит ли Слатин «рыбное дело», по которому было осуждено несколько больших и малых областных начальников?

– Они ко мне за рыбой приезжали, – сказал он. – У нас красная рыба, черная икра.

Это требовало разъяснений. Ковалев молча смотрел на Слатина, ждал, что тот скажет.

– И вы давали им рыбу?

– Начальство!

– Вас судили?

– Я ведь как делал, – сказал Ковалев. – Приезжают ко мне будто с инспекцией. Но я-то вижу, что им надо. Даю им катер, вызываю бухгалтера, иду с ним по улице и говорю: «Съездишь с ними на тоню, пусть увезут по рыбине». Сам никогда не ездил, с бухгалтером на людях не разговаривал. На следствии он сказал, что действовал по моим указаниям. Следователь молодой, вроде тебя, упрашивал меня сознаться: «Стыдно! Бухгалтер же на вас показывает!» – Ковалев засмеялся. – Ну прямо просил. А я бухгалтеру на очной ставке сказал: «Не ладили мы с тобой на работе, ты и льешь на меня». И с начальством этим областным очную ставку мне делали. Они вспомнили о своих партийных билетах, каются начали. Один молодой, вроде тебя, на очной ставке у следователя стал мне выговаривать: «Дмитрий Николаевич, надо признать свою вину перед партией». Мол, он уже все понял, а я еще не осознал. Я ему и сказал: «Ах ты, хапуга! Я революцию делал, а ты ко мне за красной рыбой ездил, водку пил под черную икру! Рыбаков не стеснялся! А теперь политграмоте учишь, призываешь разоружиться перед партией! Хапуга ты и есть хапуга!»

Ковалев, не мигая, смотрел на Слатина.

– Вот ты хочешь спросить, почему я не боюсь тебе это рассказывать? А чего мне тебя бояться? Свидетелей нет. Вообще почему я с тобой говорю? Не очень-то я на твою помощь рассчитываю, а так, вдруг... Сам я уже столько раз писал в Москву, говорил где только можно. Я зачем давал тебе книги? Сколько колхозов обслуживает МРС? Семь. Население в этих колхозах шесть тысяч человек. А мне нужно пятьсот. Ну хорошо – тысяче человек я могу работу дать. А остальные? Даже пятьсот человек мне много. Сети у меня теперь новые, суда. Раньше на дубах в море выходили, десять дней до места добирались. В шторм сети теряли. Теперь мы можем взять всю рыбу, лишь бы она пришла. А здесь живут потомственные рыбаки. Ты на катере к нам ехал, видел: чем ниже по реке, тем хаты в хуторах лучше. А лес и все строительные материалы привозные. Откуда богатство? Рыба! Вот ты и посчитай: из пяти-шести тысяч на работе числятся семьсот человек, еще двести-триста сторожами в магазинах, на почте, матросами на причалах – лишь бы при месте. А живут рыбой.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru Браконьерствуют. Не хотят уходить из родных мест, а полеводческой работы здесь нет – море земли заливаает, очень они низкие. Поиграет низовка дня три, вода и приходит. К тому же рыба – деньги. Сколько в городе на базаре пара рыбцов стоит? Вот и не боятся ничего. Да и нечего особенно бояться. Рыбнадзор слабый, катер маломощный, браконьеры от него на веслах по мелководью уходят. Мы собрали активистов в колхозах и решили своей властью с браконьерами бороться. Не на тоне их ловить, а в городе. Два раза на городской пристани и на базаре рыбу отнимали – всех же в лицо знаем. А на третий милиция нас на базар не пустила. На базаре спекулянт у милиции под защитой. На базар прошел – ничего не бойся. Нас же еще в партизанщине обвинили. Говорят, ловите на месте преступления. А как его на месте преступления поймаешь? Вот мы мобилизуем иногда весь актив: коммунистов, комсомольцев, выезжаем в заповедники, а браконьеры знают, куда мы едем... Недавно я одного знакомого подстрелил, мерином сделал, свадьбу ему расстроил. Он увидел, что я на моторке еду, и в воду пошел сети выбирать. Я кричу, а он и не торопится! Правильно рассчитал, пока подъеду, он сети свернет, никаких доказательств мне не оставит. У меня мелкокалиберная винтовка была, я на него винтовкой, а он не верит, что выстрелю, дело свое делает... Теперь в суд на меня подал. Ну да прокурор член райкома и я член райкома.

– Вы его поугаать хотели? – спросил Слатин. – Случайно попали?

– Такого напугаешь! – сказал Ковалев. – Но то, что я тебе рассказал, только часть дела. Вторая часть – разница между государственными закупочными ценами и рыночными. Разве удержишь людей от воровства? Мы с активом однажды решили посмотреть, что там делается в сараях хуторян. Обыск произвести. Я и говорю секретарю парторганизации: «Давай с тебя начнем». Пришли к нему, а у него на чердаке тридцать пар рыбцов. И получается, что город рыбой снабжают спекулянты и браконьеры, а мы бы сами могли базар рыбой завалить. Да нам не разрешают...

Так и шла эта ночь. Юбилейная статья, в которой МРС надо было сравнить с МТС, погибла. Слатин не задал Ковалеву ни одного запланированного вопроса. Потом Ковалев сказал:

– Кровать у меня одна, стелить тебе нечего, устраивайся как можешь, а я пойду посплю.

Улечь на узкой лавке было невозможно. Слатин навалился грудью на стол. Дрему его прервали какие-то люди в стеганках. К ним из своей комнаты вышел в нижнем белье, в шинели, наброшенной на плечи, Ковалев. Он заглянул в плетеную корзину, которую принесли люди в стеганках. При свете керосиновой лампы Слатин увидел черное лоснящееся соминое тело. Сомы спустили в подпол, Ковалев вернулся к себе, и Слатин еще пытался подремать, и сон у него был какой-то твердый, деревянный и холодный, как стол, который давил ему грудь. Утром в комнату с этим столом и деревянными лавками стали приходиться рослые обветренные мужики в стеганках. Они садились за стол и каждый ставил поллитровку. Это были председатели рыбколхозов. Закуску они тоже доставали из карманов – вяленую рыбу и хлеб. Ковалев вышел к ним не сразу, ему тоже налили водки в стакан, он сказал, что плохо себя чувствует, но водку выпил. Слатин догадался – это была утренняя планерка. Председатели ушли, а Ковалев еще некоторое время приводил себя в порядок и вышел на улицу в черных флотских брюках, в черной морской шинели с якорями на медных пуговицах, в морской высокой фуражке с крабом. Он горбился и, несмотря на то что погода была теплой, надел шелковое белое кашне. Слатин шел за ним. Ночной разговор вновь не завязывался, и Слатин, вспомнив ночного сома, спросил Ковалева, не надоедает ли ему рыбное меню.

– Я знаю четыреста способов приготовления рыбы, – ответил Ковалев.

Дом Ковалева стоял во дворе двухэтажной конторы МРС. Так что получалось из двери в дверь. Ковалев медленно поднимался по деревянной лестнице, отвечая на приветствия мужчин, поджидавших его. Эти крепкие люди стояли в вольных позах, курили и, заметив Ковалева, подтягивались вовсе не в такой степени, как ожидал Слатин. Только один парень лет двадцати пяти, сильно покраснев, шагнул вперед, дотронулся пальцем до рукава директорской шинели:

– У вас рукав в мелу, – и сделал такое движение, будто собирался почистить.

Ковалев отстранился, несколько мгновений смотрел на парня.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru

– Так ты и не вспомнил, как это получилось, что Федорчук получал деньги по твоей доверенности?

В глазах у парня появилась какая-то пьяная муть, он стал что-то объяснять Ковалеву, но тот не слушал:

– Ну подумай, подумай еще, – сказал он, проходя. В директорский кабинет вместе с Ковалевым и Слатиным вошло сразу несколько человек, и один из них спросил:

– Будем дело передавать в суд?

И Ковалев ответил словами, которые тогда были очень необычны и сразу запомнились Слатину:

– Суд и милицию сюда пускать нельзя. Нам надо такого человека, который сам на этом деле помучился. А в суде да в милиции могут кровь без толку пустить.

Потом Ковалеву передали телефонограмму и два билета в кино. Телефонограмма вызывала его на сессию райисполкома, билеты принесли из клуба – там сегодня лекция и кино. Слатин слушал и запоминал. Запомнил он и то, что Ковалев в своем директорском кабинете не раздевался, даже фуражку не снял, только пальто расстегнул, словно не собирался долго здесь задерживаться. И то, что за директорским столом кто-то сидел и не торопился уступать место Ковалеву – знал, что он не сядет. Запомнил Слатин и некрашенные полы, и пыльные знамена в углу. «Переходящие», – догадался он. Слатин делал свою работу. Он понимал, что у него слишком мало времени, чтобы разобраться во всем, но боялся пропустить какую-то деталь, какой-то разговор, который лучше объяснил бы ему Ковалева.

– Ты же учишься на плановом отделении судомеханического техникума, ты же сама просилась в контору, – говорил он девушке, которая просила его перевести ее на работу в клуб.

– Я же комсорг, – говорила она, – мне нужна такая работа, где к людям поближе. Хоть бы еще годик без бумаг.

– Нет, тут что-то не так, я тебе ничего не обещаю. Ты подумай сначала. И я тоже подумаю. И потом я еще не знаю, ближе ли к людям в клубе...

А на свою секретаршу, женщину незаметную и медлительную, он накричал:

– Я вас отстраню от работы. Вы не ребенок, я вам десять раз уже говорил: содержание бумаг, которые вам приходится читать, не должно быть известно никому, кроме меня.

– Дмитрий Николаевич...

– Молчите, – пристукнул он кулаком по столу, – молчите и слушайте!

Обедать Слатина он опять повел в тот самый дом, где они вчера ужинали.

– После «рыбного дела», – сказал он, – меня во всем обвиняли. Бытовое разложение приписывали. Любовницу, мол, себе завел. Можно было бы нам с ней зарегистрироваться. А зачем? Я пожилой, у нее взрослые дети. Так и живем.

И опять был обед с водкой.

Ковалева находили и здесь. Видно, его и не ждали в конторе. Бухгалтер принес на подпись бумаги, приходил ответственный за ночное дежурство в заповеднике, пришел капитан катера, выделенного колхозникам для поездки в город.

– Мы готовы, – сказал капитан. – С вашего разрешения будем отходить.

– Будешь идти мимо Клавдии, – сказал ему Ковалев, – предложи, может, она поедет.

– Так она знает, Дмитрий Николаевич.

– Ничего, ты зайди еще раз, скажи, от моего имени. Я сегодня погорячился, отругал ее, а за дело ли, сам точно не знаю.

И Слатин догадался, что Клавдия – это секретарша Ковалева.

А Слатину Ковалев сказал:

– Все-таки настоящий разговор у нас получится только после того, как ты по-настоящему ознакомишься с нашими отчетами. Возьми обзорные отчеты, начиная с года тридцать пятого. Почитай, а я отдохну.

..Иногда Слатину приходило в голову, что Вовочка очень смелый человек. Не печатал он не только Гершковича, но и руководителя областного отделения писательского союза, человека со звучной двойной фамилией Волович-Соколенко. У Воловича была та мужественная форма черепа, при которой и облысевшая голова кажется обритой. Больной, с подрагивающей челюстью, часто лежащий в больницу, он поражал Слатина своими манерами. Сидя на стуле, покуривая, он посмеивался и пошучивал, а выйдя на трибуну, сразу же начинал с самых верхних нот ненависти, разоблачения и осуждения. Ни одного слова в обычной, нормальной интонации. Как будто полутон он и не знает. Осуждал он и московских уже разоблаченных писателей, и своих местных.

Лысый мужественный череп наклонен вперед, правая рука, болезненно подрагивая, рубит воздух, но не опускается на кафедру – движение закруглено, рука останавливается в нескольких миллиметрах от кафедры. Когда-то, может быть, и стучал, но с тех пор научился выступать, отшлифовал жесты.

Не печатал Вовочка и самого способного и медлительного местного писателя Устименко. Этот и на кафедре и не на кафедре говорил голосом монотонным, наставническим, и голубые глаза его так при этом выцветали, что к концу третьей фразы становились совсем прозрачными и бесцветными. В том, что он говорил, было много прописей, и он сам чувствовал, что периоды его длинны, рассудочны и не могут заечь собеседника. И он раздражался: да, прописи, да, скучные! Но их надо повторять. Надо! Он не был пустым человеком. Напротив, это был человек определенный, устойчивый. Представитель эпохи, один из лучших ее представителей. Очень прямолинейный и не гибкий. И то, что он говорил, говорила его эпоха.

Не то чтобы Вовочка совсем не печатал то, что эти писатели могли принести в газету. Но он всячески тянул и сопротивлялся. Как будто чувствовал в этих людях угасающую политическую энергию. Но писатели вообще не интересовали газету. Даже те, которым Вовочка иногда звонил домой. Рассказ или глава из нового романа планировались в воскресный номер, но потом и эта норма была сокращена – в самом писательстве было для газеты что-то несерьезное. Редактор говорил на планерках, что писателей нужно учить работать в газете.

Прочитав материал об МРС, Вовочка два дня ходил мимо Слатина с поджатыми губами. Материал лежал у редактора. Слатин видел, как Вовочка туда его отнес.

На третий день редактор сам заглянул в отдел:

– Владимир Акимович, зайди.

Вовочка прошел мимо Слатина. Вернулся он преображенным. Не походка – танцевальные па, означающие любезность и благорасположение.

– Иди, – игриво сказал он Слатину, – зовет.

В кабинете Слатину пришлось долго ждать. Редактор правил полосы и не поднял головы, когда Слатин вошел. Потом он диктовал поправки к передовой статье по телефону. Глаза его останавливались на Слатине, но видел он не Слатина, а того, с кем говорил по телефону. Руки редактора были перебинтованы широким бинтом, пальцы, выступавшие из-под бинта, шелушились. Редактор, словно надорвался, стал часто болеть, в редакцию приезжал с перевязанными руками – у него обнаружилось какое-то нервное заболевание кожи. Однажды Слатин увидел его сидящим на стуле вахтера.

– Отдыхаете? – поздоровался Слатин и вдруг поразился: это же он от автомобиля перешел через тротуар!

Теперь на планерках Владислав не так быстро реагировал, когда Петр Яковлевич его

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru переспрашивал. А однажды и совсем не ответил. И ничего не произошло, все разошлись, оставив редактора в кабинете. Потом Владислав опять четко отвечал на вопросы Петра Яковлевича, бегал к нему в кабинет с развевающейся полосой в руках, но уже нельзя было забыть, как однажды самый осведомленный в редакции человек обошелся с редактором.

В телефонном разговоре возник перерыв, редактор плечом прижал трубку к уху, придвинул забинтованными руками полосы, в глазах его было ожидание, но относилось оно опять-таки не к Слатину, а к тому, с кем редактор говорил по телефону. Прижимать трубку к уху плечом было неудобно, и в этом неудобном положении редактор, наконец, заметил Слатина. В глазах его появилось какое-то выражение.

– Возьми! – показал он глазами на стопку машинописных материалов. Стопка эта всегда лежала на одном и том же месте, по левую от редактора руку. И каждый журналист, входивший сюда, тотчас же на нее смотрел. И Слатин давно уже увидел свой материал об МРС. Он лежал сверху, и в его газетном паспорте не было ни Вовочкиной подписи, ни подписи Владислава, ни подписи редактора. Слатин взял свои странички и вопросительно глянул на редактора. Но тот уже не видел Слатина – слушал, что ему говорят по телефону.

– Поговорили? – встретил Вовочка Слатина любезной улыбкой. – Что же он тебе посоветовал?

– Посоветовал послать в другое место, – сказал Слатин.

– В другое? – И Владимир Акимович неподражаемым – в одно и то же время светским и балетным – жестом развел свободные, расслабленные кисти от плечей в стороны. Руки его раскрыли нечто очень приятное, какой-то забавный вопрос, ему соответствовала любезная, чуть-чуть наивная улыбка, голова склонилась набок. – Просто надо умерить свой темперамент и обрести чувство меры.

И пока он произносил эти несколько слов, лицо его стремительно менялось. Руки закрылись, улыбка соскользнула, «чувство» – назидательно, «меры» – угрожающе. Но поставив точку и выдержав небольшую паузу, Владимир Акимович опять кокетливо улыбнулся, как будто раскланиваясь и приглашая Слатина еще раз полюбоваться на то, что он сказал и сделал. Как будто приглашая Слатина еще раз прислушаться к этим словам: «чувство» и «меры».

Никогда еще он не разговаривал со Слатиным так угрожающе.

– В другом месте, – сказал Вовочка, – такие же упрямые люди сидят.

Стульев поднимал голову от работы только для того, чтобы выпустить табачный дым, – он, как всегда, курил, не вынимая папиросы изо рта. Он где-то достал толстое настольное стекло – ни у Слатина, ни даже у Вовочки такого не было, – под стеклом у него скапливались и время от времени менялись фотографии и рисунки. Рисовал он сам чернильным пером, а фотографии ему дарили. И еще одно новшество ввел Родион Алексеевич. Как-то он принес в кабинет театральную афишу и приколот ее кнопками к стене напротив своего стола. Вовочка долго косился на эту афишу, но потом как будто смирился. Афишу сменил киноплакат. Афиши и киноплакаты Стульев выбирал из тех, которые в редакцию приносили театральные администраторы и работники кинопроката. И теперь он иногда, отрываясь от работы, откидываясь на спинку стула, засовывая руки в брючные карманы и несколько минут смотрел на афишу. Потом что-то рисовал той же самой ученической ручкой, которой правил газетные материалы. Рисунки выбрасывал в корзину. И только некоторые укладывал под стекло.

Все эти годы Родион Алексеевич пытался освободиться от Вовочкиной власти. Когда Вовочка ушел в отпуск, Стульев и Слатин дали в два раза больше материалов, чем при Вовочке. Папка готовых материалов пухла, и редактору это нравилось. «Мы должны делать полтора номера в сутки» – был один из главных его производственных принципов. Это означало, что треть материалов, запланированных, набранных, с которыми у журналистов связывались свои надежды, каждый день летела в корзину. «Невидимые миру слезы». Зато у редактора был выбор. Когда Вовочка вернулся из отпуска, его ждал страшный удар – редактор выделил Стульева в отдельный «сектор». Родион Алексеевич перебрался в каморку, в которой до этого фотокорреспонденты сушили под вентилятором свои фотографии.

Вовочка страшно страдал и очень настойчиво добивался возвращения Стульева в отдел.

Родиона Алексевича переводили в секретариат, возвращали в каморку, Вовочка и Слатин несколько месяцев работали вдвоем. Потом Стульева опять направили в отдел, он сел за свой стол, но теперь это был человек, который недавно работал самостоятельно и которого в любой момент могут направить работать самостоятельно. Вовочка мог сколько угодно разговаривать со Слатиным, Стульев ничего не слышал.

Однако Вовочка говорил и для Родиона Алексеевича.

* * *

В ночь с субботы на воскресенье 22 июня 1941 года к Слатину позвонил Курочкин. С вечера у Слатиных долго задержался Сурен Григорьян, в комнате было жарко, спали тяжело, и звонок прозвучал в этом тяжелом сне. К дверям вышла мать, она вернулась и сказала:

– Это Курочкин. Никуда не ходи, скажи, что не можешь, что у тебя аппендицит.

Слатин, не зажигая света, прошел по темному коридору, открыл дверь и увидел Курочкина. На лестничной площадке горела лампочка. Курочкин стоял, прислонившись спиной к перилам. На нем была белая рубашка, отглаженный костюм. И все это было тревожно и необычно, потому что он был так тщательно одет, а было два часа ночи, и свет на лестничной площадке был ночным, безлюдным, сторожевым.

– Миша, – сказал Курочкин, – мне нужна твоя помощь. Оденься и скажи своим, что у меня не открывается дверь и я прошу тебя помочь.

Почему-то не задавая вопросов, Слатин пошел одеваться. Он затягивал шнурки на туфлях, наклоняться ему было тяжело, он чувствовал свою взрослость, свою громоздкость, и эту душную комнатную темноту со вздохами матери, с шорохами, с привычным расположением световых пятен от уличных электрических фонарей и понимал, что ввязывается в историю, в которую ему ввязываться не следует.

На улице оказалось не так темно, как это представлялось из комнаты. Асфальт был сероватым, пустые тротуары выглядели широкими, и полоски трамвайных рельсов блестели.

– Миша, – сказал Курочкин, – тебе нужна эмоциональная встряска.

Они уже прошли квартала два, а Курочкин не торопился объяснять Слатину, куда он его ведет.

– Так в чем же все-таки дело? – спросил Слатин.

Дело, как он и предполагал, было глупейшим. Курочкин с его необычным женюлюбием уже много раз попадал в такие истории. Его заставляли с женщинами мужья и женихи этих женщин, он вылазил в окна, спускался по пожарным лестницам или вступал в объяснения с разъяренными и оскорбленными мужчинами. И на этот раз он засиделся у девчонки, родители которой уехали к родственникам на субботу и воскресенье. Жених этой девчонки тоже был в командировке, но он вернулся ночным поездом и сразу же направился к невесте. Девчонка перепугалась – жених был человеком очень сильным и неуравновешенным. Вначале он просто стучал, потом стал грохотать и, наконец, ломиться. Не замечать этого грохота уже было нельзя, и Курочкин сказал девчонке, чтобы она попыталась спровадить парня. Девчонка попробовала. «Ночью я тебя не пушу, – говорила она. – Ты пьяный. Я не хочу тебя видеть. Ты хулиган». Но все это только разъярило парня. Он притащил со двора какую-то железку и попытался взломать дверь. Девчонка закричала: «Караул!» Она кричала на все многоквартирное парадное, но ни одна дверь не приоткрылась. Тогда Курочкин посоветовал ей:

– Обмани его. Возьми на пушку.

Девчонка сказала:

– Мне говорили, как ты ведешь себя в командировках! Я тебя не пушу!

И парень, только что пытавшийся взломать дверь, уже заподозривший, что девчонка не одна, вдруг затих. Стал требовать:

– Кто говорил? Я его сейчас приведу!

Девчонка назвала какое-то имя, и жених убежал. Курочкин предложил:

– Пойдем ко мне.

– Он же вернется и сломает дверь.

– Ну и сломает, – сказал Курочкин. – Скажешь: испугалась, убежала. Квартира пустая, он ничего не докажет.

Девчонка стала собираться, а Курочкин сбежал по лестнице во двор. И тут столкнулся с женихом, который вел какого-то парня. Они оглядели Курочкина, но он выдержал их взгляды и ушел. Так что девчонка осталась одна с этими ребятами. И судя по всему, там должно произойти что-то недоброе.

– Ты понимаешь, – сказал Курочкин Слатину, – я боюсь, что он ее убьет.

– Ну уж убьет, – сказал Слатин. Они шли по черному проспекту, и он был абсолютно пуст. Окна в домах черны, асфальт все так же подсвечивал серым, как будто в тумане или в росе. Все было нелепым в этой истории. И энергия Курочкина, переходившего от одной девчонки к другой, которого не то что остановить – сдержать ничто не могло. И решительность жениха, который, несмотря на свою хулиганскую напористость, оказался наивнее и Курочкина и даже собственной невесты. Но самое досадное – сама девчонка. Поджарый Курочкин в своем новом костюме и модных лаковых туфлях пришел к ней на несколько часов и выкрутился, благополучно ушел; парень-хулиган, которого она боится и все-таки держит возле себя женихом, запугивает ее. Вот она и расплачивается сейчас за все. И некому ее защитить по-настоящему.

Курочкин сказал:

– А что, в такую минуту может и убить. Я бы за себя, например, поручиться не смог. Ревность, оскорбленная ревность – тут что хочешь может произойти.

– Откуда у тебя ревность? – сказал Слатин, – Ревновать может тот, у кого одна на всю жизнь. Ты же их все время меняешь.

– Нет, Миша, ты все неправильно понимаешь.

– Ты что же, влюбляешься каждый раз? – грубо спросил Слатин.

– Влюбляюсь, – сказал Курочкин. – Ты этого не понимаешь. Просто у тебя ни разу не было такой, чтобы ты ходил за ней по всему городу, под окнами стоял бы. Настоящей девчонки у тебя не было.

– Когда я был мальчишкой, – сказал Слатин, – я ухаживал за девчонками.

– Нет, ты не понимаешь. Тогда было одно, а сейчас другое.

– Ну о чем бы я сейчас говорил с молодой девчонкой? – сказал Слатин, и Курочкин ему не ответил.

И Слатин подумал, что оба они друг друга немного презирают. Слатин Курочкина за то, что тот не любит работать, плохо пишет, за то, что много лет сохраняет себя на каком-то мальчишеском уровне, а Курочкин Слатина за то, что он спит вот такими ночами и ничего не понимает в жизни. За то, что он, Курочкин, сильнее Слатина. В такие минуты и самому Слатину казалось, что Курочкин сильнее, что работа – это просто укрытие, в которое Слатин прячется от настоящей жизни. А настоящая жизнь там, куда ведет его сейчас Курочкин.

Они пришли к центру. Прошли мимо окружного армейского штаба, мимо здания горкома и горисполкома и вошли в тень боковой улицы. Курочкин держался ближе к дороге – отсюда ему что-то было виднее.

– Вот это окно, – показал он Слатину.

Окно было таким же, как и все окна большого четырехэтажного дома, но теперь темнота его завораживала.

Свет в парадном был такой же, как в парадном Слатина: безлюдный, тревожный, сторожевой. На втором этаже Курочкин постучал вначале осторожно, а потом все громче и громче.

– Люди сбегутся, – сказал Слатин.

– Тот парень целый час грохотал, – сказал Курочкин презрительно, – никто не выглянул.

За дверь было тихо.

– Увел с собой или убил, – сказал Курочкин. – Что делать?

– А я думаю, – сказал Слатин, – все проще. Надоели вы ей. И ты и жених. Сами выпутываетесь, а ей расхлебывать. Она и не отвечает.

– Ты думаешь? – сказал Курочкин и усмехнулся.

– Ну позвони в милицию. Если опасешься всерьез, надо звать милицию. Мы же не можем взломать дверь. Нас как грабителей заберут.

Милиция, конечно, отпадала. Милиция – это скандал, который невозможно скрыть. Они постучали еще. Курочкин стучал кулаком, стучал условным стуком – за дверь молчали.

Они вышли на улицу, покричали под окном. За черным стеклом молчали, и они двинулись домой. Решили ждать утра. Они шли по тому же длинному проспекту, и Курочкин говорил:

– Что я могу поделывать, Миша, любят меня женщины. Любят! Нет такой, которая могла бы передо мной устоять. Я не хвастаюсь – говорю то, что есть. В лагере было два разговора: кто что на воле ел и у кого какая баба была. Ни разу я не был среди тех, кто говорил о жратве, – всегда там, где говорили о женщинах. Я вот смотрю, ты пишешь вечерами, ночами сидишь, а я не могу, хотя мне есть что сказать. Не могу, когда рядом столько женщин ходит! Честно говоря, мне не очень нравится то, что ты пишешь. Ты не обижайся. В редакции есть люди, которые говорят, что у тебя получается, что ты стилист, а я этого не нахожу. Если бы я сидел за столом столько, сколько ты... Но у меня нет времени, Миша, не хватает. – Курочкин засмеялся. – Сколько девок – один я! Но я тебе дам дружеский совет – ты сам видишь, меня что-то к тебе привязывает, – не прислушивайся ты к тем, кто тебя хвалит. Я присматриваюсь к тебе – ничего особенного, обыкновенный ты парень. Неглупый. Но талант – это не то. Ты и сам понимаешь. Ты вот ругаешь городских писателей, а по-моему, среди них есть ничего. Люди книги написали. А тебя в натурализм тянет. Это в твоём очерке о полярниках я прочел, как трудно в пургу и мороз умываться и совершать туалет, – не помню, как это у тебя выражено. Я бы это ни за что не пропустил. Не знаю, как редактор просмотрел. Но это же голый натурализм! Что касается славы, то ты сам знаешь, как слава создается. Особенно такая, провинциальная слава! Кто-то сказал, кто-то поддакнул. Да и кто говорит – люди! А ты знаешь, какие у нас в редакции люди.

С тех пор как Курочкин сделался заведующим отдела, он перестал играть со Слатиным в пинг-понг, а стены своего кабинета, с легкой руки Стульева, оклеил афишами и киноплакатами.

– Переходи ко мне в отдел, – сказал Курочкин. – Ты не представляешь, каким авторитетом у редактора я сейчас пользуюсь.

Дома Слатин сказал матери, вышедшей его встречать:

– Замок у него сломался, никак не могли открыть.

Он лег, но не сразу заснул, а рано утром пришел Сурен, и они делали полочку для

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
вешалки, а потом пошли по городу.

Выступления Молотова по радио они не слышали, и только на главной улице им сказали о войне. У газетных киосков собирались люди, но утренние газеты уже прошли, в них ничего не было – Слатин это прекрасно знал. Над Вовочкиным столом на специальные крючки накалывались полосы, которые курьер приносил утром и в обед для вычитки. На первой полосе сегодня шла передовая «Командир запаса». Тут же были информации о закрытии итальянских консульств в США и о том, что Дамаск занят английскими войсками. Основные сообщения о войне регулярно печатались на четвертой странице под обширным заголовком «Война в Европе, Африке и Азии». В заголовке этом иногда выпадала Африка или Азия, но в общем он не менялся уже много месяцев, сделался привычным, как сделался привычным тон сообщений, печатавшихся под этим заголовком. Первый абзац – «сообщается в сводке германского командования». Второй – «согласно коммюнике английского командования». В субботу, например, на англо-германском фронте была некоторая активность авиации. Немцы, по сообщению германского командования, бомбили портовые сооружения Грейт-Ярмута, а также аэродромы в Южной Англии, а английские бомбардировщики, «согласно коммюнике английского командования», совершили налет на доки в Гавре и промышленные объекты в Кельне и Дюссельдорфе. В сообщении на воскресенье все повторилось. Только, «по сообщению германского командования», на англо-германском фронте была «значительная активность авиации», а по сообщению агентства Рейтер, английская авиация совершила непродолжительный, но ожесточенный налет на французское побережье, оккупированное Германией. Еще было сообщение о том, что продвижение английских частей вдоль дороги из Сайды на Бейрут задерживается вследствие сильного сопротивления французских войск. Оставив Сурена, Слатин побежал в редакцию. Вовочка уже был в отделе.

– Что будем делать? – спросил Слатин.

– Пока ждем, – сказал Вовочка. – Редактор в обкоме. Почитай газету.

У Слатина на столе лежал свежий номер газеты. С первой полосы улыбалась Зоя Федорова. В подписи под фотографией было сказано, что вчера в наш город прибыла лауреат Государственной премии артистка Зоя Федорова, снимавшаяся в фильме «Подруги». Слатин отложил газету в сторону, потом спрятал ее в ящик стола. Он подумал, что этот номер нужно сохранить – исторический номер. Но он еще не знал, не мог знать, не мог даже предчувствовать, какое значение в жизни страны, в жизни близких ему людей и в его собственной жизни будет иметь этот день...

ГЛАВА ПЯТАЯ

В то самое время, когда Валентина собиралась домой, Женя ехал на завод.

Ехать на завод надо было минут пятьдесят через весь старый и новый город – Женя несколько раз хронометрировал. Вначале трамвай шел бульжной Гоголевской, и хоть тут он начал ходить не так давно, лет через десять после революции, улица эта казалась искони трамвайной. Потом сворачивал в узкие переулки бывшей окраины, на поворотах наезжал – места для рельсового поворота не хватало – на заборы, царапался о ветки акаций, объезжал пустырь, который уже несколько лет превращали – никак не могли превратить в стадион, подбирал редких пассажиров на остановках, названий которых никто не мог запомнить, и вдруг, поднырнув низким узким туннелем под железнодорожную насыпь, оказывался на асфальтовой улице типа «новый быт». Дальше шли остановки с названиями, сразу осевшими в памяти: «Универмаг», «Школа», «Стадион», «Заводская».

По этой улице мимо трех-, четырехэтажных домов шел троллейбус, и улица казалась искони троллейбусной. На трамвай здесь и садиться было как-то неприятно – таким он тут выглядел старым, жестким, жарким и дребезжащим.

Пятьдесят трамвайных минут Жене всегда казались потерянными. Троллейбусом до завода – Женя хронометрировал – можно добраться быстрее, минут за тридцать. Но трамвайная остановка была рядом, а до троллейбусной надо было идти три квартала. Кроме того, Женя вообще не любил ездить. Лет шесть назад, еще до женитьбы, у него был принцип – никогда не ездить. В любую погоду и зимой и летом на работу и с работы он бежал «на выдержку» вдоль трамвайной линии. Получалось час двадцать – час десять – почти столько же, сколько на трамвае. И время не пропадало: ежедневная тренировка на марафонской дистанции, закалка организма – Женя очень серьезно относился к спорту.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Интересно, что никто на заводе не считал Женю чудачком. Что-то спортивно-серьезное было уже в самой его одежде: зимой – пригнанный, даже будто притертый к его фигуре лыжный костюм, летом – синее гимнастическое трико на резинках. И бегал он по-настоящему легко, не на пресловутом втором дыхании. Осенью и весной не забрызгивался до колен, летом не помирал от жары. И никому свой способ передвижения не навязывал. А если кто-нибудь восхищался его выносливостью, Женя пожимал плечами: «Тетки-молочницы за двенадцать километров на рынок к шести утра поспевают, а у каждой по два ведра на коромысле». Женя не на теток равнялся, у него была своя теория, но однажды он от кого-то так отмахнулся.

И специалист Женя был первоклассный – модельщик по литью, слесарь-инструментальщик. Его давно прочили в мастера, но он отбивался. Дураком был бы он, если бы с такими специальностями в руках перешел на зарплату мастера! Хотя для самого жени (он над этим не очень задумывался) не это было решающим.

Но, пожалуй, дело было не только в специальностях Жени, не в его спортивных плечах. Время, что ли, было такое. Сейчас, через двадцать лет после войны, и завод разросся, и спортсменов на нем в десять раз больше, но тогда, до войны, каждый Женин сверстник в глубине души считал, что и он, как Женя, должен бегать за трамваем. Во всяком случае, в этом видели что-то новое. Передовое. Страна строилась, изменялась. Перемены, строительство были поэзией революции. Мир, темный до семнадцатого года, до всеобщего, открывался заново. Он открывался и на уровне всеобщего обязательного семилетнего обучения, и на том уровне, где наука переходит в научную фантастику. Казалось, все можно построить и перестроить: и завод, и собственный организм, и вообще человеческое общество. Нужны только вера и серьезность. А веры и серьезности Жене было не занимать. Он все делал серьезно. В армии был прекрасным артиллеристом, отличным вычислителем – на стрельбах удивил инспекторов необычным умением положить в цель первый же снаряд. Ему привинтили на петлицы треугольники сержанта – это продлевало службу на несколько месяцев, уговаривали поступить в командирскую школу – он отказался. В артиллерии было много такого, что интересовало его: моторы, машины – техника вообще, математические задачи, головоломки, решать которые он любил. И соответственно этой технике, с которой не так-то просто обращаться, обращение с людьми. Почти такое же, к какому он привык на заводе. Ему даже расстегнутый воротничок прощали. И все же он не захотел остаться.

Правда, придя из армии, он не вернулся в свой цех. Из инструментального перешел в литейный. А мог бы вообще не возвращаться на завод. И резон был – далеко. Не век же ему бегать через город за трамваем. Не мальчик уже. С его способностями можно отыскать работу поближе к дому и позаранее. Обычно мать не решалась ему советовать, а тут его три года не было, и у нее накопилось. Она робко кивала на соседского парня, старого Жениного приятеля. У него редчайшая, а по тем временам уникальная специальность – наладчик рентгеновских аппаратов. Во всех больницах врачи с ним на «вы», парню двадцать четыре года, а он – Николай Алексеевич. И в армии не служил – специалист незаменимый. И заработки – как у незаменимого специалиста. Теперь он сам предлагает Жене компаньонство – не справляется один. Раньше аппараты были только в тубдиспансере, в областной поликлинике, еще в двух-трех больницах, а теперь их устанавливают всюду, и Николай боится потерять монополию. Женя несколько раз помогал ему. Рентгеновские аппараты радовали его своей сложностью, близостью, что ли, к миру научной фантастики. Женя считал, что все по-настоящему важные проблемы и сегодня и завтра будут решаться техникой. Совсем недавно, например, у города был отстало-трамвайный, бульжный вид, а теперь троллейбусы, автомобили и асфальт изменили его, хотя центр города почти не перестраивался. Но, освоившись с новыми схемами, побывав в затемненных шторами аппаратных тубдиспансера, областной больницы, Женя быстро охладел. Его тянуло на завод. Во-первых, там много знакомых. Идешь от проходной, и каждый тебе говорит: «Здорово, Женя!» Во-вторых, завод не только самый большой в городе, но и один из крупнейших в стране. Свой стадион, своя водная станция, свой Дворец культуры. И наконец, рядом с заводом и при заводе институт с вечерним и заочным отделениями. Нет, Женя не учился в институте. Ему еще и так было интересно жить. Но все же ему приятно было думать, что и он когда-нибудь поступит в институт. Если захочет, конечно. С этим институтом у Жени были семейные неприятности. Когда он вернулся из армии, мать – три года собиралась – предложила:

– Мы с Ефимом подумали и решили, что ты можешь поступить в институт.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Ефим – это отец. Но отцом его в семье почти никогда не называли. Маленький, нахохлившийся, похожий на ссохшегося, постаревшего Женю, Ефим молча сидел тут же. Это означало, что он не вмешивается. Он вообще не вмешивался. Это была его старая, угрожающая, томящая всех позиция – молчать, не вмешиваться и осуждать. Сейчас он даже не смотрел на жену и сына, и материно «мы с Ефимом подумали» можно было понимать как угодно. Как женскую глупость, например. Как Ефимову снисходительность. Мало ли он терпел женских глупостей! Сейчас этот глупый разговор, затеянный глупой женщиной, закончится, и Ефим уйдет в свою комнату. Так Ефим молчал для матери. И она сбивалась, бледнела, не успев произнести ни одного слова. Для Жени Ефим молчал по-другому, даже с некоторым оттенком извинения: «Не я затеял эту канитель, ты взрослый, я тебе не указ. И вообще, подумаешь: институт – не институт!» Так у Жени с Ефимом было всегда. Когда Женя был маленьким, Ефим говорил ему: «Не маленький, думай сам!» Это была суровость, сквозь которую Женя вначале не мог пробиться, а потом и не стал пробиваться. Он только жалел мать, теряющуюся под этим уничтожительным молчанием. Но тут он ей ничем не мог помочь. Разве успокаивающе притронуться к плечу: «Ладно, ладно, мать». От этой снисходительности мать терялась еще больше – получалось, что она и вправду затеяла разговор не впопад. Но Женя ничем не мог ей помочь.

Странно все-таки, что Ефима почти никогда не называли в семье отцом. Он был на восемнадцать лет старше Жениной матери и словно сам старался всем показать, что настоящая жизнь была у него давно, еще до того, как он встретился с Жениной матерью, и что важное и значительное для него происходило в той, настоящей жизни. Что у него там могло быть важного и значительного, Женя не знал. А главное, и не старался узнать. Что там могло быть? Ни спорта, ни техники, ни науки. Досадно, конечно, что у Ефима с матерью не сложилось – на Жениной памяти Ефим не сказал матери ни одного ласкового слова, – но сама досада у Жени была непостоянной, летучей. Во-первых, Женя привык, а во-вторых, не сложилось как раз в то время, когда ни у кого не складывалось. До революции. Не то чтобы Женя так примитивно думал – это было как раз тем, над чем он вообще не думал, – просто принимал, как принимали почти все его знакомые. До революции и должно было не складываться. Всё. У всех. В историческом масштабе. Во всяком случае, вовсе не удивительно, если не сложилось.

Женя видел, что Ефиму не нравятся новые порядки. Сам Ефим редко прямо об этом высказывался. Так, колупнет ногтем кожпропитовую подошву на полуботинках местной фабрики: «Подошва! Кожпропит!» Или с отвращением нюхает пахнущую керосином и еще бог знает чем краску для полов, только что купленную в магазине: «Раньше хозяин собачью будку такой краской поганить бы не стал». Или вдруг увидит на параде командиров, несущих сабли наголо, и возмутится плохой выправкой: «Как жандармы свои селедки!» С особым вкусом он произносил: «Хамье!» Помнут ему рубашку в трамвае, наступят на ногу, жена спросит, где это он так, а он закричит на нее: «Что ты хочешь? Хамье! Ну!» – и бешено смотрит на нее, будто глупее и оскорбительнее вопроса она ему задать не могла. Но больше он осуждал молчаливо, и хотя революция ничего не могла у него отнять – до революции он у местного купца был мелким конторщиком, – молчал он так, словно она отняла все или не дала то, что обещала. Оживлялся Ефим только на уровне разговоров о международной политике. Тут он был патриотом и даже человеком общительным. В общем, Ефим для Жени был загадкой. Но такой загадкой, которую совсем не обязательно разгадывать. Нет интереса. И не спорил Женя с Ефимом никогда. Как-то без спора переспорил его. В их тесной квартире у Ефима была своя комната. То есть комната, куда без нужды никто не решался войти, хотя Женя и не помнит, чтобы Ефим кого-нибудь выпроваживал оттуда. Женя маленьким тоже опасался входить в эту комнату даже днем, когда Ефим был на работе. Жене передавалась тревога матери, всегда боявшейся, чтобы, не дай бог, на столе у Ефима кто-нибудь что-нибудь не переставил, не перепутал. А на том столе лежали железная линейка, сделанная так, чтобы, прочерчивая линии железным пером, не ставить кляксы, посеребренный железный пенальчик для карандашей и две чернильницы с конусовидными крышечками. И еще на столе лежали обыкновенные конторские счета. Вот по этим счетам, если пощелкать костяшками, а потом забыть их сдвинуть к правой стороне, и можно было заметить, что кто-то без Ефима хозяйничал у него на столе. В детстве Женя заиграется во дворе и вдруг даже вздрогнет – это ему представятся счета Ефима, на которых костяшки разбросаны как попало. А потом у Жени в общей комнате появилась своя книжная полка с Бремем, энциклопедией, Джеком Лондоном, самоучителями, а на кухне ящик со слесарным инструментом, и как-то забыл Женя, что когда-то с трепетом подходил к столу отца и с трепетом притрагивался к конторским счетам. И сам Ефим, ухидивший по вечерам отсиживаться с газетой в свою комнату, перестал Женю интересоваться. Жалко даже отца Жене становилось – ну

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
что он там делает со своей газетой? Так, дурной характер побороть не может. А дурной характер Жене казался чем-то пустым, чем-то вроде женского каприза. Дурные характеры, которые нельзя побороть, были для него чем-то оттуда, где все у всех не складывалось. Из той, дореволюционной эпохи. Себе Женя никогда бы не позволил иметь дурной характер.

Правда, слишком хороший характер, такой, как у матери, тоже мог быть оттуда, из дореволюционной эпохи. Когда мать разговаривала с отцом, Жене всегда казалось, что у нее слишком хороший характер. Женя давно понял, что и грозным Ефим всей семье кажется только потому, что таким он кажется матери. Со всеми остальными Ефим был просто замкнутым, немногословным человеком. С соседями, например. Но кажется, и соседи слегка опасались его, считали его яростным и грозным потому, что и им невольно передавалась всегдашняя готовность Жениной матери испугаться того, что скажет Ефим, как он посмотрит. Когда за обедом Ефим вдруг откладывал в сторону ложку и произносил, уставившись на мать: «Сто раз говорилась – недосол на столе, а пересол на спине», – все – гости, родственники, сидевшие за столом, – тягостно замолкали, ожидая, когда же Ефим отведет глаза от Жениной матери. Но Ефим надолго замирал, даже остолбеневал, словно потрясенный бабьей глупостью, словно пораженный тем, что и сто раз сказать недостаточно. Способность вот так сказать, спросить и долго не менять грозно-вопросительного выражения лица у Ефима появилась, только когда он разговаривал с матерью или безлично ругал новые порядки. Для остальных случаев у него была обычная, довольно гибкая мимика. Но почему-то всем, и Жене тоже, Ефим запомнился по вот этому грозно-окаменевшему выражению лица, по тому, как он оборачивался к матери, когда та что-то говорила, и торопил ее: «Ну? Ну!»

В детстве Женя все ждал, что мать в ответ на это «Ну!» топнет ногой, накричит на Ефима. Теперь он знал, что мать никогда не закричит, никогда не топнет, хотя до сих пор не понимал, что мешает ей это сделать. Мать всегда казалась Жене и умней и шире отца. В доме у них при нелюбимом и желчном Ефиме всегда было полно народу. Гостили племянники и племянницы – из Мариуполя, родственники из Одессы, свои, местные племянники. Женина мать была всеобщей теткой. Обременяли ее не задумываясь, не извиняясь, не обращая внимания на грозного Ефима. Мать была главной в доме. Это понимали все, кроме нее самой. Все, в том числе и грозный Ефим, придиричливо приносившийся к кухонным запахам, присматривавшийся к воротничку свежестраженной белой рубашки – не отливает ли желтизной. Когда он наконец надевал эту рубашку, сменял свое грозно-вопросительное выражение лица на буднично-деловое и стремительной походкой легкого, очень худого человека выходил из дому, мать юмористически вздыхала: «Ах ты боже мой!» – и возвращалась к обычным своим делам, от которых на несколько минут отвлекалась, провожая Ефима: кормила племянников, выгоняла из комнаты мух, занавешивала от солнца газетами окна, протирала мокрой тряпкой старые, много раз крашенные полы, иногда посыпала их травой, чтобы сохранить в комнатах прохладу и чистый воздух до тех пор, пока вернется с работы Ефим, Женя, жена Жени Валентина, стирала, гладила, готовила обед и делала тысячу других маленьких дел, ни разу не опоздав с обедом, ни разу не пересолив, не пережарив. То было время столовых, судков – специальных кастрюлек, в которых холостяки или работавшие на производстве хозяйки носили из столовых обеды домой, – а у Жени, Ефима и Валентины был дом. У них весна всегда вовремя начиналась редиской и салатами, лето – молодой картошкой и огурцами, у них были здоровые желудки, и Ефим мог позволить себе быть брезгливым потому, что чистоплотной была Антонина Николаевна. И потому что у них был дом, к ним в маленькую старую квартиру тянулись родственники, у которых и квартиры были получше и зарплата повыше. Родственники приезжали из Одессы, Севастополя, Мариуполя, и Женя давно считал, что город, в котором он живет, лучше и Одессы, и Севастополя, и Мариуполя. Когда Женя женился, он не стал искать себе квартиру, а привел Валентину к матери – не мог представить, как будет жить в другом месте. Шесть лет прошло с тех пор, а мать ни разу не поругалась с невесткой, хотя Валентина вовсе не была покладистой и обходительной. Лишь иногда Антонина Николаевна поглядывала на Валентину с тревогой, когда та слишком решительно что-то от Жени требовала. Вот хотя бы чтобы Женя поступил в институт.

– Пусть он сам. Пусть сам, – говорила она Валентине, едва ей начинало казаться, что Женя сердится. – Ты не требуй от него.

Женя смеялся тому, как мать учит насквозь современную самолюбивую Валентину:

– Нет, мама, она имеет право требовать.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Валентине очень хотелось быть женой инженера, как тогда говорили – итээровца, начальника цеха. А еще больше ей хотелось, чтобы Женя по вечерам ходил вместе с ней в институт, а не на водную станцию, где бывает так много хороших физкультурниц.

– Они спортом занимаются, чтобы скорее выйти замуж, – говорила она Жене. – Щеголяют в купальниках. Будто я не знаю, сама на водную станцию ходила.

Женя смеялся: физкультурницы в купальниках ему не угрожали – он был очень уравновешенным человеком как раз там, где у других всякая уравновешенность кончалась. Вот и этот институт! Не хочется, хоть ты убей! Еще и так интересно жить. И начальником цеха не хочется. Женя не мог этого объяснить ни матери, ни жене (особенно жене!). Такой характер, что ли. А может, друзья просто все такие подобрались – токари да слесари. А может, возраст не подошел, с водной станцией расстаться неохота. Или еще что-то..

– Нет в тебе этого... азарту, – говорила с досадой Валентина. – Я на третьем курсе, а до сих пор к тебе за консультацией и по математике и по чертежам. Тебе бы и делать нечего – только экзамены сдать. Не понимаю, как такой неазартный человек спортом занимается. Девчонкой я думала про тебя – вот фанатик, за трамваем бегаешь. А ты просто тюлень. Ты просто притворялся фанатиком.

Валентина была подвижная, немодного по тем временам высокого, почти в уровень с Женей роста. Ей все казалось, что Женя недостаточно внимателен к ней, что любит он ее слишком спокойно. И улыбка его казалась ей излишне спокойной, и то, что его трудно, почти невозможно вывести из себя, раздражало ее. И обижало то, что он ей самой предоставил налаживать отношения со свекровью и свекром и никогда не вмешивался в домашние дела.

– Вот получу диплом, стану твоим начальником, – говорила она, – посмотрим, что ты тогда скажешь!

Женя смеялся, но не спорил (а Валентине было бы легче, если бы спорил). Он и правда не очень переживал, если проигрывал на соревнованиях, не казнил себя самолюбиво, но фанатиком он все же был. Проиграв, он пробовал для себя новый режим тренировок, придумывал диету – ни грамма алкоголя, ни одной папиросы, не больше пяти стаканов жидкости в день – и вообще всячески, испытывал свой организм. Начал он бегать за трамваем, например, после того, как проиграл встречу по боксу. Боксом он до этого почти не занимался – на соревнованиях выступал потому, что некого было выставить от завода, – а проиграв, взялся за тренировки всерьез. Точно так же всерьез он занимался рентгеновскими аппаратами, когда помогал Николаю, всерьез решал кроссворды в «Огоньке», и вообще он о себе говорил: «Нет, в этом я ничего не понимаю», – если не знал дела полностью и всерьез. Всем домашним Женя чинил часы сам, а когда Валентина похвасталась подругам, что Женя и часы умеет чинить, он сказал: «Нет, в этом я ничего не понимаю». Он очень легко так говорил о себе и смеялся, когда Валентина раздражалась и ругала его.

* * *

Женя вскочил в прицепной вагон трамвая – он всегда ездил в прицепке – и остался на подножке. Вагон был полупустым – трамвай только что развернулся на конечной остановке – и по-особому, по-воскресному пыльным и жарким.

– Войдите в вагон, – сказала Жене утомленная воскресной жарой кондукторша (все сегодня гуляют, а она на работе!). – Что мне, за вас отвечать?

– Воротничок белый, – улыбнулся кондукторше Женя. – Вспотею – испачкается. Увижу милиционера – поднимусь.

И хороший человек кондукторша бледно улыбнулась.

– Вы что, не слышали – война!

– Как не слышал! – сказал Женя.

– Германия на нас напала, да? – спросила кондукторша. – Немцы на нас пошли? А то пассажиры говорят, говорят, а я не разберусь. – И она опять бледно улыбнулась: так устала от жары, что и война где-то там, за полторы тысячи километров, не

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
страшна. – Я сейчас одного пьяного везла. Ему говорят: «Война!» – а он ничего не понимает.

– Проспится, завтра поймет.

Это поразило кондукторшу:

– Все уже знают, а он только завтра узнает! Вот что водка с мужиками делает! Зальют глаза! Несчастные их жены. Я вчера одного возила, три круга сделали, вылезать не хотел, не знает, где его остановка.

Она ругала мужиков, но с каким-то оттенком восхищения. Она заигрывала с Женей и хотела, чтобы он увидел, какая она баба понимающая и широкая.

Женя сочувственно кивал. На остановке у центра, где садилось много людей, он поднялся в вагон, ближе к горячей, накаленной солнцем крыше, от кондукторши его оттеснили пахнущие духами, табаком и потом взволнованные пассажиры. Но кондукторша все время помнила о нем и время от времени улыбалась ему.

Жене везло на хороших людей. Женщины, как эта девчонка в короткой юбке и спортивных тапочках (никогда она спортом не занималась, Женя это мог определить с первого взгляда, спортивные тапочки носит потому, что дешевы), по-доброму расцветали, когда он улыбался им, желчный отец редко повышал голос, начальство ценило, друзья уважали, а если Жене попадался плохой человек, какой-нибудь хулиган, то и он, взглянув в Женины серьезные, не ускользающие глаза, на его прочную шею, на время притворился хорошим. Так что мир для Жени был наполнен почти исключительно хорошими людьми.

На заводской остановке он попрощался с кондукторшей, помахал ей и спрыгнул, не дожидаясь, пока трамвай станет. Площадь у завода была по-воскресному пустой, асфальтово-душной и жаркой. На деревянном киоске облупилась недавно подновленная голубая краска. Вахтер, который по случаю воскресенья один дежурил у пропускных коридорчиков, не удивился тому, что Женя хочет пройти на завод. Этого рябого вахтера на заводе дружно не любили (Женя поступил на завод лет десять назад, а он уже давно был вахтером). Сколько ни ходи, не пройдешь, не показав пропуск в развернутом виде. И не поздороваешься. «Проходи, проходи!» – скажет он. Работой вахтера была бдительность, он не любил всех этих опаздывающих, толкающихся, норовящих обойти правила и инструкции людей. А работу свою он любил. Это было видно и по его цепким глазам, и по желтой кобуре револьвера, которую он носил сдвинутой на живот, будто оружие ему ежеминутно могло понадобиться, и по тому, как он сверял фотографии с лицами владельцев пропуска, и по тому, как непоколебимо загораживал дорогу тем, кто за несколько минут до гудка хотел уйти домой. Женя видел однажды, как пожилая подсобница с усталым, злым лицом, в мужской спецовке, не по-женски испачканная ржавчиной (на заводе все так или иначе пачкаются о металл, но эта ржавчина на худом женском лице почему-то Жене запомнилась), ругала вахтера:

– И зачем таким власть дают! Обостряют только людей.

Жене была симпатична эта старая и, видимо, больная подсобница. Но он не осуждал и вахтера. Вахтер был добросовестным работником, он делал свое дело, отстаивал каждый пункт инструкции, а инструкция была написана разумными людьми, в этом у Жени никогда никаких сомнений не было. Женя только инстинктивно опасался встретиться глазами с вахтером, как опасаются встретиться взглядом с сумасшедшим – вдруг он с тобой заговорит! – но вообще-то симпатии ему хватало и на вахтера. И вахтер это чувствовал и по-своему Женю выделял.

– Тут до тебя, – сказал он ему, – этот косоглазый прошел. – «Косоглазым» вахтер без всякого почтения называл котлярова, секретаря заводского комитета комсомола. И спросил: – Выходит, коварно нарушили договор? А наши, значит, верили? Не ожидали?

Женя достал носовой платок, который у него был проложен между воротником и шеей, – его удивила пренебрежительная интонация вахтера: «верили», «не ожидали».

– Вам, папаша, воевать не придется, – сказал он. – Так?

– Так-то так... – сказал вахтер и нехотя отступил, пропуская Женю к металлическим

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru вертушкам. Женя толкнул вертушку и вошел в один из узких коридорчиков, на которые проходная была поделена перилами из гнутых крашенных труб. Вахтер недовольно смотрел ему вслед. – Не придется... Ишь, акробаты! – сказал он.

Если Жене случалось в нерабочий день прийти на завод, он всегда с удовольствием прислушивался к особой, воскресной заводской тишине. Тишина эта в низком туннеле проходной протягивается сквозняком, пахнет маслом и железом – запах, который сюда на своих спецовках занесли тысячи и тысячи людей. А выйдешь на заводской двор – и перед тобой остывающий красный кирпич цехов. Он еще шелушится от недавнего жара и грохота, от звуковой и световой вибрации, а за начерно прокопченными, мохнатыми от металлической пыли глухими окнами цехов ни отсветов плавок, ни вспышек электросварки – цехи остывают. И где-то вдалеке – на складе, что ли, – непривычную заводскую тишину подчеркивает обязательный воскресный звук: кто-то лениво бросает железо на железо, словно пересчитывает детали – раз, два, три... Вчера не успели закончить, а сегодня не работается.

И это безлюдье и эта тишина рожают особое, воскресное, какое-то хозяйское чувство. Не был бы хозяином всего этого, не пришел бы в воскресенье.

В коридорах заводоуправления тоже воскресная тишина. Но пахнет она не маслом и железом, а табаком и холодом длинных и темных коридоров. Воздух ночной или даже вчерашний – все двери и окна заперты. А стены тоже будто шелушатся, оттаивают, остывают. Здание заводоуправления Женя знал хорошо. Знал и эту тишину в сотнях пустых комнат, и то место в коридоре, где, как в цехе, потягивает железом, подоконники лоснятся от масла, а стены вытерты ржавыми спецовками. Подоконники эти напротив бухгалтерии и профсоюзного комитета. Сюда приходят подписывать больничные листы, выбивать квартиру, уголь, дрова, путевки для детей или выяснять, почему в прошлом месяце зарплата была такая, а сейчас на десять рублей меньше. Жене до сих пор ни разу не приходилось здесь выстаивать.

Дальше по коридору тянул постоянный сквознячок. За поворотом – большой бесхозный зал. Раньше там занимались заводские гиревики и штангисты. Но однажды физкультурников прогнали, исцеленный штангой и гирями помост вытащили в коридор, а в зале поверх обычных полов настелили паркет. Сказали – будет столовая. Но потом мастера ушли, а за ними никто стружки не подмел – зал так и остался бесхозным. И постепенно все, что когда-то стояло в бесхозном зале, втащили назад: и помост для штанги, и старую мебель, не вмещавшуюся в служебных кабинетах, и какие-то стенды, и стулья из зала заседаний, связанные в ряд по шесть. Паркет ступенькой возвышался над полом коридора, об эту ступеньку многие спотыкались и постепенно потревожили плитки. Теперь их можно было свободно вынимать рукой.

У Жени эти разболтанно лежащие плитки вызвали оскормину. Он и сейчас не мог пройти – поправил плитки, осторожно наступил на них, прошел коридором, поднялся по лестнице этажом выше и двинулся на звук включенного на полную мощность громкоговорителя. Котляров в комитете комсомола включил. Тарелка громкоговорителя дребезжала, слов нельзя было разобрать, и от этого Женю охватила тревога. Он толкнул дверь с табличкой комитета и спросил с порога:

– Что-нибудь новое?

(Вчера он сказал бы: «Пора зал за кем-нибудь закрепить: паркет будет целее».)

– А, это вы! – сказал ему Котляров.

Перед финской войной Котляров окончил военно-мореходное училище, у него осталась флотская командирская привычка говорить подчиненным «вы». В комсомоле говорят друг другу «ты», но Женя на Котлярова не обижался – парень ему нравился. Правда, слаб он в чем-то, легко срывается на крик. Но ведь во время войны с Финляндией сам отпросился с Черного моря на фронт и получил тяжелейшее ранение. Вот и пишет теперь левой рукой, а правой, желтым протезом в перчатке, придерживает бумагу и на входящих смотрит двумя разными глазами. Один глаз у него светло-голубой, подвижный, с маленьким зрачком, а второй – стеклянный, стеклянно-голубой, с неестественно крупным зрачком. И соответственно левая половина лица неподвижная, холодная, командирская, а правая живая и смущающаяся. И странно идущие к этим разным глазам, разным половинам лица жесткие пшеничные воинственные усики.

– Вы были в армии? – спросил Котляров.

– Ты же знаешь, – сказал Женя.

Котляров посмотрел на Женю своим неподвижным стеклянным глазом. И Женя понял – Котляров, который по-настоящему был в армии, сейчас хотел напомнить об этом.

– Кажется, артиллерист?

Женя не ответил. Вытер платком шею, посмотрел на грудь и на живот, нет ли пятна на рубашке, подошел к закрытому окну и стал дергать замазанный густой масляной краской шпингалет. Никак Котляров к штатской работе не может приспособиться. И кличку уже себе заработал – «адмирал». То командует, как на мостике, то вдруг шарахнется, всем «тыкает».

– Окна не открываешь никогда, – сказал Женя, расшатывая в гнезде неподдающийся шпингалет.

В комитете комсомола тоже сильно пахло маслом и железом, а подоконник и стены лоснились, вытертые спецовками. Приходили сюда во время обеденных перерывов, и после работы, и по делам, и в шахматы поиграть, и так поболтать, папиросу выкурить. Правда, с тех пор, как секретарем стал Котляров, ходят реже. Котляров запретил в комнате курить. Сделал он это запальчиво, как будто боялся, что его не послушают: «Все, ребята, в комитете больше не курить! С папиросами в коридор. Здесь мое рабочее место». И запальчивость и «мое рабочее место» другому не простили бы, но Котляров был герой, и был он болен, ранен, – его послушали, но ходить стали реже.

Окно, наконец, поддалось, склеившиеся половинки треснули, из пазов пошла пыль. Котляров смутился, посмотрел на Женю живым глазом:

– Понимаешь, простужаться стал. Жара на дворе, а я простужаюсь.

Вошел Гриша Лейзеров – инженер с длинной кличкой «Лейзеров играет на фортепиано». Он был из механосборочного цеха, здоровый, веснушчатый, с тонким проникновенным голосом, с манерой брать во время разговора за пуговицу, вертеть ее любовно и говорить: «Понимаешь, я давно собирался тебе сказать...» Никогда он на фортепиано не играл. Год он просидел на том самом месте, где сидит сейчас Котляров, и все тогда было в этой комнате как сейчас: тот же стол, та же красная скатерть и даже стулья те же. Потом заболел туберкулезом, учился в институте при заводе и, когда болел, все равно оставался таким же плотным, веснушчатым и здоровым на вид. Лечился тут же при заводе – на все лето пошел сторожем в заводское подсобное хозяйство. Встречаясь со знакомыми, все так же доверительно брал их за пуговицу, смотрел любовно в глаза и дышал в лицо, рассказывая, как старается круглые сутки быть на воздухе. Одним словом – «Лейзеров играет на фортепиано».

– Здравствуйте, – сказал Лейзеров и на секунду задержался в дверях, чтобы своим любующимся взглядом посмотреть сначала на Котлярова, а потом на Женю.

– Входите, – энергично пригласил Котляров и, прежде чем Лейзеров успел сесть, разрешил: – Садитесь!

Лейзеров сел и спросил:

– Товарищи, что же это такое?

И так как Лейзеров всем своим тоном напрашивался на то, чтобы ему разъяснили, Котляров сказал:

– Это война, товарищ! Понятно?

То, что сказал Котляров, было глупо, но Женя подумал, что тон у него верный. Умно никто сейчас не скажет – никто ничего не знает, – но у кого-то должен быть верный тон.

Женя много лет знал эту комнату. Он знал многих бывших секретарей. Знал до того, как их избирали секретарями, знал после того, как они возвращались в цехи. Помнил, как в этой комнате разоблачали подкулачников, пробравшихся на завод

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru вредителей, готовили субботники, утверждали списки комсомольцев, едущих «на смычку» в село. Двое из бывших комсомольских секретарей высоко пошли. И другие были тоже дельные ребята, и Лейзеров тоже дельный, он и сейчас дельный, толковый инженер и общественник – его постоянно выбирают во всякие комиссии: жилищные, профсоюзные и всякие другие, где нужен человек со сметкой, умеющий договариваться с начальством. Но никто из них не умел так разговаривать, как Котляров. Все секретари уважали и побаивались заводского начальства – сами редко ходили, ждали, когда позовут. И бесхозный зал, который гиревики и заводские спортсмены хотели бы за собой закрепить, ни один из секретарей не сумел «выбить» для комсомольцев. И Котляров тоже не сумел. Но Котляров, пожалуй, был самым смелым из секретарей: его можно было «завести», и он шел, требовал, стучал протезом по столу, партизанил – ничего не боялся. И когда он кричал, это и было видно прежде всего – «ничего не боюсь!». Жесткие усики топорщились, стеклянный глаз смотрел пристально, не мигая. И собеседник в этот момент почему-то видел не все его лицо, а только жесткие усики и немигающий стеклянный глаз. Зато Котляров и любил, чтобы ему потом рассказывали, как он смело разговаривал с начальством, как стучал, протезом по столу. Спрашивал: «Правда? – И добавлял подробности: – Ты не видел, я его потом отозвал в сторону. Ты, говорю, хитрый, как амбарная мышь. Зерно жрешь, а говоришь: газеткой шуршу. Да я тебя, – и переходил на штурмовую группу, когда мы финский дот брали. Да я бы тебя...» – и смеялся довольный, потирал протез здоровой рукой.

А иногда расскажет о себе такое, что и при желании поверить невозможно. Как-то он сказал Жене: «Вчера у меня была гонка! Жена отравилась консервами, я позвонил в „Скорую помощь“. Говорят: „Нет машин, ждите“. Я кричу: „Доставьте машины где хотите, с вами говорит секретарь заводского комитета комсомола“. Не едут! Я на трамвай. Вбегаю во двор „Скорой помощи“ – машина стоит! „Ах вы, гады! Где бригада, где шофер?“ – „На обеденном перерыве“. – „Человек умирает, а у вас обеденный перерыв!“ Вскрываю в машину, включаю зажигание – завелась! Даю газ и вылетаю на полном ходу из ворот. Врач успел вскочить на ходу, шофер бежит за мной. А я включил сирену – на красный свет, на толпу! – как раз поспел. Врачу говорю: „Если что-нибудь случится...“» И показывал, как вел машину, как крутил рулевое колесо, а Женя смотрел на его желтый протез и прикидывал: нет, никак не получилось бы у Котлярова то, о чем он рассказывал.

Женя знал, что на заводе многие подсмеиваются над Котляровым за эти его неожиданные рассказы о себе, но Женя считал – что ж тут такого! Любит человек похвастаться – пусть хвастается, кому от этого плохо? Женю только удивляло, что Котляров никогда не хвастается своими воинскими подвигами. И когда Котляров «заводился», Женя говорил ему:

– Рассказал бы лучше, как воевал.

Но о том, как воевал, Котляров рассказывал скучно. Женин двоюродный брат, газетчик Миша Слатин, который беседовал с Котляровым, сказал: «Ни одной живой детали». Женя не понял. «Ну такой, которой выдумать нельзя, – сказал Мишка. – Как будто газетную статью пишет: „Героическим натиском... Вдохновенные... Самоотверженно...“»

Женя сел рядом с Лейзеровым к столу, накрытому длинной красной материей, – на столе шахматные доски и шахматные часы, подвинул к себе часы и щелкнул пальцем по пусковому рычажку. Часы заработали, стрелка двинулась, будто отмеривая время, отпущенное на обдумывание хода. Но Женя тут же выключил часы.

– Так что будем делать? – спросил он Котлярова.

– Бить их будем! – ударил кулаком левой здоровой руки Котляров. – Я вот написал заявление в военкомат. Добровольно! Командовать я смогу. Сейчас командиры будут нужны. Култышка мне не помешает, – показал он на протез. – А стрелять даже лучше – прищуриваться не надо. – Жесткие усики шевельнулись в смущенной улыбке.

– А по мобилизационному плану нас не возьмут? – сказал Женя.

– Мы авангард! – сказал Котляров. – Мы обязаны подать пример. А по мобилизационному плану, – опять посмотрел на Женю живым смущенным глазом, – нас пока не возьмут. Я инвалид. Освобожден по чистой. А у тебя будет бронь. Я-то знаю. Незаменимый специалист.

Внизу хлопнула дверь, кто-то топал по лестнице. Женя прислушался.

– Еще идут люди, – сказал он.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Антонина Николаевна была второй по старшинству дочерью в большой семье отца. Отец был из воронежских крестьян, из бедной семьи, из бедного села Пичаево. Он перебрался сюда, на юг, еще в прошлом веке и обосновался в этом городе потому, что здесь жили дядья. Дядьев было четверо, фамилия их была Слатины, держались они дружно, были «политиками», работали на железной дороге, у одного был даже собственный выезд – две лошади и дрожки. Лошадей мобилизовали в 1914 году. О том, как лошадей отводили на рыночную площадь к пункту сбора, как чужие люди хватили их за морды, задирали им губы, как долго удавалось спасти молодого коника, самого любимого, заражая его какой-то неопасной лошадиной болезнью, Антонина Николаевна помнила, как об одном из главных событий того времени. У отца Антонины Николаевны не было лошадей, и вообще он был далековат от дядьев. Они помогали ему, но не очень приближали, однако это были родственники, семья – люди, обязанные помнить друг о друге и помогать друг другу. Правда, отцу Антонины Николаевны и ей самой ни разу не пришлось помогать дядьям, но сочувствовать им Антонина Николаевна могла, и она сочувствовала. Она умела сочувствовать не только членам своей семьи, не только родственникам, но семья ее была такой большой, столько у нее было братьев, сестер, теток и дядьев, так много у них было детей, что Антонины Николаевны едва хватало на всех. Они занимали ее память и сердце почти целиком. Девушкой Антонина Николаевна немного работала в конторе машинисткой-делопроизводителем – была такая должность, – но потом вышла замуж и вернулась в семью. И только пока она работала в конторе, ее называли Антониной Николаевной. В семье она была просто Тоней. Тоней звал ее не только Ефим, но даже малолетние племянники. И только те племянники, которые бывали у нее не очень часто, звали ее тетей Тоней.

Оттого что Ефим был намного старше ее, сестры и братья, которые ссорились и мирились со своими мужьями и женами, переживали всяческие семейные потрясения, считали, что Тоня по характеру своему ни к чему такому не способна. Тридцать из своих сорока семи лет она прожила в одной и той же квартире в Братском переулке. Это был старинный городской район со старыми домами и дворами. Он казался вечным оттого, что ни тротуары, ни мостовая, ни дома ни разу на памяти Антонины Николаевны не ремонтировались. Даже ступеньки железных наружных лестниц ни разу не менялись. Это полуистлевшее лестничное железо внушало опасение всем, кто на него ступал. Лестницы эти назывались черными, выходили они во дворы, но жильцы обычно пользовались только этими лестницами, потому что парадные давным-давно, еще во времена революции, гражданской войны, голода и беспризорщины, были забиты, захламлены, превращены в кладовки. А некоторые вестибюли превращались – временно, разумеется, – в квартиры, в которых люди, поселившись, жили до сих пор.

Дом, в котором жила семья Антонины Николаевны, помещался в глубине мощенного мелким, стертым белым камнем двора. В дом вела деревянная лестница. Без поворотов одним маршем она приводила на второй этаж к двери в квартиру. Наверху было темно, и входившие ориентировались по шуму примуса. Днем дверь не запиралась никогда, а летом и не закрывалась. Входивший отодвигал рукой надутую сквозняком занавеску, оттянутую книзу специальным грузом, и попадал в освещенный гудящим примусным огнем тамбур.

Сквозняк тянул от балконной, тоже занавешенной марлей двери через комнату с обеденным столом, диваном, трюмо, этажеркой и кроватью. Это была самая большая комната в квартире, но вся перечисленная мебель едва помещалась в ней. Тщательно выбеленные стены пачкались мелом, поэтому над кроватью, над диваном и во всех других местах, где можно было прислониться или опереться, висели предохранительные коврики или холсты, вышитые разноцветными шелковыми нитками. Вышивки иногда менялись, но три были постоянными: головы кошки и собаки и длинный аист с алым клювом и алыми ногами. Над диваном в старом черном футляре отсчитывали медленное время старые часы с бронзовым маятником, а над кроватью висел настенный календарь, отрывные листы которого скапливались на этажерке. Много раз крашенные, каждый день мывшиеся полы были стерты, вокруг сучков в досках образовались бугорки, которые Антонина Николаевна знала наперечет. Это была старая, но, в общем, прекрасная южная квартира с окнами на восток и на север, со сквозняком, который тянул из тени. Этот сквозняк приятно было ощутить

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
обоженным солнцем лицом, приятно было после уличной, магазинной или рыночной толчеи услышать медленный, успокаивающий мятник. Приятно было посидеть на обширном, наклонившемся в сторону двора, но безопасном балконе – он опирался на два металлических столба. После двенадцати на балконе была тень.

С балкона была видна общая длинная крыша дворовых сараев. Ее подновляли блаком, она липко лоснилась, шершавилась пылью, налипшим пухом акаций, пахла смолой. С балкона был виден весь мощный камнем двор: водонапорная колонка, крыша уборной за сараями, дикий виноград вдоль глухой стены соседнего дома, летние печки во дворе. Печек было три, иногда четыре, и одну из них каждую весну складывал Женя. Печка эта была лучшей во дворе, с коробом, с двумя конфорками, с кирпичной трубой, на которую было надето старое ведро без дна. Печка горела весь день, потому что Антонина Николаевна считала недобросовестным пользоваться примусом или керосинкой – приготовленное на вонючем керосиновом огне совсем не то, что приготовленное на угле или дровах. Примус чаще всего разжигала Валентина, чтобы скорее раскалить утюг или согреть утром чайник.

Антонина Николаевна и утюги всегда держала на печке – на огне или рядом с конфорками, если конфорки были заняты своими или соседскими кастрюлями. Соседки пользовались печкой Антонины Николаевны так же часто, как она сама.

К тому времени в доме уже был электрический утюг, электрический – ныне уже забытый – кипятильник, электрический чайник и даже такие новшества, как обогревательный рефлектор и лампа «синий свет». Но в этом старом доме и электричество казалось ветхим и ненадежным, оно текло по старым, еще довоенным проводам, от которых отпадали чешуйки мела: провода забеливались во время каждой побелки.

Забеленными были и все выключатели и штепселя, электричество в них слабо потрескивало, а в лампочках часто мигало и не накаливало их до конца. Поэтому и пользовались электрическими приборами редко. Блестящий электрический чайник с коротким рыльцем и массивным основанием вообще стоял только для красоты – раза два его включали, грел он медленно, а воды вмещал мало, не то что старый полуведерный медный чайник, из которого можно было напоить всю семью. И электрический утюг никак не мог сравниться с набором чугунных утюгов – от самого большого, за которым во двор посылали Женю или Ефима, до самых маленьких, которыми могли играть младшие племянники. В доме были специальные, с желтыми, неотстирываемыми опалинами тряпки, о которые эти утюги вытирали.

И вообще электричество еще довольно часто подводило. Поэтому в доме держали заправленными керосином две лампы и несколько свечей. И если вдруг электричество гасло и Антонина Николаевна вносила зажженную керосиновую лампу, Ефим ругался: «Стекла в лампах надо чистить». Медный чайник, керосиновые лампы, самовар, которым давно никто не пользовался, – все это были вещи, сделанные в «мирное время».

В квартире были еще комнаты Ефима и Жени. Когда приходили гости, Антонина Николаевна говорила: «Здесь комната Ефима, тут Женя с Валентиной, в большой комнате у меня спят племянники, на балконе внук играет, а я всему этому хозяйка».

В комнате Ефима почти не было вещей – кровать, стул и письменный столик со счетами и чернильным прибором. Заходить сюда не хотелось еще и потому, что голые стены были выбелены до синевы, ужасно пачкались и казались как-то не по жилому, неуютно высвеченными. Лишь охотничье ружье в черном чехле и темный кожаный патронташ, висевшие над кроватью, что-то здесь смягчали.

В Валентиной комнате тоже не было ни вышивок, ни настенных ковриков. Только кровати, платяной шкаф и книжная полка. К стене, чтобы не пачкалось одеяло, канцелярскими кнопками были приколоты две развернутые газеты. Валентина и тут стремилась сохранить быстрый и легкий быт общежития.

Может быть, Антонина Николаевна и позавидовала бы тем из своих родственников, у которых квартиры были побольше и получше, если бы она ходила к ним в гости. Но в гости Антонина Николаевна не ходила. В гостях выглядела испуганной, не ела, ни пила, будто боялась что-то сделать не так. Все получалось так, что к ней прийти удобней. Братья и сестры с детьми приходили к ней по праздникам и воскресеньям. И соседи приходили к ней, а она к ним через лестничную площадку ходила так же

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
редко, как и к родственникам через город.

Антонина Николаевна и не помнит, когда она сделалась собирательницей семьи – в гражданскую войну, когда погиб отец, в холеру, когда умерла старшая сестра, или раньше. Это сделалось как бы само собой и словно было всегда. Младшие сестры меняли квартиры, выходили замуж, уезжали из города, возвращались, оставляли ей своих детей на неделю, на месяц, на год. Двое из четырех дядьев Слатиных при царе сидели «за политику», в гражданскую воевали, ходили в чинах, затем сникли, ушли со своих постов, перестали говорить о политике и вообще на несколько лет исчезли из города. Оба входили в Общество политкаторжан, но политкаторжанином в семье звали только дядю Максима Григорьевича Слатина. Это был единственный из дядьев, которому Антонина Николаевна могла помогать. Он много болел, курил, хотя при его легких нельзя было курить, и вообще умел полностью забывать о себе, о своем здоровье, об опасностях, которые ему угрожали. И жена у него была такая же – фесья. Их сына Мику Антонина Николаевна подолгу держала у себя.

Года два тому назад Максим Григорьевич умер. Мика вырос, работал в газете и год от году делался все более похожим на отца. Изнутри его что-то постоянно жгло. Каждое воскресенье он приходил к Антонине Николаевне. Называл ее Тоней.

О политике в семье теперь больше всех говорил брат Семен. Во время империалистической войны дядья Слатины помогали ему уклониться от призыва. Но потом его все-таки забрали, он воевал в Румынии, привез из армии две медали (их сдали в торгсин), румынскую фразу, которую любил повторять: «Шпунурманешт? Нушты?» – странно не растраченную воинственность и фотографию, на которой был снят с бравой выпяченной молодой грудью, с лихими усами, с рукой, опертой на штык в ножнах. В гражданскую он прятался от белых, от немцев, от казаков, а потом стал работать посыльным в государственном банке, выдвинулся постепенно, его послали в Москву на курсы руководителей машиносчетных станций – банки выписывали из Америки машины, переходили на механизированный учет. Семен воевал со старыми специалистами (спецами), или, как он сам говорил, занимался «разоблачением вредительства в системе механизированного учета госбанковских контор».

Антонина Николаевна когда-то сама посещала кружки политического самообразования при домовом комитете, но к тому, что говорили Семен или Ефим, не очень прислушивалась. Она считала, что все идет правильно, потому что жизнь шла так, как надо. Сестры вышли замуж, родили детей. И Женя вырос и завел семью. И каждый день надо было ходить на базар, утром готовить обед, а вечером еще раз кипятить остатки борща и соуса, чтобы за ночь не скисли: летом у Антонины Николаевны было в два раза больше работы, чем у нынешних хозяек, у которых есть холодильники.

Антонина Николаевна прислушивалась к тому, что говорил Женя. Семен и Ефим все-таки были не шибко грамотными, а Женя много читал. Правда, чем больше он читал, тем меньше говорил дома. Так, кое-что сообщал. Скажет, например, кто-нибудь, что на железной дороге вместо керосиновых фонарей вводят новые, аккумуляторные, сцепщикам с таким фонарем придется побегать – тяжелый! «Сколько ж он весит?» – спросит Ефим. И Женя, который до сих пор к разговору не прислушивался, сообщит: «Четыре с половиной килограмма».

Он рано повзрослел. Он как-то легко взрослел. Еще мальчишкой забегается, Антонина Николаевна у него спросит: «Проголодался? Устал?» Он подумает и скажет: «Да нет, не очень». И лихости у него мальчишечьей не было. Договориться с ним можно было. Вырос – как будто лихости прибавилось. В детстве дрался редко, а теперь дерется на соревнованиях, плавает на шлюпках и яхтах по морю – чего-то добивается. После семилетки сам решил уйти из школы в ФЗО, из ФЗО – на завод. Но читать и учиться не перестал. Рядом с домом была картографическая мастерская, он стал туда ходить, учился чертить, а потом стал чинить и затачивать чертежникам чертежные инструменты. Однажды принес домой авторское свидетельство на какой-то «пунктирник для проведения точечного пунктира». И еще на «точечник для изображения точечных знаков кустов». Антонина Николаевна спросила Ефима: «Что это?» Ефим оскалился: «Развитые теперь все стали. Свыше всякого ума развитие!»

У самого Ефима были знания, а не развитие, как у нынешних. Он знал бухгалтерский учет, знал конторские счета и арифмометр, печатал на пишущей машинке, умел по запаху определить качество постного масла и масляной краски, а по тому, как горит и скручивается нитка, отличить чистую шерсть от поддельной или смешанной. У него был ясный почерк, и он годы потратил на то, чтобы сделать его еще лучше. Он никому об этом не рассказывал, но свои первые деньги он стал зарабатывать еще

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru подростком – на городском почтамте. Писал неграмотным письма. У него было больше клиентов, чем у других таких же подростков, потому что почерк у него был лучше. Он сам научился печатать на машинке и получал у хозяина надбавку за то, что по вечерам оставался в конторе перепечатывать бумаги. Ко всему, что он умел, присоединялось умение быть честным. Ни у хозяина, ни у государства он не взял ни зерна, ни копейки. В двадцатых годах он работал на элеваторе, вел учет продналога, справки подписывал. Ему и взятки предлагали, и убить собирались, и не сосчитать, сколько раз грозили расстрелом. Ефим знал, что он нелегкий и неприятный человек, – он был честным.

Хозяин Ефима был легкий и приятный человек, и приятели хозяина были легкие и приятные люди, а Ефим был честным. Он не ходил в рестораны и не брал взяток. У его знакомых конторщиков на столах стояли шуточные плакатики, на одной стороне которых было написано: «Надо ждать» – а на другой: «Надо ж дать». Ефим себе таких плакатиков не позволял. Он был доволен своей работой и своей жизнью потому, что не стоял на месте. От хорошего почерка шел к арифмометру, к пишущей машинке, прекрасно разбирался в качестве товаров, которыми торговал хозяин, а тем временем на его честность постепенно нарастали проценты, и хозяин делал ему надбавки, по мере того как другие деловые люди в городе хотели переманить Ефима к себе. Но Ефим не уходил от хозяина, хотя надбавки его были скупы, а Ефиму предлагали значительные деньги. Не хотел портить своей репутации. А потом все это рухнуло. Репутация Ефима оказалась ни к чему, товары на много лет исчезли совсем, а когда они появились вновь, то и мыло, и гвозди, и краски, и столярные инструменты были такого качества, что тут знания Ефима были ни к чему. У него дома было две бритвы, одна сточенная, стоявшая, лезвие которой все упрятывалось в ручке, и вторая новая, нетронутая, он показывал их иногда гостям: «Золингенская сталь, довоенные вещи. Теперь таких не делают». Бритвы он направлял сам. Как в парикмахерской, у него над столом на гвозде висел черный толстый ремень для правки бритвы. Собираясь бриться, он занимал весь стол: обваривал кипятком помазок, чашечку для мыла, стаканчик для чистой воды, ставил зеркало, готовил бумагу, которой снимал с бритвы мыло и срезанные волосы. И долго правил бритву, с силой бил ею по ремню, смотрел лезвие на свет, дул на него, заглаживал на другом, мягком ремне. Остроту лезвия пробовал ногтем и выглядел в эти минуты особенно грозным и значительным. Когда он брился, никто не рисковал подходить к столу, чтобы не толкнуть Ефима. И вообще вещи, о которых Ефим знал все, были такого свойства, что требовали особого умения с ними обращаться. Без этого умения ни оценить эти вещи, ни пользоваться ими было нельзя... Пока не вырос Женя, Ефим все делал сам по дому. И еще была одна особенность у этих знаний, которую очень хорошо чувствовал Ефим и которую почему-то плохо улавливал Женя. Это были как бы истинные знания. Им было и сто, и, может быть, тысячу лет. Если бы Ефима перенести на двести лет назад, то и там эти знания были бы истинными. Как умение сеять, собирать и печь хлеб. И эту истинность и значительность знаний Ефима очень хорошо чувствовала Антонина Николаевна.

Однако, по мере того как в мире убывало значение простых вещей, убывало и значение знаний Ефима. И когда он слышал о новых промышленных методах, о заменителях, о химии, о скрещивании, он оскаливался, ругался: «Пробовали скрестить овчарку с пинчером. А какой результат? Ни ума, ни силы!»

Конечно, его знания, нюх, его цепкий глаз и честность еще многого стоили. Он работал бухгалтером, его включали в ревизионные комиссии, он распутывал сложные дела, а однажды спас жизнь выдвиженцу, неумелому человеку, у которого обнаружили растрату в триста тысяч рублей. Выдвиженца непременно бы расстреляли, потому что шла компания борьбы с расхитителями и растратчиками, но был он заслуженный человек, и его дело еще раз передали на консультацию опытным специалистам. Ефим в первые же десять минут обнаружил то, что пропустила до него другая ревизионная комиссия, – дважды заприходованный один и тот же документ.

Жене родственники приносили чинить часы, а Ефиму – направлять бритвы. И он радостно осклаблялся, когда вынимал бритву из футляра. Он знал бритвы своих родственников так же, как свои. Презирал красивые бритвы с широким лезвием, с белыми броскими ручками, уважал скромные, из прочной стали. Уходил с ними в свою комнату и там долго правил их на мягком, маслянистом оселке, на своих ремнях, пробовал лезвие и на звон и на остроту, дышал на сталь и смотрел, как быстро сходит с нее матовость и возвращается блеск. Отдавать бритву не торопился, и только когда гость собирался домой, принесил ее из своей комнаты, укладывал на жало волосок, дул – и волосок распадался. Родственник благодарил, Ефим

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
осклаблялся, но тут же отворачивался и замыкался.

* * *

Первым в воскресенье обычно приходил брат Антонины Николаевны Семен с сыном. У Семена Николаевича была вьющаяся шевелюра, голову он закидывал назад, носил косоворотки на выпуск и подпоясывал их витыми поясками с кистями на концах. Серую и черную косоворотки он подпоясывал черным пояском, а белую – белым. Семен Николаевич был разведен, много лет жил один, а сын приходил к нему на субботу и воскресенье. Сыну было четырнадцать, и был он довольно высоким подростком с полноватым женственным лицом и с напряженным выражением глубоко посаженных глаз.

Они входили в калитку больших деревянных ворот, под которые со двора от водонапорной колонки подтекала вода, шли через двор мимо сараев, мимо летних печек к дому, на балконе которого в это время уже сидел с газетой Ефим. Ефиму они были видны от самых ворот, они здоровались с ним, а он кивал им через газету и оставался на балконе. Утром балкон был косо освещен солнцем, и Ефим в белой воскресной рубашке, заправленной в аккуратные серые воскресные брюки, в очках, которые он надевал только когда читал или писал, был очень хорошо освещен.

Нервный, не выносивший солнца, переходивший на теневую сторону улицы сын Семена Николаевича всегда с удивлением смотрел на белую застегнутую рубашку Ефима, на его плотные, жаркие брюки, на газету, просвечивающую под солнцем, на непокрытую голову, на всю его свободную, вольную позу.

Семен Николаевич здоровался с соседями Антонины Николаевны, а если во дворе была сама Антонина Николаевна, говорил ей:

– Здравствуй, сестра!

С соседями он раскланивался любезней и задерживался с ними дольше.

– Как жизнь молодая? Нашими молитвами? – И смеялся громче, чем нужно, потому что шутил всегда одинаково. – А вот сын в бога не верит. Когда он был поменьше, мы с ним ехали из Пятигорска в Кисловодск. Он задремал, а потом испугался: «Папа, кажется, проехали». Я говорю: «Если кажется, надо креститься». А он спрашивает: «Папа, а что такое креститься?»

Соседей во дворе было не так-то много. В двухэтажном доме Антонины Николаевны жило еще четыре семьи, и пятая – семья настройщика рентгеновских аппаратов – жила во флигеле.

Как только Семен Николаевич подходил к калитке в старых, красной краской крашенных воротах, в его походке что-то менялось. Она становилась как бы совсем воскресной, и Анатолий это очень чувствовал. Семен Николаевич запуская большой палец под пояс, проводил им от живота к спине, натягивая косоворотку на груди, и больше, чем обычно, закидывал голову назад. Перекинутым через левую руку он нес свой пиджак или пиджак сына. Этот-то ненужный пиджак, перекинутый по-особому через согнутую руку, и делал его походку особенно воскресной. Этот пиджак да еще косоворотка, напущенная на брюки и стянутая черным пояском. К тому времени почти все носили рубашки заправленными в брюки, но Семен Николаевич твердо держался своего. Так они шли через город по главной улице, и Анатолий, истомленный жарой, – отец, как и Ефим, прекрасно чувствовал себя на солнцепеке, – все время видел отца с рукой на отлете, с закинутой назад шевелюрой.

Они останавливались, когда отец встречал знакомых. Знакомые всегда говорили одно и то же:

– У тебя такой большой сын!

Семен Николаевич смеялся:

– Большой, говоришь? – И притягивал Анатолия к себе за плечо или гладил его по голове, как будто проникался к нему мгновенной нежностью. – Отца догоняет!

Утром, как только они выходили на улицу, отца изнутри что-то подмывало. Пока они собирались, отец раздражался, одергивал на Анатолии рубашку, счищал с него что-то венчиком, застегивал верхнюю пуговичку на воротничке, которую Анатолий не любил застегивать. При этом чистые пальцы сильной отцовской руки подрагивали.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Потом они молча шли вниз и выходили через парадное на асфальт главной улицы. И тут солнечный свет, зелень, троллейбусы, множество прохожих преобразали отца. Рука его, до этого вольно державшая пиджак, сгибалась особым образом, шевелюра откидывалась назад, он выходил на середину тротуара, туда, где уже совсем не было тени, и шел той самой походкой, по которой сразу было видно, что ему нравится идти вот так с пиджаком на согнутой левой руке. Проходя мимо университета, отец говорил:

– Бывшее купеческое собрание.

Отцу нравилось показывать вот такую свою осведомленность.

Отец был еще совсем молодежавый, крепкий и недурной собой мужчина. К нему в гости приходили женщины, казавшиеся Анатолию красивыми, отец говорил им, что он «живет для сына». Иногда отец водил Анатолия в гости к другим женщинам, где Анатолия закармливали сладостями. На улице рядом с отцом Анатолий все время ощущал эту молодежавость, подмивавшую отца, его готовность с кем-то поздороваться, остановиться и засмеяться совсем от ничего, захохотать даже, откидывая свою шевелюру. И когда отец притягивал его к себе, Анатолий не мог не вспомнить, как подрагивала рука отца, защемляя пуговицей кожу у него на шее. У отца всегда были как-то связаны и бодрая молодежавость и раздражительность. Они так легко переходили друг в друга.

В Братском они сворачивали с главной улицы и попадали в тень и тишину переулка. И когда подходили к воротам, отец отряхивался, охорашивался, топал парусиновыми белыми туфлями, которые он, перед тем как выйти на улицу, тщательно закрашивал разведенным водой зубным порошком – от туфель шла белая пыль, – наклонялся, чтобы почистить брючные обшлага, осматривал Анатолия и толкал калитку.

Во дворе отец, раскланявшись со всеми, поздоровавшись с Антониной Николаевной, не задерживался возле нее, а поднимался вверх. И Анатолий, утомленный жарой, пылью, а главное, постоянным ощущением, что бодрость отца вот-вот превратится в раздражение, с облегчением входил в лестничную полутемноту, ступал по разболтавшимся в своих гнездах деревянным ступеням, отодвигал марлеву занавеску и через темный, пахнущий керосином тамбур проходил в большую комнату, в которой под сквозняком, тянущим от балконной двери, слегка покачивался абажур из красной «жатой» бумаги. По этому абажуру вокруг летели черные бумажные ласточки.

Анатолий брал с книжной этажерки стопочку оторванных календарных листов, а отец проходил в комнату Ефима и возвращался оттуда без косоворотки, в одной нательной сетке. На книжной этажерке слегка потрескивала черная картонная тарелка радио. Радио не выключали, вещание тогда шло с большими перерывами, чем сейчас, но к радиопотрескиваниям, шорохам и дребезжанию уже успели привыкнуть и обращали на них внимание, только когда передавали известия и метеосводку.

Ефим по-прежнему оставался на балконе со своей газетой. Это была вчерашняя газета, и читать ее можно было сколько угодно.

Отец тоже брал в комнате Ефима вчерашние и позавчерашние газеты, брал коробку с маникюрными ножницами, с большими и малыми пилками для ногтей, подхватывал стул и тоже отправлялся на балкон. Слышно было, как двигал стулом, освобождая отцу место, Ефим, как ставил свой стул отец, как садился на него и спрашивал у Ефима, что нового в военных действиях Германии и Англии. Сколько помнит Анатолий, разговор отца и Ефима всегда начинался с обсуждения газетных военных сводок. Разговоры эти удерживали Анатолия у балконной двери, заставляли слушать. Ефим отвечал односложно, он вообще мог разговаривать, только поднявшись со стула и походив предварительно по комнате или по балкону, будто разогревая себя. Он не делался от этого красноречивее, но выражение лица у него становилось хищным, пристрастным, так что смотреть на него было невыносимо. Ефим как будто бы и сам это знал. Говорил он не глядя на отца, чтобы не оскорбить его своим взглядом или такой же непереносимо презрительной улыбкой:

– Немцы еще покажут нам, дуракам! Договор! Мы им хлеб – они нам договор!

С каждой минутой спора Ефим становился желчнее, а в отце возбуждались бодрость и воинственность. После таких споров отец мог даже как-то разыграться, показать, по просьбе Анатолия приемы штыкового боя или сабельной рубки (в кавалерии отец не служил – в германскую был телефонистом), сам себе командовал, подражая голосу

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru какого-то своего бывшего начальника: «Ко-ли!» Или показывал, как ему когда-то приходилось рапортовать: «Рядовой такого-то полка, такой-то роты, такой-то дивизии». Рапорт был забавен тем, что без запинки нужно было произнести множество цифр: номера дивизии, полка, роты, взвода. Были в нем и еще сложности: полк – гренадерский, дивизия – «его императорского величества». Было здесь что-то старинное и шутовское. Отца, который кому-то вот так рапортует, Анатолий не мог себе представить.

Спор очень быстро накалялся так, что стоять под дверью и слушать, как Ефим ругает тех, «у кого память короткая», «кто не умеет читать между строк», становилось неприлично. Но отец всегда вовремя вспоминал о своей контузии, начинал хронически недослышивать, говорил Ефиму что-то про погоду, Ефим оскаливался: «Погода как погода!» – но утихал, отвечал отцу односложно, и опять устанавливалась тишина. Сквозняк поднимал занавеску над балконной дверью, шуршал страницами журнала, оставленного на столе, а на балконе как будто никого не было. Так каждый раз для Анатолия начиналось воскресенье.

Иногда, правда, отец еще во дворе спрашивал:

– Ты во дворе или поднимешься?

Как ни прост был этот вопрос, Антонина Николаевна видела, что Семен не очень-то свободным голосом его произносит. Сын приходил к Семену Николаевичу на субботу и воскресенье, но за это время они успевали поссориться. Семен, считала Антонина Николаевна, уж больно много требовал от мальчика. Конечно, если бы они жили вместе, мальчик бы терпел, поступал так, как велит отец. Но они жили врозь, и Анатолий вдруг переставал ходить к отцу. Не ходил неделю, две, потом они опять появлялись вдвоем, и Семен Николаевич не мог спросить естественным тоном: «Ты во дворе или поднимешься?» Антонина Николаевна думала, что Семену надо быть поласковее с сыном, раз уж так получилось, что дома с матерью и отчимом мальчик чувствует себя вольнее, но советовать брату не решалась. Она видела, что Семен и сам старается быть ласковее, но не может себя побороть, не может отказаться от своей родительской власти, и голос и руки у него подрагивают, когда он делает Анатолию замечания, и глаза у него становятся скорбными и в то же время напряженными, как у сына. Так они и смотрят весь день друг на друга напряженно, а вечером, когда прощаются, Семен Николаевич берет в руки веник или щеточку, чтобы очистить Анатолия от мела, в котором тот обязательно выпачкается. Анатолий стоит молча, а Семен ожесточенно трет его щеткой или обмахивает веником, и видно, что он это делает сильнее и больше, чем нужно.

Поговорив с соседками Антонины Николаевны, Семен Николаевич берет у сына рубашку, чтобы ему легче было в майке или совсем без майки бегать по жаре, и поднимается в дом. Соседки смотрят ему вслед – красивый холостякующий мужчина, который не хочет связывать себя второй женьбой, чистый, следящий за собой, с интересной сидящей шевелюрой и такой бодрой походкой. Они видят, что Семен Николаевич переживает «из-за сына», и спрашивают Анатолия:

– Почему к отцу не ходишь?

– Болел.

– Отец для тебя живет!

Анатолий и старался любить отца так, как этого заслуживает человек, который для тебя живет. Но никогда ему это не удавалось. Если бы Анатолий мог себе это до конца объяснить, он, может быть, подумал бы, что просто отец появился в его жизни гораздо позже матери. Еще в том времени, о котором Анатолий ничего не помнил или помнил что-то смутное и нерасчлененное, они были вдвоем с матерью. Потом появилось слово «отец». В квартире раздавался звонок, и мать говорила: «Это отец». Приходил кто-то безразличный Анатолию, опять исчезал на целый день, иногда на неделю – уезжал в командировку. В первый раз отец и остался в памяти Анатолия приехавшим из командировки. Отец вошел в комнату – Анатолий уже твердо знал, что это отец, – развернул большой сверток, поставил на паркетный пол зеленый паровоз. «Это моему мальчужке», – сказал он, и Анатолию не понравилось слово «мальчужке».

Немного позже отец и мать стали разводиться. Как-то ночью мать разбудила Анатолия. Мать чего-то очень боялась, и страх этот передался Анатолию. Она всюду

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru водила его по квартире: шла в ванную и его брала, на кухню – и его туда же. Он боялся вместе с ней и понимал, что они вместе боятся отца. Отец пришел, мать усадила Анатолия к себе на колени, и колени, на котором он сидел, все время вздрагивало – отец подбегал к матери с раскрытой бритвой, и Анатолий чувствовал в этот момент внутри невыносимую боль, потому что весь изо всех сил сжимался. Так продолжалось очень долго. Отец ходил из комнаты в комнату, и был у него такой вид, будто он на что-то решается.

В той комнате, в которой они сидели с матерью, горела лампочка, а в комнате, куда убегал отец, свет не был зажжен, и в этих переходах со света в темноту отец был невыносимо большим, быстрым, чужим и страшным.

Анатолий завизжал и ударил отца. Он запомнил это на всю жизнь, а отец и не заметил, что сын ударил его.

Потом они с матерью переехали в другой дом, на другую улицу, и Анатолий просил мать, чтобы не было ни отца, ни других мужчин. Но на второй день в новом доме Анатолия появился отчим. Вот тогда Анатолию и стали говорить, что у него есть один настоящий отец, который для него живет.

Однажды Анатолий прошел пять кварталов, которые отделяли его новый дом от старого. Отец был растерян, говорил, что вот он что-то сделает, что-то починит или отремонтирует и тогда обязательно заберет его к себе. И еще отец говорил обиженно: «А я думал, ты меня уже забыл. Не идет ко мне мой мальчуша и не идет». С тех пор Анатолий, не рассказывая матери, стал изредка ходить к отцу, а потом мать и отчим об этом узнали, и он стал ходить регулярно по субботам и воскресеньям. В старом доме пацаны немного отвыкли от Анатолия и принимали его не так, как своего. Как-то один из них усадил Анатолия на скамейку, в которую была воткнута иголка. Анатолий, по хохоту догадавшийся, что над ним зло подшутили, с яростным плачем схватил кирпич и бросился на обидчика. Камни таких размеров в обычных драках мальчишки не применяли, и Анатолий заработал кличку психованного.

Анатолию нравилось у тети Тони, нравилось ее спокойное смуглое лицо, ее седеющие волосы. Седина казалась Анатолию признаком не старости, а постоянства. Нравился летний запах свежих огурцов, праздничный или воскресный запах печеного теста. Мать не любила и не умела печь пироги и вообще готовить. Отчим и она много работали, еду приносили из магазина, и радости поэтому дома были магазинные. В это время в гастрономах появились холодильники, и одним из главных домашних удовольствий было принести из магазина холодное молоко или какао на молоке и холодным его выпить.

Нравилось Анатолию таинственное Ефимово ружье – его при Анатолии ни разу не вынимали из чехла. Даже умывальник с вращающимся краником, с ведром, которое ставилось под раковину, нравился Анатолию. Этот умывальник давно не использовался по назначению – проще было черпать воду кружкой из ведра и прямо сливать ее себе на руки, чем ту же воду прежде наливать в умывальник. Всегда сухой, похожий на кухонный шкафчик с дверцами и на тумбочку с зеркальцем в центре довольно большой белой облицовочной плиты, он казался Анатолию самой старинной вещью у тети Тони.

В раннем детстве Анатолий с отцом и матерью жил в большом четырехэтажном новом доме. Дом назывался банковским, потому что построил его госбанк для своих работников. Жили в нем люди молодые или, во всяком случае, такие молодежавые, как отец. Никто из этого дома не выезжал, никто здесь не умер и даже не заболел серьезно. Дом был ровесником Анатолия.

Дому, в котором они жили сейчас с матерью и отчимом, было больше тридцати лет. В доме была парадная лестница и две черных. На лестничные площадки черных лестниц жильцы выходили разжигать примуса, выносили мусорные ведра. Здесь пахло керосиновой копотью и кошками, ступеньки черных лестниц были цементными, а лестничные марши крутыми. Анатолий испытывал страх каждый раз, когда ему по этой лестнице приходилось выносить мусорное ведро. Никто из ребят в этом доме не играл. Зимой здесь росла шлаковая гора из котельной, летом воздух был отравлен запахом огромной подворотни.

Их комната была на пятом этаже, звонить к ним надо было пять раз. Каждый раз, когда кто-то звонил или стучал – звонок часто бывал испорчен – после третьего

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
звонка возникало ожидание: «Кажется, к нам». Однако и после пятого следовало подождать, потому что в квартире было семь жильцов и звонить могли и шесть и семь раз. От входной двери коридор шел длинной буквой «Г». Темный в начале, он на повороте начинал светлеть и приводил в коммунальную кухню, в которой была холодная, не действующая печь и стояло семь кухонных столиков. В кухне была дверь на черную лестницу. Считалось, что если в квартиру заберется вор, то он обязательно войдет через эту дверь. Однако именно кухонная дверь запиралась хуже всего – она держалась на слабом крючке. Ночью черная лестница не освещалась.

А парадная лестница была великолепной – тяжелые мраморные ступени, длинные марши, фигурная металлическая оградительная решетка, черные массивные перила. Обширный вестибюль выложен мраморными плитами, а дверь высоченная и такая тяжелая, что Анатолию не просто было ее открывать. Но и мрамор, и массивные перила, и высокая дверь Анатолию были неприятны.

Дом был построен в самом центре города и рассчитывался когда-то на состоятельных людей. Поэтому и было здесь по две двери на каждой лестничной площадке: квартира направо, квартира налево. Но жили в этих квартирах богатые люди или нет, Анатолий не знал.

Улица, на которую выходил дом, имела три названия. Старое, промежуточное и новое. Все улицы в этом центральном районе города имели по два и по три названия. Когда надо было куда-то пройти, спрашивали старое название улицы – в новых пока еще путались.

На главную улицу выходили витрины продуктовых, винных, промтоварных магазинов, а на улицу, где жил Анатолий, – их склады. Сюда, во дворы, заезжали драгили, пахло здесь рогожами, лошадиным потом, бочками из-под огурцов.

У ребят была улица. Играли на мостовой и расходились на минуту, чтобы пропустить драгиля или грузовик.

Ходили играть и на площадь, огороженную огромным деревянным забором, за которым лежали развалины взорванного городского собора.

Раньше к собору примыкала рыночная площадь, теперь здесь строился Дом Советов – самое большое в городе здание.

Мальчишки лазили через забор играть в недостроенном, но уже захламленном здании.

Анатолий переехал на эту улицу, когда ему еще не было шести лет, отсюда он пошел в школу, но так и не привык к своему пятиэтажному дому, к черной лестнице, к тому, что к ним домой надо было звонить или стучать пять раз, к тяжелой парадной двери, к улице, на которой у него были уже приятели и знакомые. Своим он считал двор в доме отца. И когда он приходил сюда в субботу, то сразу же застревал – не мог, был не в силах оторваться от своих ребят даже для того, чтобы подняться к отцу и сказать: «Я пришел». Он заигрывался до темноты, а когда все-таки поднимался к отцу, отец говорил: «Но ты мог бы, по крайней мере, подняться и сказать мне, что ты пришел». Ребята во дворе казались Анатолию умнее и талантливее уличных. Здесь не было грубых кличек, каких-нибудь Коли-бубу, Сметаны или Меченого. Даже дворового толстяка звали не кабаном, не жирным, а моржом.

Анатолий ужинал, мылся в ванной и ложился к отцу в кровать – второй кровати отец себе не завел. Утром они одевались, отец раздраженно обмахивал его веником, и они отправлялись к тете Тоне. Тут было все спокойно, постоянно и так, как, наверно, должно быть. За столом отец обязательно заговаривал о борьбе с вредителями и вредительством, которую он ведет у себя в банке, читал письма, которые писал куда-то в Москву. Читал отец увлеченно и тут же, за обеденным столом, вносил какие-то поправки. Прежде чем написать заглавную букву, он, как бы примериваясь и разминая руку, проводил по воздуху несколько коротких закругленных черточек, затем быстро писал, и опять его рука, прицеливаясь, раздраженно подрагивала над бумагой.

Выправленную фразу отец опять прочитывал – он любил и, как считалось в семье, умел писать. Читал он при всех и спрашивал совета и одобрения.

Ефим слушал его, наклонив голову, иронически оскаливаясь, а тетя Тоня говорила:

– Рыба свежая. Ешьте.

Если за столом сидел Михаил Слатин, отец обращался к нему:

– А что скажут газетчики?

– Не знаю, не знаю, – говорил Мика, – вам виднее.

Волосы у отца тоже начали седеть. Но о седине тети Тони никто не говорил, а седые волосы отца все замечали и говорили о них так игриво, что отец откидывал шевелюру и смеялся. Разговоры об отцовской седине были Анатолию неприятны. Отец казался ему все время к чему-то стремящимся и раздражающимся оттого, что не может полностью добиться того, к чему стремится. Он стремился, например, чтобы у него в комнате было не просто чисто, а очень чисто, и раздражался, если Анатолий ставил какую-нибудь вещь не на место, и всегда смотрел ему на ноги, когда Анатолий входил. Он делал это и открыто: «Вытри ноги о половичок», и скрытно, чтобы Анатолий не заметил. Вдруг войдя в комнату, взглядывал на паркет, и делал свой взгляд рассеянным, если царапин не было, или же, если царапины были, начинал возмущаться, но не тотчас, а взволнованно походя по комнате, скрывая, что увидел царапины сразу. Но Анатолий все равно видел, как отец смотрел на паркет. А если им вдвоем случалось пойти на фабрику-кухню, то и тут отец стремился к тому, чтобы все было по правилам, и раздражался, если скатерть была грязной, а борщи и котлеты плохо приготовленными. Он требовал официантку и шеф-повара и говорил им, что в наше время так готовить и обслуживать советских людей – преступление. И еще он говорил, что время равнодушных прошло, что сейчас время активных, умеющих видеть политику во всем. Из Москвы, где он учился на курсах, отец привез специальные книги и красочные американские журналы с яркими изображениями счетных машин. До сих пор у отца не было ни журналов, ни книг – только газеты.

Анатолию не нравилось, когда у него спрашивали: «Ты знаешь, что отец для тебя живет?» В этот момент взрослые казались ему либо глупыми, либо лицемерными. Но Анатолий всегда был на стороне отца, когда тот говорил, что надо бороться за то, чтобы жизнь была лучше, чем сейчас. А улицу свою и пятиэтажный дом Анатолий мог бы сразу забыть, как будто бы их вовсе не существовало. За все эти годы ни дом, ни улица так и не вошли в его память, будто не жил там Анатолий, а только ждал, когда эта жизнь кончится.

Просмотрев оторванные календарные листочки, Анатолий начинал томиться и выходил на балкон, где к этому времени обычно оставался один отец, – Ефим, высидев с отцом несколько минут и поспорив с ним о договоре с Германией: «Они к нашим границам войска стягивают. Зачем? Ну?» – уходил с газетой в свою комнату. Отец пилкой обрабатывал ногти, рука его, двигавшаяся привычно, как будто он этим всю жизнь занимался, подрагивала от нервного возбуждения: отец никак не мог успокоиться после спора с Ефимом. Сквозь редкую нательную сетку было видно тело отца, белое, безволосое, в редких родинках, нагретое солнцем.

– Не закрывай мне солнце, – скажет не остывшим после спора голосом отец.

Прижатые камнем, чтобы ветер не унес, рядом с отцом прямо на полу балкона лежат газеты. Эти камни Антонина Николаевна держит на балконе, чтобы придавливать ими крышки кастрюль.

– Пойду во двор, – скажет Анатолий.

– Не забегай далеко. Спроси у Тони, когда обед.

Анатолий выйдет во двор и спросит у Антонины Николаевны:

– Тетя Тоня, а где Женя?

– Сама бы у кого-нибудь спросила, да не у кого, – засмеется Антонина Николаевна.
– Не докладывает.

Женя был двоюродным братом, но он редко замечал Анатолия. Он приходил к обеду, садился за стол, и мужчины как-то заискивающе раздвигались. Только Ефим не поднимал головы. Пока жени не было, отец казался Анатолию крепким, сильным и

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru даже хорошо загоревшим мужчиной. Но когда появлялся Женя, сразу было видно, что и Ефим и даже отец уже очень пожилые люди. А Женя что-то быстро съедал и не задерживался за столом, не ввязывался в разговоры. И хотя он все время улыбался, посмеивался, отвечал на вопросы, было видно, что отвечает он гораздо короче, чем ответил бы своим сверстникам. Женя нравился Анатолию больше, чем громоздкий Мика Слатин. Мика и Женя садились рядом, но Женя ел мало, не пил никогда, а Мика пил и, выпив, предлагал жене бороться. Они когда-то вместе ходили на каток, на водную станцию, потом Мика бросил и теперь задибался. А Женя смеялся, и было видно, что он уклоняется не потому, что боится громоздкого Мику.

И отец и другие часто спрашивали Мику о газете. Женя на памяти Анатолия задал ему только один вопрос:

– Сколько ты за все это получаешь?

Анатолию хотелось знать, что думает Женя о войне Германии и Англии, о том, придется ли нам воевать. Но Женя на эту тему с Анатолием отказывался разговаривать. Он отделялся неожиданным вопросом:

– А тебе хочется, чтобы была война? Нет? Ну тогда мы с тобой об этом потом поговорим.

Во дворе играли мариупольская и одесская племянницы Антонины Николаевны. Одиннадцатилетняя мариупольская Вика учила десятилетнюю Иру:

– Девушка должна быть надменной!

И показывала, как это: голова откинута, веки опущены. И двоюродные сестры начинали игру. Вика спрашивала «надменно»:

– Ира, ты пойдешь гулять?

Ира отвечала, глядя из-под опущенных век:

– Когда?

Так они разговаривали друг с другом «надменно». Ира живет у Антонины Николаевны давно, она спокойная, тихая, а Вика, нехорошая, истеричная, что-то выдумывает. Мужчина у ворот закурил папиросу, и она плачет, кричит, показывает пальцем: «Там, там!» – и рот у нее кривится. Иру она подговаривает:

– Пойди к Тоне, просись гулять на улицу.

– Тоня не пускает.

– А ты ей надоедай, она отпустит.

Анатолию Вика сказала:

– Ты что ей говоришь – тетя Тоня?

– А как?

– Тоня!

Анатолий был из тех племянников, которые говорили Антонине Николаевне «тетя Тоня». Эта истеричная Вика чувствовала себя здесь более своей, чем он.

Если зайти в это время в комнаты – тишина, только маятник да на балконе иногда газеты шуршат. До обеда мужчины не будут разговаривать, но не потому, что неприятны друг другу, а чтобы не выговориться. Потом Семен Николаевич поможет Ефиму раздвинуть обеденный стол, подтащить его поближе к дивану и скажет, глядя на то, как Антонина Николаевна разливает горячий борщ:

– Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!

И глаза его заблестят от радостного чувства. Чувство это вызвано и ощущением семейного благополучия, и верой в то, что благополучие – это следствие чего-то

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru большего, чем просто семейная удача. В этот момент Семену Николаевичу хочется обрадовать всех какими-то умными, значительными словами, которые наполняют смыслом самое простое, самое повседневное. Когда он повторяет сталинские слова, его пронизывает счастье понимания, счастье какой-то большой, не личной, а исторической удачи. Правда, Семен Николаевич шутит немного, но лишь чуть-чуть, только начиная фразу, а потом говорит серьезно и заканчивает с настоящим энтузиазмом и с некоторой застенчивостью, с которой все-таки произносишь такие слова в обыденной обстановке.

А шутит он потому, что все сидят за столом по-домашнему: женщины в летних платьях-сарафанах, с голыми загорелыми плечами, мужчины в майках или нательных сетках, – сидят на низком старом зачехленном диване, потому что стульев на всех не хватает да и ставить их некуда. Анатолий даже уселся на валик дивана, и Семен Николаевич опасается, что, ерзая, он может сломать его.

Пичаевские, деревенские, и выговором и внешностью отличающиеся от южан, они за тридцать лет немало испытали и повидали, но укоренились и вырастили детей.

На столе перед Ефимом стоит бутылка сухого вина, он один пьет такое вино, остальные водку или сладкое – портвейн или вермут. Семен Николаевич разливает водку, поднимает рюмку и с тем же выражением радостного волнения произносит:

– За Сталина!

Ефим слушает Семена Николаевича, наклонив голову и оскалившись иронически.

Но, в общем, все принимают слова Семена Николаевича так, как надо. Правда, ни Антонина Николаевна, ни Ефим, ни сестры Антонины Николаевны – никто из других гостей таких тостов не произносит. Но им вообще не хватает смелости заявить о себе каким-нибудь тостом даже за столом. И они благодарны Семену Николаевичу за его смелость и глупым его не считают за то, что он все норовит повторять слова больших людей. Никогда они не считали себя слишком умными. И ведь на самом деле жить стало лучше, и все, в общем, идет как надо, стоит только посмотреть на этот стол, на эту марлевою занавеску над балконной дверью, которую продувает летний сквозняк, на загорелые руки соседок, послушать эти сытые разговоры не о еде вообще, а о салатах, соусах, сухариках, с которыми лучше готовить отбивные.

К борщу Антонина Николаевна подает свежий хлеб и сухари белого и ржаного хлеба, сушеные в коробе. Сухари она держит в специальном мешочке. Привычка сушить, а не выбрасывать черствеющий хлеб осталась с тяжелых времен, но теперь сухари к супу или борщу – на любителя. Дети, например, размачивают в тарелках сухари – так им больше нравится.

Для Семена Николаевича у Антонины Николаевны есть черствый, слегка подсушенный хлеб – у него больной желудок. Водку Семен Николаевич пьет маленькими глотками, прислушиваясь к тому, как она идет по пищеводу. Это чтобы не обжечь больной желудок – если пьешь медленно, водка впитывается стенками пищевода.

За полчаса перед обедом Семен Николаевич, морщась, принял один порошок, потом еще один. Все видели, как он брал графин с кипяченой водой, налил воду в стакан, как запрокидывал голову и сыпал привычно на язык какой-то порошок из белой бумажки, как потом аккуратно сворачивал бумажку, а порошок держал во рту – давал ему раствориться. И все морщились, ждали, когда же он наконец запьет, чтобы прошла оскомина. В семье не очень-то верили в болезни Семена Николаевича, считали его мнительным – выглядел он человеком здоровым и ни от водки, ни от вина никогда не отказывался.

И хоть он был раздражительным, нервным, но и жизнерадостным тоже был. Зимой и осенью ходил в одном и том же демисезонном пальто и голову не накрывал. В особые уже холода, в метель, брал шапку в руку и так шел, запорошенный снегом, и лишь изредка подносил руку в перчатке к ушам – не тер, а прикладывал, слегка склоняя голову. И короткий воротник на своем пальто никогда не поднимал, как бы ни сыпал снег. Пальто у него было старое, изменившее свой первоначальный цвет и вид, но по-прежнему аккуратное, и вся его одежда – и брюки, и два костюма, и рубашки, и косоворотки – были старыми, штопаными, но аккуратными. Стоило посмотреть, как он снимает запорошенное снегом пальто, выворачивает его особым образом и встряхивает, отказываясь от веника, который выносят хозяева – под веником снег тает, и пальто отсыревает, – чтобы почувствовать, как умело и аккуратно Семен

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Николаевич обращается с вещами.

Лет с тринадцати он работал мальчиком в магазине и до сих пор умел необыкновенно хорошо сворачивать бумажные пакеты. Каждое воскресенье он приносил Антонине Николаевне на стирку свои рубашки и забирал постиранное. Рубашки сворачивал сам, делал из них удивительные конверты, а затем эти конверты заворачивал в бумагу – и сверток получался идеальным.

И туфли свои носил очень долго. Даже парусиновые белые не менял по несколько сезонов. Не сбивал каблуки, не стирал подошвы.

Чистил их два раза в день. Когда шел к Антонине Николаевне и когда уходил от нее. Вернее, за час до того, как собирался уйти, потому что туфли мокрели, становились серыми и нужно было время, чтобы они просохли.

И хотя его аккуратность в семье считали нудноватой, но и уважали его за эту аккуратность: холостой мужчина, так тщательно следящий за собой! И не отказывали, когда он просил сестер что-то ему почистить или постирать. Он и не просил ничего чрезмерного – так, рубашки, которые жаль отдавать в прачечную, чтобы не испортили. А паркетные полы у себя в комнате натирал сам.

* * *

22 июня 1941 года семья собралась к столу без молодых: Валентина еще утром ушла из дому с Вовкой, Женя уехал на завод. Ждали Мику Слатина, но и он не явился. Семен Николаевич надеялся, что Мика что-то расскажет. Может, все еще прояснится, и окажется, что это не война, а просто очередная грандиозная провокация.

Ефим расхаживал по комнате, на лицо его невыносимо было смотреть: такое хищное и презрительное выражение появлялось у него, когда Семен Николаевич рассуждал о возможности большой провокации.

Сбылись самые худшие прогнозы Ефима, но и сейчас он со своей желчностью был один в семье. Антонина Николаевна, Анатолий с большим вниманием прислушивались к тому, что говорил Семен Николаевич.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На следующий день после начала войны завод перешел на военную продукцию. Делали трубы и опорные плиты для минометов.

Когда Женя потом вспоминал первые военные месяцы на заводе, они ему представлялись сплошной ночной сменой, хотя работал он и ночью и днем, а случалось, сутками не уходил домой.

До войны Женя даже любил работать в ночной смене. Ночью завод менялся. Он становился шире, пространственней и тише. В ночную смену работали не все цехи, а там, где работали, будто увеличивалось расстояние от станка до станка – в ночь выходило меньше рабочих. В литейном выше поднимался потолок. Под потолком и днем было темновато, а ночью он исчезал совсем – над станками горели электрические лампочки, и за этими лампочками уже ничего не было видно. Грохот формовочных станков переставал сливаться – слышно, как работают отдельные станки, можно было даже разобрать человеческие голоса. Придешь к себе, включишь над верстаком свет, пройдешь по мастерской из конца в конец – один! За дверью литейный цех, грохот, дым от холодных сквозняков, а здесь комнатная неподвижность воздуха, тишина и рядом с верстаком высокая трехногая табуретка. И комнатная неподвижность воздуха, и тишина, и табуретки – все это не так-то просто дается на заводе. Станков, тачек, сварочных аппаратов, электрокаров на заводе тысячи, и все это – под огромными потолками огромных цехов. Все в тесноте, движении и шуме, все на глазах друг у друга... Цехов с закрывающимися дверями, за которыми не очень холодно зимой и не так-то уж жарко летом, совсем немного. Здесь работают те, у кого золотые или, если угодно, умные руки. Входя в свою мастерскую, Женя не мог не чувствовать этого перехода от цехового грохота к спокойствию мастерской. Работалось ночью Жене всегда хорошо. Руки не слабели, мозг работал ясно, и глаза видели как будто даже острее, чем днем. С заданием Женя справлялся за час-полтора до конца смены. Он мог бы обернуться и быстрее, но никогда не спешил – к работе у него был интерес, а жадности не было. Что касается денег, которые платят за сверхурочные, то тут Женя исходил из того, что всех денег все равно не заработаешь.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru

В оставшееся до конца смены время Женя чистил и затачивал инструменты, делал заготовки и думал. Ночью само течение времени казалось Жене значительным. Валентина спит, мать и Ефим спят, Вовка спит, сколько людей спит, для них это время мертво, а Женя работает, и для него это время живо. Но живо не так, как днем. Все-таки это не дневное, а ночное время. И к чему ни прикоснешься, все поворачивается какой-то непривычной, не примеченной днем стороной, заставляет думать. Будто побывал человек там, где ему природой не положено быть. Не то чтобы эти мысли были какими-то значительными – нет. Но они были медленными, какими-то объемными, непрерывными и чем-то приятными. Чем – Женя так и не знал, потому что мысли эти никогда не додумывались до конца. Уходя домой, Женя испытывал странное удовлетворение оттого, что это надо еще додумать днем, на свежую голову, но всегда днем об этом забывал.

И еще эти мысли были приятны тем, что как бы не связывались с работой. Руки делали свое, а мысли шли своим путем. Днем такого разрыва не было. Днем вообще не было места каким бы то ни было мыслям. В мастерской всегда было много народу, всегда шумно. Днем голова была просто отключена – работали руки. И время проходило суетливой, быстрее, неотличимой. Сегодня – как вчера, вчера – как на прошлой неделе. А ночью время как бы обновлялось, становилось объемным, окрашенным, тяжеловатым, но и торжественным. И потом эта торжественность распространялась на весь день. Утром хорошо уходишь с завода. Было что-то неправдоподобное в том, что ты идешь навстречу густому потоку спешащих людей. Им только начинать, а ты уже все сделал. Трамвай на конечной остановке пуст. Дома кровать разобрана – Валентина перед тем, как убежать, расправила простыню, взбила подушку, а угол одеяла отвернула. Ложись. Часы тикают. В комнатах не разговаривают, и день видишь перевернутым и еще таким, каким он видится отпускникам, больным, домохозяйкам и детям. В обычные дни Женя редко читал художественную литературу, а когда приходил после ночной, его тянуло почитать. Вообще в этой странной перестановке привычных дел было что-то заманчивое. Придут с работы – ты всех встречаешь. Со всеми обедаешь, даже в кино можно с Валентиной успеть. Правда, после шести-семи вечера внутри начинает посасывать – надо что-то сделать, прилечь или побриться. Дома уже что-то мешает: то ли сын громко кричит, то ли Ефим с кем-то зло спорит, показывает дурной характер. И ты в конце концов прощаешься, едешь на завод в ночном трамвае вместе с теми, кто возвращается из театра или просто после шарканья по главной улице.

За несколько военных месяцев все изменилось. Сутки теперь были поделены не на три, а на две смены. И ночная смена начиналась еще при полном свете этого дня. Человек в первый раз уставал еще и в этом дне. Уставал оттого, что несколько часов ждал, пока кончится этот день, и начнется тот, с которого и можно будет начать отсчет истинной ночной смены; уставал от работы и потому, что все люди, работающие и не работающие, к полуночи устают. Тер глаза, утомленные сумерками, а потом темнотой, обожженные электрическим светом, очень сильным, но все же не способным осветить все углы цеха, в котором так много станков, такой густой и дымный воздух и так много темного цвета: глухого цвета асфальтового или цементного пола, пыльного цвета станков, темного цвета необработанного железа. Этот темный цвет поглощал огромное количество электрического света, и глаза человека уставали от постоянной борьбы света и темноты. Так было и раньше, но теперь из-за светомаскировки в цехах убрали много верхних лампочек, светивших всем, и станочникам и подсобникам, и оставили лампочки, направленные на станки. Свет этих ламп рикошетировал от блестящих поверхностей токарных, фрезерных, сверлильных станков, от прессов и ножей гильотин. Всплески рикошетирующего света, то яркие, то тусклые, будто приглашенные в станочной щелочной воде, тоже сильно утомляли людей.

К полуночи приходила, быть может, самая тяжелая за всю ночь усталость. Люди здоровые переживали первый приступ сонливости. Цеховые звуки начинали терять свое истинное значение, таять, гул станков как бы выносился на улицу, а свет лампочки над станком мерк, мерк, становился мягким, красноватым, потому что смотрели на него сквозь сомкнутые веки.

Люди со слабой нервной системой, уже успевшие получить военные неврозы, уставали еще быстрее. Ночная смена не давала им и днем остыть от цехового лязга. Их усталость размыкалась только тогда, когда они работали днем, а ночью спали. А днем не очень-то поспишь, а поспишь – не выспишься. Переход в ночную был теперь особенно тяжел потому, что каждое воскресенье начиналось воскресником.

Но хуже всего приходилось подросткам, пришедшим из ремесленных и

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
фабрично-заводских училищ. Не научившиеся еще планировать свою жизнь не то что в пределах месяца, но даже одного дня, они неожиданно стали мобилизованными. И голод, и холод, и общежитейское сиротство (война в любой момент могла их сделать сиротами настоящими), и ночная смена – все это страшно изнуряло ребят. Все вместе они, конечно, это переносили. Но было удивительно, как это переносил каждый из них.

Ребята первыми заметили, как быстро город из места, где много еды, превратился в место, где голодают. В считанные недели, а может быть, даже дни – теперь это уже трудно вспомнить – продукты схлынули с магазинных полок. Закрылись или почти закрылись многие гастрономические, кондитерские, бакалейные магазины – торговать стало нечем. Раньше они были самыми скромными в городе, а теперь очереди к ним занимали с ночи, на рассвете приходили на переключку и еще в темноте становились на свои места и ждали, пока приедет хлебная развозка.

У взрослых, родившихся в начале века, был опыт, и они постепенно начали приспособливаться. А ребята вдруг остались один на один со всей этой пайковой безнадежностью и невозможностью. Они первые почувствовали, как обезжирился, лишился запахов пищи заводской воздух. Кто бы мог подумать, что раньше в заводском воздухе присутствовали запахи пищи! При больших заводских цехах были столовые. И раньше в них пищей пахло меньше, чем заводом, цехом, спецовками, эфиром, а теперь в этих заводских столовых уже совсем не пахло едой, а только цементными полами, окатанными водой цинковыми раздаточными прилавками и паром.

Обилие станков, железа, цемента, камня – всего того, что нельзя есть, – теперь бросалось в глаза ребятам. Все это и раньше было здесь: электроточилка с грубыми обдирочными и мелкозернистыми шлифовальными камнями, молочного цвета щелочная вода, охлаждающая резцы токарных и сверлильных станков, маслянисто-желтый песок и земля для формовочной массы, рукоятки из прекрасного дерева на фрезерных станках, переплетения электрических проводов, – но раньше все это не мучило своим видом и уж никак не напоминало и как будто бы и не могло напоминать о еде. Еда была сама по себе, а цех сам по себе. Еда была в столовых, но раньше, должно быть, сам воздух в цехе был сытым, и потому, например, так просто можно было смотреть на крашенные зеленым, лоснящиеся от подтекающей смазки кожухи электромоторов или на то, как кто-то набивает металлической лопаткой скользкий и жирный цилиндр тавотницы тавотом. Ребят мучила неосознанная мысль: если всего этого так много, если так много кирпича, бетона, так много точных приборов, мраморных щитов электросети, рубильников, так много тачек и электрокаров, так много красивой медной проволоки и вообще этих шурупов, гаек – простых и сложных вещей, – то должно быть и много еды.

От голода ребята болели изжогой. Это была заводская изжога. Начиналась она не в желудке, а в легких.

И раньше мальчишки любили лазить в отдаленных местах заводского двора, где ржавеет бракованное железо. Теперь их туда вела та же неосознанная мысль – может быть, именно в этих забытых взрослыми местах сохранилось то, что можно есть.

Ночью перед сном подростки были беззащитнее всех.

Правда, они же как будто быстрее всех приспособивались к бессоннице. Из механических цехов многие добровольно переходили в литейный. Взрослых забирали в армию, и бывшие ремесленники становились к формовочным станкам. Багровые вспышки расплавленного металла в копотном свете, пулеметный грохот формовочных станков, рев от конверторного литья, малиновый отсвет остывающих после литья корпусов будущих мин больше всего напоминали фронт и фронтную работу. И многие шли сюда добровольно. «На прорыв», то есть когда в армию уходило особенно много людей, к формовочным станкам становились револьверщики, лекальщики, слесари-инструментальщики и те из ремесленников, которые были здоровьем крепче. Комитет комсомола теперь был почти круглосуточно открыт. Котляров ночью проходил по цеху, останавливался у формовки, просил:

– Ребята, постарайтесь и за меня. – Похлопывал по желтому протезу: – Руку, гады, оторвали, а то бы я их тоже. – И улыбался живым глазом, топорщил в улыбке командирские усики.

В грохоте литейного цеха, в горячке работы не все было слышно из того, что говорил, вернее, кричал Котляров. Но ребята видели, что он поворачивался к ним

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
своей живой, улыбающейся половиной лица.

Литейный, пожалуй, был единственным на заводе цехом, в котором люди почти не замечали перепадов сонливости – слишком плотным был здесь грохот, слишком потной и горячей работа. Да и работали формовщики в паре. Ни на минуту не оставались сами с собой или со своим станком. Зато утром в толпе литейщиков можно было узнать по глазам. Они блестели у них, как у людей, перенесших болезнь на ногах. За неделю работы в литейном вчерашний паренек становился взрослым. Терялась суетливость движений, походка делалась спокойной, расчетливой, как у человека, который знает, зачем бережет силы. С достоинством получали они дополнительный паек за горячую и тяжелую работу. Они становились рабочими, и взрослые рабочие сами постепенно переставали их выделять, считать младшими. Ежедневно в литейном вывешивались две «молнии»: ночная и дневная смена показывали, сколько мин они дали фронту. У «молнии» останавливались, цифры сопоставляли ревниво. Тут же, у этих «молний», вывешивались фронтовые сводки, призывы: «Заменяем у станков тридцать семь товарищей, ушедших на фронт бить наглого врага!», «В цехе как на фронте!», «Фронт ждет снарядов!», «Товарищ литейщик, минута простоя конвейера – двадцать батальонных минометов без мин!»

Самые дисциплинированные рабочие были в литейном цехе. Самоуважению, сосредоточенности учила работа с расплавленным металлом. В цехе поднимался крик, когда мостовой кран нес ковш с металлом. Сам ковш казался черным оттого, что воздух над ним был накален до красноты. Воздух горел над расплавленной поверхностью металла. Металл горел ровно, но искры, которые он выплескивал, на лету схватывались чернотой, окалиной. Бежать надо было от такого ковша, и те, кто его сопровождал, для этого и кричали. Но люди кидались к ковшу, занимали свои места.

Литейщики охотнее всех оставались на сверхурочные...

Во вторую половину ночной смены, когда проходила первая, естественная, здоровая и потому самая тяжелая сонливость, взрослые чувствовали, как сон отступал, а из мышц исчезала та тяжесть, которая делает приятным ощущение своего тела. Печи и руки становились неощущаемыми и потому неверными. Все тело делалось неощущаемым. И все в цехе становилось шире, холоднее и выше. Сосед, который стоял рядом с тобой, теперь, казалось, отодвинулся очень далеко, так что и крикнуть ему трудно – надо напрягаться. Опасно менять ритм своих движений – трудно к нему вернуться. И вообще, если ты раньше ориентировался в шуме станков, мог по желанию прислушаться к тому, что делается за десять метров (для этого надо сосредоточиться на том, что тебе нужно), то теперь всякая сосредоточенность была физически неприятной. Какая-то жилка билась у тебя в виске. Она билась в ритме цехового гула, и менять этот ритм, отвлекаться от этого гула было болезненно. Со стороны не видно, как ты устал. Те же движения, тот же ритм, тот же наклон головы, только кожа на лице посерела, стала как у шофера к концу рабочего дня, будто вся в тонкой бензиновой пыли; но ведь не увидишь глазами, обожженными усталостью и электрическим светом, как меняется цвет кожи на лице твоего соседа. И только по тому, как часто стал промахиваться, закладывая деталь в патрон, как много лишних движений сделал, пока поймал пальцами промасленную заготовку, сам замечаешь, как легки и неверны твои руки.

Однако когда гудела сирена на перерыв, люди не пытались вздремнуть. Переставали свистеть приводные ремни на старых станках, с коротким воем затихали электромоторы новых – наступала тишина, от которой все клетки организма, вибрировавшие в цеховом гуле, успели отвыкнуть. И только в вышине, под потолком цеха, еще продолжало характерно щелкать электрическое реле – это крановщик, который «держал» на крюке своего крана деталь, прежде чем спуститься вниз, ставил ее на место. С минуту крановая каретка, за которой теперь невольно наблюдали все, делала маневры, и промасленный трос начинал разматываться – крюк с грузом шел вниз.

На время перерыва сонливость исчезала. Люди собирались у сушильных печей, у газовых горелок, садились на горячие трубы радиаторов, терли руки ветошью. До войны это имело самый определенный смысл – руки вытирали для того, чтобы развернуть сверток с едой.

Перерыв был самым голодным временем за смену. Как раз в перерыв и вспоминалось, что сейчас время есть. Настроение было напряженным. Часть цехов была эвакуирована, они стояли ободранными, без станков, без электропроводки, с

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
зарядами тола, заложеными в специальные камеры. Эти камеры долбили в стенах цехов специальные команды и те заводские ребята, которые были в эти команды назначены. Камеры были готовы и в тех цехах, где работа шла полным ходом, и в тех, где собственные краны снимали с фундаментов станки. И хотя можно привыкнуть к тому, что работаешь рядом с мощным зарядом тола, забыть об этом все же нельзя. Немцы продолжали наступать, и сообщения в газетах делались все более смутными. И хотя неизвестно, кого в этом нужно винить, виновного нашли бы и тут, у сушильной печи, если бы люди дали волю своему раздражению. Все друг друга знали хорошо, помнили, кто и что до войны говорил на собраниях. Однако настроение было мрачное, а разговоры мрачными не были. Говорили те, кто умел это делать лихо. В ходу была шутка о калориях. О том, что тонна воды по калорийности заменяет грамм сливочного масла.

Вчерашние ремесленники, мальчишки, учились здесь тому, как вести себя на заводе, учились верному тону, обязательному для всех, кто уважает себя. Были мелочи, которые перенимались бессознательно, а были и такие, которые требовали наблюдательности и душевной дисциплины. Как ни мал перерыв, с грязными руками нельзя подойти к людям. Руки надо тщательно отмыть маслом или керосином, продрать их песком, вытереть ветошью. Работаешь в грязи – покажи свою чистоплотность. Если кто-то скромно жует в сторонке, а у тебя хлеб уже съеден, посмотри на него равнодушно и отчужденно. Долго смотреть или слишком быстро отводить глаза одинаково неприлично. Садись на радиатор, на кучу разогретого песка, на металлическую чушку – подложи рабочие рукавицы, свернутый брезентовый фартук, если он у тебя есть, найди кусок картона – просто так не садись. Если в компании больше трех человек, говорить об усталости, слабости, голоде, вообще не то что жаловаться – верх неприличия. Пожаловаться на то, что одолевает сон или голод, можно, только если ты с приятелем вдвоем. А если вас уже трое, лучше всего уверять, что ни спать, ни есть не хочется и никогда не хотелось. Для того чтобы это звучало убедительно, нужно выработать убедительное выражение лица – холодность, за которой просматривается угроза: «Я говорю, значит, так и есть!» Если же тебя уличили в том, что ты дремал над станком, лучше всего посмеяться первому над собой. Вообще голод, холод, сонливость, болезненность годятся только для того, чтобы смеяться над ними. Мальчишки учились достоинству. И тот, кто не стеснялся обнаруживать свою слабость, осуждался и осмеивался прежде всего потому, что он нарушал приличия.

Обнаруживать свою слабость было никак нельзя еще и потому, что, помимо всего прочего, существовало убеждение: может быть, немцы и сильнее нас пока технически, но уж, конечно, духовно наши люди мужественнее. И если это еще не сказалось на фронте, рано или поздно все равно скажется.

Что-либо просить – плохо. Но можно попросить докурить. Однако твое достоинство пострадает меньше, если ты будешь не первым в очереди. Собственно, просит первый – следующие только занимают очередь. Однако и тут есть своя тонкость. Нельзя терять лицо и занимать очередь, скажем, пятым или шестым. Все равно от папиросы ничего не останется.

В общем, немало надо знать, от многих соблазнов нужно себя уберечь, чтобы сохранить достоинство и не потерять лицо. И никогда, кажется, мальчишкам не приходилось так много учиться достоинству, как в эти военные месяцы.

Среди взрослых они выделяли, как сказали бы теперь, авторитетных. На перерывах разыскивали их, старались держаться поближе. Сохраняли им верность, о которой сами взрослые не догадывались. Женя, несомненно, был авторитетным. Нравилась его рассудительность, спокойствие, немногословность. Нравилась готовность к улыбке. Мальчишки покуривали, а Женя не курил, и это нравилось тоже. Мальчишки понимали, что это обеспечивало ему в чем-то независимость. На перерывах многие были обеспокоены желанием покурить, а Женя был выше этого. Чистоплотность и бодрость его тоже, казалось, не зависели от времени суток, от длины смены, от работы, которую он выполнял. За эти месяцы Женя работал не только на переналадке конвейера, не только готовил модели для нового литья, но становился на время прорывов на формовку, разгружал и нагружал вагоны. Теперь часто случались авралы. «Не своя» работа раздражает. Женя тем и был хорош, что не умел обижаться на любую работу. И ребята чувствовали это. Они видели, что Женя так же ловок с лопатой, как с молотком и зубилом. Мальчишки, конечно, не думали об этом такими словами, но они очень хорошо чувствовали: дело не только в работе, в войне – дело в том, как Женя относится ко всей жизни. И снисходителен Женя был. Кто-то накричит на ремесленника, а Женя и раздраженного и обиженного успокоит

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
какой-нибудь фразой...

..Опять гудела сирена. Люди сидели еще несколько минут – вставать никак не хотелось, – но где-то хлопал приводной ремень, над станком зажигалась выключенная на время перерыва лампочка, кто-то включал общий рубильник, и свет зажигался везде. Включался с воем электромотор, с характерным всасывающим звуком щелкало реле на мостовом кране, промасленный трос медленно наматывался на барабан, крюк, покачиваясь, шел вверх. Люди вставали, шли к станкам, а кое-кто только после sireны направлялся в уборную – продлевал себе перерыв. В цехе включался обычный шум. Становилось холоднее. Падала температура на улице и в цехе, падала сопротивляемость организма холоду. Гул снаружи и гуд внутри очень быстро, за несколько минут, съедали бодрость, накопленную во время перерыва. Завод опять включался на полную мощность, а люди уставали все больше и больше, все меньше поспедали за своими станками, все хуже ориентировались в заводском грохоте и электрическом свете. Они теряли в весе и росте. Им было уже слишком много работы, шума, слишком много завода, но они продолжали и продолжали работать. И вдруг среди грохота станков замечали, что дверь на улицу, брошенная кем-то открытой, посерела. Начинался рассвет.

Минут за двадцать до конца смены по цеху проходил кто-то из дневных. То ли мастер явился пораньше участок принимать, то ли у человека дома часы остановились, и он побоялся опоздать. Человека замечали, это было сигналом для всех расслабиться. За десять минут до sireны станки всюду выключались – десять минут даются на уборку рабочего места. Под сводами цеха скапливалась рассветная серость, уши глохли от тишины. Все, что так долго мучило, внезапно отступало, работа закончена, сонливость смыта рассветным холодом, осталась надежда услышать от тех, кто идет на завод, какие-то обнадеживающие новости. И попросить у кого-то докурить. Эта надежда жива, пока ты еще в цехе. Поэтому ночники немного мешкают на своих рабочих местах, собираются у конторки мастера.

С завода идут навстречу потоку дневных. Несколько минут равновесия между сменами – как бы ничейное время, его еще не жалко, и оно проходит по-человечески. Но уже что-то потихоньку начинает сосать внутри: вот-вот прогудит сирена – и время побежит минута за минутой, а еще надо ехать трамваем домой, ложиться в кровать и ловить сон. А сон не будет идти...

* * *

Еще запомнился Женя утренний завод. Ноябрьский заводской двор. Железо отяжелело от первого мороза. Лежит ржавыми ледяными глыбами. Снега еще нет, только земля отвердела и кое-где в ямках сухой, засыпанный пылью лед недавних луж. И все бы ничего – только вот железо! То же на вид, та же ржавчина, но что-то все-таки с ним произошло. Никак оно не может примерзнуть к деревянным подкладкам, на которых лежит, а кажется, что примерзло. Станешь поднимать – не оторвешь. Нельзя этого делать нормальными руками в такой мороз, страшно. Выходя на заводской двор после ночной смены, Женя видит ремесленников и сам чувствует – опять в твоей жизни новое утро, новый мороз, совсем не такой, как в мирное время, а другой, военный мороз. Из рта у тебя идет пар, но пара этого совсем немного, мало тепла у тебя внутри, и с каждой дозой выпущенного пара его становится все меньше и меньше. И весь двор перед тобой в стальных ржавых слитках льда. И железный этот лед ребятам надо брать руками и носить. Поэтому они в эти первые утренние минуты кажутся себе маленькими. Кажутся, пока жалость к самому себе не пройдет несколько мгновений стадий и не упрется в этот железный двор, в эту железную необходимость, в этот холодный мороз с клубами заводского медленного пара над котельной, с длинными двенадцатью часами заводской смены впереди, когда среди дня выдается несколько сравнительно теплых часов, так что даже поверхность сухих ледяных луж на солнце немного помокреет. И вслед за кем-нибудь они шагают из холодного помещения во двор. Мороз неподвижный сменяется для них морозом на ветру. В ледяном помещении холодом охватывало, коченило, а теперь продувает. И тут надо или бежать назад, или же идти вперед, хватать железо и, удивившись тому, что оно поддается, тащить его в цех. Давай, подсобник, работай!

Несколько раз Женя добровольно вызывался разбирать не остывший еще огнеупорный кирпич в электропечи. Кирпич разрушается после нескольких плавок, поэтому одна из двух печей всегда в ремонте, а другая дает сталь. В первые же военные дни в цехе решили сократить сроки ремонта. И Женя с отбойным молотком первым полез в электропечь. Прокаленный вулканическим огнем электропечи, кирпич остро пахнет креозотом, смолой. С печи снята многотонная металлическая крышка, к кирпичу уже можно прикоснуться рукой без рукавицы. Но только первое ощущение таково, что жар

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru кажется терпимым. Через мгновение кожу опалает. Жар поднимается по ногам. Отбойный молоток как будто пробивается к самому центру вулканического жара. На потную кожу садится едкая, пахнущая креозотом, горячая пыль. Несколько отбойных молотков тучей поднимает ее, обостряя запах смолы. Грохот сливается с жаром и темнотой – электрический свет перестает пробиваться сквозь пыль. Толстые каучуковые подошвы из обрезков автомобильных шин накаляются так, что стоять на них невозможно. Через них ты уже прямо соединен с окаменевшим, застывшим в кирпиче огнем вчерашней плавки. И вообще уже можно представить, что творится здесь, когда плавится металл! Ребята выпрыгивают из печи пить воду. Женя кричит:

– Не пейте!

Пить бесполезно. Вода тут же выливается через поры и только сильнее притягивает к коже горячую пыль. Чтобы осела пыль, перестают работать отбойными молотками. Но это даже не пыль – кирпичная пепельная вулканическая пудра. Она так тонка, что легко держится в горячем воздухе, проникает в рот, прикипает к щеке. Но все-таки пепельная темнота рассеивается, видны шланги, идущие к отбойным молоткам, красноватая внутренность разбитого кирпича. Поверхность кирпича – оплавленное, пузырящееся стекло. Но внутри это еще кирпич, а естественная его краснота на изломе кажется неостывшим огнем. Под печи особенно изуродован плавкой. Он весь в фиолетовых наплывах шлака, лопата, наталкиваясь на них, издает стеклянный звук. Кирпич так плотно сплавлен, так слился, что приобрел металлическую плотность и звонкость. Пика молотка отскакивает со звоном, напрасно ищешь место послабее – шов или трещину. Везде кирпичная броня. Не очень понятно даже, зачем ее разбивать. Опять включают молотки – грохот и лихорадочный ритм, военная работа. Но дело подвигается медленно. В цехе дневной свет сменяется на вечерний, а в печи все пыльная, пепельная, электрическая темнота. Никто не уходит – добровольцы! Кричат, ругаются, смеются. Без крика тут работать нельзя.

На заводе теперь работал Женин младший двоюродный брат, сын Семена Николаевича Анатолий. Его «устроили» в электромастерскую при заводском гараже. Работу ему на первых порах дали самую простую – выбивать тонкие длинные палочки, которые удерживали и изолировали на якоре электрообмотку. В мастерской была обычная для таких мастерских чистота. Цементные полы подметены, но подошвы ботинок слегка скользят, все металлические предметы лоснятся от смазки, даже рукоятка молотка на ощупь жирна. Работать не выпачкавшись невозможно. Если раньше Анатолий выпачкивался, он немедленно мылся. Теперь выпачкиваться надо было на весь день. И он по неумелости и неопытности выпачкивался гораздо больше, чем другие. Он выбивал палочки, снимал старую обмотку – «раздевал» электроякоря, – а лицо и шея у него были в масле. В обеденный перерыв он шел к Жене в мастерскую. Там во всю длину комнаты вдоль окон тянулся верстак. Он был похож на большой кухонный стол с дверцами, за которыми были полки с инструментами. А сама доска стола была толстая, тяжелая, со стесанными, скругленными краями и такая промасленная, что масло из нее должно было сочиться. На ней в ряд были укреплены тиски, рядом с тисками лежали толстые железные плитки – маленькие наковальни, – чтобы можно было тут, на верстаке, бить молотком по детали. Еще в мастерской были токарные станки, сверлильный станочек, ручная гильотина и балка или рельс с ручной талью, но главным все-таки был верстак. От него, кажется, от его темного цвета, от залапанных тисков и тускло поблескивающих, поцарапанных плит-наковален (каждая плита оттого, что по ней много били, была вогнута) шло в мастерскую тепло.

Женя, увидев Анатолия, улыбался.

– А, уже время! – говорил он, как будто сам не замечал, пришел ли уже обеденный перерыв, открывал дверцы под своими тисками и доставал сверток с едой.

Женина улыбка никогда не обижала Анатолия. Даже если в мастерской было много народу, Анатолий смотрел на всех, а видел Женю. А Женя освобождал место на верстаке, откладывал в сторону зубило, гвозди, какие-то металлические и деревянные детали.

– Чтобы не съесть, – говорил он.

В свертке бывал хлеб, намазанный жидким повидлом, иногда перловая каша в кастрюльке. Семен Николаевич был в армии, отчима Анатолия взяли еще раньше, мать работала, Анатолий после семилетки пошел на завод, и как-то само собой получилось, что заботу о том, что он будет есть на заводе во время обеденных

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru перерывов, взяла на себя Антонина Николаевна. Исчезли жиры, не хватало соли. Резко уменьшилось не только количество разных продуктов – происходило какое-то военное уничтожение вкусовых качеств этих разных продуктов. Все они стали чем-то напоминать перловку. Но Антонина Николаевна и перловку умела готовить так, чтобы она не имела шрапнельной твердости и вкуса. Как-то поджаривала ее на сухой сковородке, томила в кастрюле, пока у перловки не появлялся слабый гречневый запах. И когда Женя снимал крышку с кастрюльки и подвигал ее к Анатолию, Анатолий слышал этот домашний запах.

И раньше тетя Тоня, ее темная от раннего рыночного и дворового печного загара кожа открытых рук, ее сидящие волосы под платочком – платок для того, чтобы волос не попал в борщ или соус, – как-то соединялись у Анатолия с запахом свежих салатов и сдобного теста. А теперь мысли о тете Тоне совершенно соединились с едой. Антонина Николаевна всегда за столом казалась Анатолию усталой, потому что ела мало. Она бы совсем не ела, но боялась обидеть гостей. Она охотно рассказывала, как вымочить и выварить мясо кролика, чтобы оно по вкусу напоминало куриное, как надо не упустить момент, когда домашняя икра из синеньких станет на сковородке скользкой, но сама в этот момент и на кролика и на икру смотрела равнодушно. И теперь, когда Анатолий приходил в дом в Братском переулке, Антонина Николаевна лезла в короб, ставила перед ним картошку, соль, отрезала ломоть хлеба и смотрела, как он ел. И еще запомнилась тетя Тоня Анатолию с кастрюльками в больницах. Кто-то из пожилых родственников постоянно болел, и Антонина Николаевна неизменно приходила в больницу со своими кастрюльками.

И Женя, и Валентина, и Ефим в эти первые военные месяцы не голодали.

К ноябрю большую половину завода уже вывезли. Еще в начале августа по цехам прошли сумрачные военные в сопровождении главного инженера. И хотя ничего не было сказано, в тот же день все знали – будут вывозить станки, а здание готовить к взрыву. В те дни отношение к армии еще только начало складываться. Не к той армии, которую люди видели на парадах и в кино, а к той, что пришла в город и стала здесь главной властью, властью в форме, которая оттеснила и городскую, и заводскую администрацию, и милицию, и НКВД. Потому что все, что решит армия, теперь касалось каждого. Это была власть, усиленная стократно. С этим чувством люди смотрели на группу военных в полевых гимнастерках. Военные шли вслед за главным инженером. Он им что-то показывал, а они будто и не слушали, только двое что-то записывали, раскрыв свои планшеты.

Завод был одним из крупнейших в стране, с 23 июня, когда с потока была снята обычная продукция, он работал только на войну. И то, что такой завод, расположенный так далеко от фронта, от западной границы, стали подготавливать к взрыву, к уничтожению, поразило всех. Не было цеха, мастерской, складского помещения, где об этом не говорили бы во время обеденных перерывов или перед работой. На военных, готовивших взрывные камеры, смотрели с недоверием. Говорили, что если это предусмотрительность, то она хуже всякой халатности, потому что приводит за собой такую мысль, которая сама по себе не имеет права на существование, – военные расписываются в том, о чем они по природе своей не имеют права даже думать. Они допускают, что немцы могут прийти и сюда. Говорили о том, что это, конечно, тыловые военные, что это следствие тылового страха и тыловой предусмотрительности, за которую надо было бы кое-кого как следует взгреть. И никакие собрания, на которых проводилась специальная разъяснительная работа (нечего паниковать, суровой действительности надо уметь смотреть в глаза, предусмотрительность есть предусмотрительность, приказы не обсуждают, а выполняют и т. д.), не могли помешать этим разговорам. Анатолий их слышал и у себя в электромастерской и у модельщиков, когда приходил к Жене обедать. Он и сам в них участвовал, и дома говорил об этом с матерью.

В эти дни Женя подал заявление в военкомат. У Жени по этому поводу были свои соображения. Он считал, что нескромно добиваться зачисления добровольцем туда, куда тебя и так возьмут по мобилизационному плану. Он с самого начала считал, что война большая, хватит на всех, со дня на день ждал повестки. Но и у него все усиливалось беспокойное чувство: где-то без тебя что-то не так делают. Однако ему сказали, что он нужен на заводе. Перестраивался весь поток, и без высококвалифицированных мастеров не обойтись. Может, Женю этот ответ и удовлетворил бы, но и на всем заводе и в мастерской постоянно происходили изменения: людей забирали в армию. Каждый день кто-то приходил прощаться, а Женя оставался на своем месте, за своим верстаком. Поэтому он еще раз подал

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
заявление. Но и на этот раз его оставили на заводе.

То, что завод готовили к взрыву, потрясло Валентину. Сколько людей в армии, сколько мужиков – и отступают! То, что у немцев больше техники – танков, самолетов, – не казалось Валентине достаточным объяснением того, что немцы наступают. Если бы каждый стоял насмерть, ни танки, ни самолеты не прошли бы. Ее сжигала невозможность перелить свою страсть в других. Раньше, на собраниях, ей казалось, что страсть, сжигающая ее, разлита во всех равномерно. Раньше ей казалось, что нет ничего проще, как перелить свою страсть в других, если, конечно, они, как Ольгин муж Гришка или сама Ольга, не оглохли к голосу большой правды. Валентина знала, что ее считают раздражительной. Женя никогда ей этого не говорил, но, несомненно, считал ее раздражительной. И Антонина Николаевна считала ее раздражительной, а девчонки из общежития, с которыми ей приходилось жить, слегка опасались ее. Но оказывается, она была еще недостаточно решительной и бдительной.

Сейчас не время для спокойных, для тех, кто хорошо считает. Как ни считай, результат будет не в нашу пользу. Вся Европа работает на Гитлера – драться надо, а не считать. Слово «предательство» тоже ей ничего не объясняло. Как можно предать миллион вооруженных мужчин! А ведь речь шла именно о миллионах! Вначале Валентина ждала, что немцев остановит кадровая армия, потом стала ждать, когда в армию вольются рабочие, мобилизованные на заводах, – они будут стоять насмерть. Но немцы продолжали наступать, и Валентина стала присматриваться к тем, кто работал рядом с ней. Она опять вернулась в шисьельный цех, стояла в ряд со всеми, набивала формы шисьельной массой, ее сделали бригадиром. Она первая подписывалась на заем, брала на себя повышенные обязательства и только в одном испытывала неудобство перед своими женщинами – когда оставляла их на собрания. Собраний теперь было очень много. Бывало, до конца смены несколько минут, и все решали, что сегодня обойдется, как вдруг бежал мастер: «После работы в красный уголок!» У Валентины отпрашивались, и она отпускала двух-трех с самыми уважительными причинами, а остальным говорила: «Всем надо явиться». И сама мучилась – опять Вовка дома без нее.

* * *

Женя все больше задерживался на заводе и все меньше вникал в домашние заботы, но когда он приходил, Антонине Николаевне казалось, что вся надежда семьи в Жене. Эвакуировалась, уезжала куда-то в Среднюю Азию соседка врач-пензионерка Розалия Моисеевна. Антонина Николаевна напекла ей в коробе пирожков с картошкой, сказала Жене:

– Отнеси ты. Она уезжает и очень боится.

Еще несколько месяцев назад Розалия Моисеевна казалась Жене бодрой пожилой женщиной. Теперь это была старуха с коричневыми пятнами под глазами и на щеках. Вся мягкая, испуганная. Вот-вот заплачет. Увидела Женю – заплакала:

– Еду умирать. Тяжело старость приходит.

Женя положил на стол пирожки:

– Мать передала.

Еще молча постоял, потом вдруг наклонился и поцеловал старуху. Она благодарила его за то, что он пришел, молодой, к ней, и в глазах ее была безумная надежда, что кто-то такой же молодой и здоровый, как Женя, придет и что-то отменит: войну, немцев, необходимость куда-то ехать, болезни, близкую, неизбежную смерть.

На заводе все более утверждался дух вокзального ожидания, железнодорожных запахов и вокзальных страхов опоздать, не услышать нужного объявления. Больше работы стало для вспомогательных цехов, для электромастерских, для автомастерской и гаража – с фронта стала поступать побитая техника. На первые грузовики ЗИС, на полуторки, на первые танки, пригнанные на железнодорожном эшелоне, на бойцов, их сопровождавших, приходили смотреть всем заводом. Был митинг, на котором Валентина испытала настоящий душевный подъем. Трехтонки эти и полуторки со следами осколков и пуль на бортах побывали под немецким огнем, они были повреждены, но все же уцелели, их можно было отремонтировать и опять отправить на фронт. К технике у Валентины никогда не было такого живого чувства, как у Жени. На заводе она всегда хорошо делала свое дело, как когда-то хорошо

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru училась в школе, но не испытывала особого интереса или любви к своей работе. Она не считала это недостатком – на заводе нужны были сознательность и дисциплина. Но к этим грузовикам с расщепленными пулями бортами, с выбитыми стеклами в кабинах она испытывала сочувствие.

На митинге все обращались к бойцам, сопровождавшим эшелон. Обещали им трудиться не покладая рук, давать фронту больше оружия. У бойцов были обветренные, худые лица, шинели их тоже были обветренные, как белье, долго висевшее на веревке во дворе, – в открытых вагонах эшелона их долго продувало ветром. На митинге они тоже выступали охотно, но потом, когда их расспрашивали поодиночке, ничего толком рассказать не могли.

На этом митинге было решено построить свой бронепоезд и посадить на него свою, заводскую команду. Бронепоезд составляли из нескольких бронированных платформ с пушками и зенитными пулеметами и бронированного паровоза. В команду были зачислены люди, казавшиеся Валентине пожилыми, – бывшие красногвардейцы, когда-то водившие бронепоезд. Бронепоезд провозжали на фронт, и командир его в кубанской папахе с красным верхом говорил на митинге речь.

Но в остальном многое еще шло как обычно, и Нина-маленькая говорила Валентине:

– Валя, я должна тебе рассказать. Меня недавно познакомили с одним капитаном. – Лицо у Нины-маленькой только что было старым, усталым, а тут она заулыбалась. – Володей. Женатый. Где их, неженатых, возьмешь! Говорю этому Володе: «Саша! Вы, – говорю, – Володя, не обижаетесь, что я вас Сашей называю? У меня был друг по имени Саша. Он меня обидел».

В Валентиной бригаде работали мобилизованные колхозницы. Работали они дисциплинированно, жили в общежитии и на квартирах и казались Валентине похожими друг на друга своей худощавостью, своими увеличенными работой мужскими кистями сильных рук. Но Валентина с удивлением замечала какую-то непонятную ей ревность и соперничество между ними. Для них имело значение, кто где жил, кем работал. Худенькая, маленькая, с голубыми внимательными глазками тетечка лет сорока спрашивала во время перерыва двух женщин помоложе:

– Девки, а кем вы дома работали?

Девки, которые ели домашнюю снесь, завернутую в платочке, набычились, долго молчали. Потом одна спросила;

– А вам зачем?

– Да просто.

– А-а! – И девки переглянулись с непонятым Валентине вызовом.

– Так, правда, кем?

– Я в яслях работала, – с тем же вызовом сказала первая.

– В детском саду?

– В я-с-лях!

Вторая молчала. Тетечка у нее спросила:

– А ты?

– Я лаборантка.

– А я простая колхозница, – сказала тетечка, – выращиваю виноград, а вы вино пьете.

Она сказала это наставительно, с торжеством. По каким-то недоступным Валентине признакам она догадалась, что эти две самого колхозного, самого рабочего вида девки все-таки не простые колхозницы.

– А где вы выращиваете виноград? – спросила ее Валентина.

Тетечка посмотрела на нее своими голубыми глазками.

– Да нет, это я так. У нас в колхозе шестьдесят гектаров винограда, так я там и не работаю.

Та, что работала в яслях, была решительная, обо всем имела свое мнение, часто ставившее Валентину в тупик.

– Не люблю Игоря Ильинского, – говорила она. – Что там любить! Умный человек дурака с себя строит.

За ней ухаживал колхозный хлопец, которому через месяц надо было идти в армию. Он подходил к ней во время перерыва, и она затевала с ним громкий разговор:

– Чего смотришь? Скажи врачу, пусть тебе глазные капли пропишет.

Парень прятался за чью-нибудь спину и оттуда выглядывал.

– Чего, как уж под вилами, крутишься? – спрашивала она.

– Да вот человек наклоняется, и я наклоняюсь.

– Не слышу.

– Повторять неохота.

– Повтори.

– Один раз пожар горит, – говорил парень и крутил головой. – Девчата из Орловского!

Орловское было районным центром. И «девчата из Орловского» звучало у парня как «столичные девчата» – с восхищением и осуждением.

Девки не боялись никакой работы, но дымный воздух литейного, запах формовочной земли их пугали. Та, что работала в яслях, говорила:

– По мне, так пусть камни с неба падают, лишь бы на свежем воздухе. А разве это земля? – Она брала формовочную землю. – Скажи ты, что с землей делают?

Это удивляло и раздражало Валентину. На заводе появились новые люди, много новых людей, и у всех оказывались какие-то неожиданные взгляды на вещи, с которыми Валентина давно свыклась. Люди эти как бы покушались на Валентину ясность, их надо было воспитывать. А за ними чувствовалось еще множество таких же людей. И это Валентину раздражало.

Та, что работала в яслях, чем-то болела, но не боялась физических страданий, первой шла сдавать кровь для раненых и говорила девкам:

– Фу, чего там бояться! У меня печень больная, так у меня один раз полтора часа брали желчь на анализ – плохо желчь шла. И ничего!

Была в бригаде Валентины еще одна цепкая, языкатая женщина, которая о себе говорила:

– Я от семи собак отбрешусь. Ты лучше со мной не связывайся.

Было ей под шестьдесят, и она охотно вспоминала:

– Я помню еще то время, когда на базар ходили с вот такой кошелкой из лыка или из мочала. Да, из мочала. За мясо платили четыре копейки. Четыре копейки за фунт...

Звали ее Мефодьевна. Валентина ее очень ценила. Мефодьевна никогда не унывала и как будто не уставала, хвасталась тем, что никогда не болела.

– Девчата, чем порошки принимать, лучше бы песню спели. Я никогда порошков не

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru принимаю. Лучше на улицу пойду, похоже, погуляю.

Валентина жаловалась Жене, что ее утомляют бригадирские дела, в которые входит обязанность выслушивать рассказы Нины-маленькой, вникать в заботы других работниц. На самом деле даже рассказы Нины-маленькой она выслушивала с жгучим интересом. И сельских родственников и родственниц своих девушек приводила ночевать к Антонине Николаевне, когда те приезжали в город. Валентина уставала так же, как и все, и ноги у нее отекали от двенадцатичасового стояния, и руки отсыхали, разбитые деревянным пестиком, которым она утрамбовывала шишельную массу. Но стоило ей немного отдохнуть, и она опять испытывала острый интерес к жизни своих товарок. До войны ей казалось, что она все об этой жизни знает по своей окраине, и охотно отдалялась от этой жизни. А теперь она опять тут была своей. И Женя тоже был посвящен в эту жизнь, потому что Валентина, имея в виду какую-то постоянную свою мысль, постоянное свое раздражение против Жени, рассказывала ему, как трудно приходится ее девушкам. «Бедные бабы», – говорила она ему.

Если на заводском комсомольском собрании осуждались чьи-то антиобщественные поступки, Валентина голосовала за самые суровые решения. Но своих девушек она защищала до последнего.

Во время перерыва, когда в цехе пригасал свет, к Валентининым стерженщицам собирались формовщики. Приходили ребята из дальних цехов. А за старшими тянулись младшие – чуть в стороне устраивались ремесленники и фезеушники.

Стал появляться здесь и Анатолий. Он еще не оценил по-настоящему свою электромастерскую, еще не понял, что это прекраснейшее место. Волнения возникают, только когда приходят люди за отремонтированным электромотором. Его включают тут же в мастерской, он гудит, а сдающие и принимающие, пока его пробуют, спорят и ругаются. Только в эти минуты Анатолий еще чувствует себя непосвященным. Потолок в мастерской высокий, и днем в комнате светло от одной его высоты. Ни грохота, ни звона. Так, позвякивание или скрежет напильника. И оттого, что здесь тихо и тепло, оттого, что тут мало людей, Анатолия тянет туда, где шумно и собирается народ. Во время большого перерыва Анатолий приходил к шишельному цеху, устраивался с ремесленниками и изо всех сил старался не показать, как его интересуют разговоры ухаживающих друг за другом мужчин и женщин.

Крупная и, должно быть, здоровая и сильная стерженщица с покрашенным большим ртом приставала к молодому парню. Парню было больше семнадцати лет, но по здоровью его не брали в армию, он этого стеснялся и говорил, что ему семнадцать. Стерженщица была ему чем-то опасна – Анатолий это видел. Она и говорила и шутила свободно. И приставала свободно, а парень только отбивался и путался. Парень работал наладчиком. Вообще-то он сутуловатый, сумрачный, молчаливый и глуповато-значительный, а тут – никуда. Девка ему говорит:

– Пойдем? – и смеется.

– Не могу, – говорит он.

– Может, не умеешь? Я научу!

– Я для тебя слишком мал.

– Клещами вытянем! – смеется девка. – Пойдем в кузнечный – попробуем.

Тут парень впервые храбрится:

– Одна попробовала – семерых родила.

Видно, что фраза эта ему чужая. Он где-то ее слышал и расхрабрился ее произнести. Девка говорит:

– Рискую. Пошли.

К разговору многие прислушиваются. Похоже, что стерженщица действительно пойдет. Все смеются, а парень только краснеет и отдувается.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru доставалось и Анатолию. Раза два его по какому-то поводу замечали. Он краснел и каменел от застенчивости, давал себе слово сюда не приходить, но на следующий день приходил опять. А однажды какая-то Майя назначила ему свидание. В ночной смене его вызвала из электромастерской молоденькая подсобница. Некоторое время она его молча и значительно рассматривала, потом сказала:

– Я от одной девушки. Ты Майю знаешь?

Анатолий не знал, кто такая Майя, но не посмел – именно не посмел – этого сказать.

– Знаю.

В его памяти и правда возник какой-то неясный образ.

– Приходи к выходу из цеха.

Анатолий знал это место. Там, между дверью, ведущей на цеховой двор, и второй дверью, ведущей в сам цех, из-за светомаскировки была абсолютная темнота. Свидания назначались в укромном уголке под лестницей. Там Анатолия ждали. Он услышал в темноте чье-то дыхание, потом его взяли за руку.

– Это я, – предупреждающе сказала подсобница. – А вот Майя. – И она вложила в руку Анатолия чью-то шершавую холодную руку. – Оставайтесь, – сказала подсобница, – а я пойду.

Рука, шершавая, крупная, рабочая, была по-женски расслаблена. Но Анатолий не знал, что с ней делать – все-таки это была слишком крупная рука. За эти несколько минут он привязался к подсобнице и неизвестно почему надеялся, что Майя – это она сама. Девушка в темноте подвинулась к нему. Она ждала. Так они стояли молча, наконец Майя спросила:

– Ты любишь книжки читать?

– Люблю.

– Когда я тебя увидела, сразу подумала: «У него, наверно, есть интересные книжки». Принеси какую-нибудь.

Голос у Майи был взрослый и тоже как будто бы шершавый, как ее рука. Анатолий не то чтобы подумал – он еще не умел так думать, – почувствовал: Майя книжек не читает. Из цеха сквозняком, который дул под лестницей, доносило гул и звяканье. От Майиной спецовки пахло холодом и ржавчиной. Руку ее надо было греть – Анатолий догадывался об этом, – он даже попробовал осторожно потереть ее, но только чувствовал, какая она шершавая.

– Пойду, – сказала Майя, – а то мастер кинется.

Анатолий постоял еще несколько минут – боялся выйти с Майей на свет. Закончилось первое в его жизни свидание. Он потом так и не узнал, какая это Майя вызывала его под лестницу.

Цеховому начальству не нравилось, что к стерженщицам во время перерыва собирается много парней. Валентину вызвали в комитет комсомола к Котлярову. Котляров смотрел на нее своим стеклянным глазом, стучал желтым протезом по столу, жесткие усики его командирски топорщились.

– Война идет, товарищ, – говорил он, – война!

Потом он с Медниковой – работницей профсоюзного комитета, молодой и энергичной женщиной, – пришел на производственное собрание в цех. Собрание шло в красном уголке литейного. Собрание, как всегда, началось после смены. В красном уголке было еще холоднее, чем в цехе. Медникова и Котляров сразу же по-хозяйски прошли в президиум. Глядя своим пристальным стеклянным глазом в зал, Котляров долго говорил о сложности исторического момента. Потом он уступил место на трибуне Медниковой. Она была в пальто и сером пуховом платке. Перед войной Медникова разошлась с мужем и вышла замуж за главного технолога завода. История эта приобрела огласку потому, что жена технолога жаловалась в партком.

Медникова сказала, что не все стерженщицы понимают, какая ответственность сейчас легла на плечи женщин. Она назвала Нину-маленькую, большеротую стерженщицу Нюру, но тут ее перебили.

– Позорница! – крикнула ей из зала Мефодьевна. – На весь завод опозорилась, а теперь девок позоришь! За что ж ты их позоришь?

Котляров застучал протезом по столу. Медникова побледнела под своим пуховым платком:

– Все равно я скажу...

– Все равно! – крикнула Мефодьевна. – Раньше дедушка плевал на пол, а теперь на бороду! Все равно!

Мефодьевну надо было остановить, но Валентина сидела молча. Она знала, что стучащий по столу протезом котляров сейчас разыскивает взглядом ее взгляд, и потому смотрела себе под ноги.

Котляров поднялся из-за стола, повернулся к залу своей живой, смущающейся половиной лица:

– Бабоньки, женщины! Никто никого не собирался позорить. – И он потер рукой протез. – Бабушку черти на том свете заждались, а она тут всех мутит.

– Правильно, заждались, – сказала Мефодьевна. – Согласна! Только ты, нахал, и туда первым придешь.

В зале шумели, смеялись. Первые ряды стульев были пустыми – как ни уговаривал в начале собрания Котляров, никто сюда не садился. Пустых рядов было довольно много, потому что зал цехового красного уголка был большим. В пятом, шестом сидели по двое, трое, а начиная с восьмого или девятого сидели плотно в ряд. Мужчин почти не было. Только у дверей курила группка. Эти были из ночной смены, они пришли сюда покурить и остались послушать.

Валентина взяла слово и призвала всех к порядку. Говорила о необходимости соблюдать жесточайшую рабочую дисциплину. Бойцы на фронте отдают свои жизни, и мы ради победы над проклятым врагом должны не щадить ни сил своих, ни самой жизни. От того, как мы здесь трудимся, зависит судьба наших бойцов на фронте. Валентина перечислила тех, кто работает хорошо. И среди тех, кого она называла, были фамилии Нины-маленькой, Нюрки и Мефодьевны.

Женя удивлялся энергии Валентины, ее умению разобраться во всех этих делах. Тому, что ей на все это хватает интереса. Особенно Валентина любила рассказывать ему, как воюет со своим мужем, пьяницей и хамом, некрасивая, но быстрая на язык фрося. Это была долгая война со вмешательством родственников, заводской общественности и даже милиции. Каждый вечер там что-нибудь случалось, и поэтому на каждое утро у фроси был готов новый рассказ.

– Пришла с работы, – говорила она Валентине, – надышалась в цеху до рвоты, а он заявляет: «Чего лежишь? Уходи. Хочу лежать просторно». Перешла к дочке на кровать. И отсюда гонит. Спала у соседки на полу. Где я только не спала! Утром приду – спрашивает, где была. Не верит, что это он меня гонял.

– Бедная баба, – говорила Валентина Жене. – Кто-то под руку с женой идет, а она завидует: «Мне бы месяц на свете было бы довольно пожить, только нашелся бы человек, который бы ко мне ласково относился». Вот до чего женщину довели!

Женя предлагал простейшие решения:

– Пусть разойдется! Зачем она с ним живет?

Валентина замыкалась. Она и сама бы по-настоящему объяснить этого не смогла, но она-то прекрасно понимала, почему фрося не уходит от Федора. Женя видел, что Валентина не просто рассказывает ему о несчастьях своих женщин. Таким странным способом она выясняет отношения с ним, Женей. И удивляется: он-то не пьяница, не хам. Откуда же это непонятное, мстительное раздражение, с которым Валентина

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru рассказывала ему о Фросе и Федоре? Будто и не о Федоре речь ведет, а о нем самом, Жене.

Иногда Женя пытался возражать:

– Ну почему «бедные бабы»? Теперь все равны. Ты бы не стала со мной жить, если бы я тебе был не по душе?

– Тебя давно пора бросить, – говорила Валентина.

Фрося первой в Валентиной бригаде получила похоронную. Она не вышла на работу – заболела. И Валентина с Мефодьевной пошли ее проведать. В хате было холодно. Фрося как выходила на стук, так в пальто и платке села на кровать, а Валентина и Мефодьевна сели на стулья напротив нее. На табуретке в углу ведро с водой, накрытое чистой дикточкой. На дикточке кружка. Стол придвинут к окну. Небольшой книжный шкафчик, который используется не для хранения книг, а для посуды. Детская кроватка. На полу по углам поломанные игрушки.

Фрося рассказывала, как ей было плохо. Как прочла похоронную, голову заломило, поясницу, ноги.

– Я ж худая, – говорила она немного смущенно, – так мне мослы крутило.

Мефодьевна сказала:

– А ты больше ходи, а то слабость тебя одолеет.

– Я хожу, – сказала Фрося.

В комнату решительной походкой вошла пятилетняя Фросина дочка. Увидев маленькую коробку с конфетами, которую Валентина с Мефодьевной сумели достать для Фроси, она сказала:

– Я возьму торт.

– Это не торт, – сказала Фрося.

– А что?

– Конфеты, – сказала Мефодьевна. – Их твоей больной маме принесли.

Но мамина болезнь не интересовала девочку. Она открыла коробку и забрала бы все конфеты, если бы Мефодьевна не остановила ее.

Потом в бригаде сразу три женщины получили похоронные. Получила похоронную и та, что работала в яслях. Мефодьевна ее утешала:

– По пехоте бьют. Твой же, наверно, в пехоте. Это тем, кто в танках да самолетах, полегче.

Пришли письма и от первых раненых.

А в Валентиной семье умерла баба Васса...

* * *

Утром Женя отводил Вовку в детский садик. Садик был не по дороге на завод. Удобнее, конечно, было бы на заводе, но туда Валентина не могла дожидаться очереди. Она просила Женю поговорить с начальником цеха, сходить к директору – они бы ему не отказали, – но Женя упирался. Валентина попросила Ефима, и тот за три дня сделал то, что Женя не мог сделать за полгода. Зато и ездить теперь далеко.

Лицо Жени теперь было как бы в несмываемом загаре – и утром он не мог смыть заводскую усталость. От трамвайной остановки к садику Женя вел Вовку быстро. Бежать Вовка отказался.

– Почему? – спросил Женя.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– Драчуны бегают.

– А ты не драчун?

– Не хочу сам себя наказывать.

– Как это? – изумился Женя.

Оказалось, так говорит воспитательница: «Кто дерется, тот сам себя наказывает». Женя засмеялся.

– Драчунов наказывают?

Вовка кивнул.

– А они все равно дерутся?

– А-а! – Вовка почуял неладное. – Мне скучно драться.

В садике обнаружилось, что Женя забыл дома Вовкину сменную обувь. Женя извинился перед воспитательницей, вытер подошвы Вовкиных ботинок тряпкой, потом достал носовой платок и протер ботинки платком.

– Вы уж извините нас, – сказал он воспитательнице.

– Да что уж теперь, – сказала она. – Мы уж за этим и не следим.

Он стал прощаться с Вовкой, и Вовка заволновался:

– Привези мне тапочки!

Женя опять наклонился с носовым платком к Вовкиным ботинкам:

– Но мы же попросили разрешения.

– Галина Петровна не разрешит.

– Кто эта Галина Петровна?

– Другая воспитательница. Она после сна придет. – Вовка говорил шепотом, испуганно смотрел на Женю.

– Давай! – сказал Женя нетерпеливо: он мог опоздать на завод. – Давай, давай, – поворачивал он Вовку, освобождая его от теплой одежды и подталкивая к двери детской комнаты.

Женя шел к трамваю и думал, что, должно быть, Вовке будет очень трудно объяснить Галине Петровне, что тапочки забыли дома, а в ботинках разрешили ходить. То, что жизнь открылась Вовке такой сложной, Женю ставило в тупик. Жизнь могла быть голодной, трудной, но сложной она Женю никогда не казалась. Год тому назад Женя пришел после работы в садик за Вовкой. Вовка был зареванный – целый день выдерживал осаду, не давал сделать себе прививку. Их двое на весь садик оставалось таких отчаянных трусишек – девочка и он.

Пожилая женщина-врач осуждающе посмотрела на Женю:

– Папа, помогите нам.

Она устала уговаривать Вовку. Женя сказал смущенно:

– Он боится врачей, много болел. – И предложил Вовке: – Доктор сделает укол мне, а потом тебе.

Вовка смотрел, как Женя закатывал рукав и подставлял руку, но закричал опять, когда врач направилась к нему. Уже сделали укол девочке, и она пришла уговаривать Вовку, приходили воспитательницы, мальчики из Вовкиной группы, но он, оглохший, ослепший, никого не видел и не слышал. Тогда Женя крепко взял его за руку и сказал:

– Делайте укол.

Вовка рванулся:

– Разве ты отец!

Врач, уже направившаяся к Вовке со шприцем, остановилась. Она сказала:

– Папа, уходите. Все-таки у нас без родителей лучше получается.

Женя вышел в коридор, услышал звуки борьбы, отчаянный визг.

Дома Женя рассказал Валентине, как Вовка кричал: «Разве ты отец!»

Конечно, все это было оттого, что Вовка много болел. Трехлетний Вовка подходил к большим собакам, лез в воду, захлебывался и опять лез. Но Вовка рос, и росли страхи. Едва он засыпал и начинал посапывать, Валентина принималась считать его дыхание. Она и ночью поднималась – ей все казалось, что он часто дышит и у него поднимается температура. Увы, она очень часто не ошибалась. В груди у Вовки начинал играть органчик, щечки его розовели, расцветали, он раскидывался, а над тельцем его поднимался потливый температурный парок. Теперь он боялся и собак, и воды, и врачей. Играл охотнее с теми, кто был поменьше и не мог обидеть.

То, что Валентина любит Вовку, было понятно. Было привычно, что Антонина Николаевна любит детей. Женя и сам к ним неплохо относился. Хотя не очень-то занимался постоянно гостившими в доме младшими двоюродными братьями и сестрами. Теперь он понимал это изумление Антонины Николаевны, которая в какой уже раз в своей жизни поражается тому, что живой кусочек мяса, который смотрит на мир совершенно прозрачными глазами, вдруг сам начинает становиться целым миром. Женя приходил с работы, и ему рассказывали: «Вовка завозился у трюмо, потом затих и тяжело так вздохнул: „Ах ты, горе луковое. Боже ты мой!“» Встревоженная неожиданной тишиной, Антонина Николаевна подошла к трюмо. Все как будто было в порядке. И только потом обнаружилось, что Вовка запихал в пузырек с вазелином колпачок от Валентиновой авторучки.

Не терпевший никакого беспорядка Ефим жутковато скалил желтые зубы – растроганно улыбался.

В доме всегда были дети и всегда повторялись какие-то детские словечки. Игорек из Одессы говорил «тути» – туфли. Кто-то говорил «па по полу». К Вовкиным словечкам прислушивались особенно. Детские словечки были в доме всегда, и Женя не очень обращал на них внимание. Теперь он знал, как теплеет от них жизнь. А недавно Женя заметил, что Вовка в трамвае перестал смотреть в окно – лицо у Вовки было отвлеченным. И Женя вздрогнул от догадки – взрослеет сын, мечтает.

Женя немного думал об этом, пока шел от садика к трамвайной остановке. Потом ехал в переполненном вагоне, шел на завод. Работал в первую смену и остался на вторую потому, что в ночную не вышел заболевший модельщик.

Ночью Женю вызвали в инструментальный цех. Он там работал, а потом прилег за ящиками на часик – все-таки почти сутки на работе. Когда он вернулся к себе в мастерскую, ему сказали:

– Жена тебя разыскивала. Сказала: «Передайте Женьке, что он зараза. Баба Васса тяжело заболела».

Женя посмотрел на электрические цеховые часы. Стрелки показывали без десяти минут четыре. Он и без часов мог определить время. По усталости, по тому, что как будто стало легче дышать – ночь уже преломилась, похолодало, и воздух в литейке прочистился. По тому, как изменились звуки – звякало теперь как будто бы не в цехе, а просто звенело в ушах, как у пьяного. То, что Валентина назвала его заразой, Женю не удивило. Он привык к Валентиновой раздражительности. Вернее, к ее постоянной готовности на ссору. Валентина не спорила даже, а как бы сразу прекращала отношения, будто все годы совместной жизни не имели никакого значения. Женя считал, что в Валентине так сильны гордость, самолюбие, принципы, что они каждый раз берут в ее душе верх над любовью к нему. И уважал Валентину за силу принципов, гордость и самолюбие. Здравый смысл, которым Женя был наделен

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru от природы, говорил ему, что, пожалуй, слишком часто и легко идет Валентина на ссору. Но здравому смыслу Женя привык не доверять, а принципы, принципиальность, стойкость в принципах ставил очень высоко. Самого себя Женя считал человеком недостаточно принципиальным. Это его немного угнетало, хотя он давно решил, что этот уровень принципиальности соответствует его характеру и с этим ничего не поделаешь. Он не любил тех, кто брал на себя больше, чем мог. Валентина не брала на себя больше, чем могла, ссорилась сразу, никогда не передумывала, отключалась – не слышала или не слушала – и никогда не уступала ни одного слова. За все годы, которые они прожили вместе, она ни разу не пришла первой мириться. И бог знает, чем бы кончилась любая из этих ссор, если бы Женя не брал каждый раз вину на себя. Вообще-то вначале он считал правым себя, готов был даже поспорить – верил в то, что люди, придающие словам одинаковое значение, должны быстро договориться. Ссоры Женя терпеть не мог – в семье ссорился только Ефим. Но он всегда был готов к ссоре. К этому привыкли, что желчный, вздорный характер Ефима объединял всех остальных. Он был как глухой среди говорящих. А когда говорил он, глохли остальные. Женя привык к уступчивости матери и удивлялся, когда Валентина ее осуждала: «Она все сделает, чтобы не заметить, не увидеть! Лишь бы спокойствие не нарушалось!» к ссорам с Валентиной Женя никак привыкнуть не мог. Однако быстрота, с которой она вспыхивала, ее замкнутость во время ссоры, готовность отстаивать свое до конца и чего бы это ни стоило, как раз и убеждали Женю в том, что Валентина права. Сам Женя, натолкнувшись на Валентинино возмущение, начинал рассуждать. То есть пытался разобраться, кто прав, кто виноват. Он считал, что так же поступает и Валентина. И так как Валентина только укреплялась в своей готовности завести ссору как угодно далеко, Женя начинал подозревать себя в душевной черствости. Он искал, где виноват он, и, конечно, находил. Как ни странно, эти ссоры и то обстоятельство, что Валентина была единственным человеком, который ссорился с Женей столь решительно и столь решительно его осуждал, увеличивало Женино уважение к ней. У приятелей были жены с ровными или вздорными характерами, мгновенно ссорившиеся и мгновенно мирившиеся. Или вообще не ссорившиеся. Жены, любившие мужей за то, что они пьют, и за то, что не пьют, за то, что умны и не очень умны. Были ревнивые жены, жены – завистницы, рукодельницы, жены – общественницы и домоседки. Второй Валентины среди них не было. Она жила с ним не потому, что ей это было хорошо, – она еще и судила его, старалась воспитать. И так как Женя всячески стремился к саморазвитию, то и эта нравственная гимнастика казалась ему полезной даже тогда, когда она была ему неприятна.

Женя, если бы у него спросили, не сразу вспомнил бы, какого цвета глаза у Валентины, как не сразу вспомнил бы, какие глаза у него самого. Он не думал о Валентине как о другом, отдельном от себя человеке. Ему и в голову не пришло бы, что она могла быть другого роста, что волосы ее могли иметь другой цвет. Если Валентина делала новую прическу, Жене это мешало. Несколько минут ему было нужно, чтобы привыкнуть к ней снова. А вот новое платье или кофточка были Жене приятны – он лучше видел то, что в Валентине своего, родного. Пожалуй, только в первые дни знакомства Женя видел Валентину со стороны. Потом это исчезло, и это означало для Жени любовь. Без Валентины он испытывал беспокойство и шел к ней, чтобы успокоиться. И когда они поженились, он прекращал все ссоры, чтобы успокоиться, не чувствовать ее отдельно от себя. Женя обо всем этом не думал, он не любил подыскивать слова тому, для чего слов нет. Но Валентинина готовность превратить каждую размолвку в ссору беспокоила его. Он чувствовал что-то незаконное в том, что сама Валентина так ясно видит его со стороны. В законах супружеской любви этого не должно было быть. Однако время сейчас, наверное, было такое. И то беспокойство, которое Валентина вносила в семью, ту требовательность, с которой она обращалась к нему, Женя считал выражением времени. Валентина была передовой женщиной, и Женя этим гордился. Он гордился ее честностью, самостоятельностью, независимостью от родителей, от него самого, от тех привычек, которые сразу же проникали в другие семьи, стоило молодым ребятам сойтись. Если Жене случалось уезжать, она не провожала и не встречала его. Если Женя заболел, она не нянчилась с ним, и Женя поднимался с постели раньше, чем поднялся бы, если бы за ним ухаживала мать. Валентина и сама в болезни была терпелива, вынослива.

Единственным человеком, от которого Валентина была в полной зависимости, был Вовка.

Все это Женя знал давно. Поэтому он не обиделся на то, что Валентина назвала его заразой. Хуже было, что она не сказала, что ему нужно делать. Женя продолжал работать, но потом все-таки отпросился, чтобы выйти с завода на час раньше и

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
поехать с первым трамваем.

Поехал он прямо на окраину, не заезжая домой.

Было около семи, когда он, постучав, вошел в дом Валентиной матери. В комнате горела лампа. Ее свет отражался на старой желтой клеенке. Кровать была убрана. Поверх одеяла на ней лежала глухая бабка. Она приподнялась на локте, чтобы посмотреть на Женю. Ольга собиралась на работу, Надежда Пахомовна шила, выложив из коробки на стол нитки и какие-то лоскуты. Увидев Женю, обе женщины удивились. Потом Надежда Пахомовна догадалась:

– Женя, а где Валентина? – и будто нашла верный тон: – А Валентина тебя вчера искала!

Ольга перебила ее:

– Женя, тебе надо к Юлке. Это они тебя искали. Я тебя провожу.

У Юлки тоже как будто не сразу догадались, зачем Женя здесь. В комнате было холодно. На табуретках, на стульях в платках и пальто сидели несколько женщин. Чувствовалось, что Юлька – центр этой компании.

– Женя, – сказала она, – мы тебя вчера так искали. Мужиков дома нет. Степан только сегодня вернется из поездки, дед не в уме стал, твой тесть в мостопоезде. Я и послала за Валентиной и за тобой. Взяли у нас бабку в больницу. Я с ней поехала. Ей операцию нужно делать, а хирург вышел к санитарам: «Несите ее в инфекционное». Те за носилки, а я не даю. Он кричит: «Я здесь распоряжаюсь!» А я говорю санитарам: «Кто вас так учил носилки носить? Разворачивайте! Несите головой вперед!» Этого хирурга Юрий Осипович зовут.

За спиной Жени открылась дверь, вошла Надежда Пахомовна. Она остановилась у стены. Сидевшая рядом с Юлкой молодая женщина сказала:

– Юля, всего не расскажешь. Женя не знает, зачем его позвали. Давай я ему скажу. Женя, я медсестра. Я тоже с Юлей ездила. Мы там, конечно, нашумели, накричали. Хирург, может, и не захотел бабку принять. А у вас там есть знакомый рентгенолог. И вы сами с рентгенологами работали.

Женя и сам давно понял, зачем его позвали. Он сказал:

– Не рентгенолог. Наладчик. Хорошо, я поеду.

Он опять пошел на трамвайную остановку. Он устал, хотел спать. Дело, которое ему навязывали, казалось ему бессмысленным. Сам Женя с врачами никогда дела не имел, но никогда не сомневался в том, что они говорили. Если бы заболела Антонина Николаевна и врачи положили бы ее в инфекционное отделение, ему бы и в голову не пришло протестовать. А эти женщины скандалили, спорили с врачами, чего-то требовали. В любом другом случае он бы отказался от того, что считал бессмысленным. Но было здесь нечто такое, от чего Женя отказаться не мог. И вовсе не потому, что Валентина назвала его заразой.

Николая Женя отыскал в той самой аппаратной, в которой он когда-то помогал ему. Николай был в гимнастерке, сапогах, но шапочка у него была белая, накрахмаленная. В армию его призвали, но он и в армии сумел устроиться так, чтобы остаться в городе.

– Юрий Осипович? – удивился он. – А, Юрка! Так он моложе тебя.

Они пошли в хирургическое отделение. Оттого, что по двору ходили раненые в серых халатах, больница утратила часть своей воинственности. Стала напоминать казарму. Раненые выходили на улицу к трамвайной остановке. Там женщины торговали семечками. Сюда же подносили махорку в мешочках. Махоркой стали торговать чуть ли не на второй день войны.

В приемнике хирургического отделения Николай велел Жене подождать. Пока Женя сидел на скамейке, мимо него проходили хромящие, несущие перед собой перебинтованные руки, пронесли бледного от потери крови раненого. Лицо его было страшно не зеленоватой бледностью, а равнодушием. Несколько раз санитарка

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru выносила ведро с грязной водой. Женя стал засыпать, когда пришел Николай и сказал, что надо подождать еще.

– Занят, – сказал он.

Женя кивнул, не раскрывая глаз.

..Молодость Юрия Осиповича смутила Женю. Казалось, только белый халат мешал этому мускулисту парню делать быстрые, резкие движения. Странно было говорить с ним о болезни семидесятипятилетней женщины.

– Вчера тут было много ваших родственников, – сказал Юрий Осипович. – Ваши родственники... – И он обескураженно покрутил головой. – Не понимаю, почему они так боятся инфекционного отделения. Самая малолюдная палата сейчас. Операцию ваша бабушка не выдержит. Я вам честно скажу, у нее нет, – и он посмотрел на Женю и пожал плечами, – или, скажем так, почти нет шансов. Я не мог взять ее в хирургическое отделение. Не имел права. Болезнь ее заразна.

Женя извинился и распрощался. В инфекционном отделении он спросил у санитарки, открывшей окошечко на его стук:

– К вам вчера привезли старую женщину, Кононову. Как она?

– А, хорошо, хорошо, – сказала санитарка. – Поднимется, говорит.

Дома Женя застал Валентину, отпросившуюся с работы, Юльку и Степана. Степан, вернувшийся из поездки, умылся, но отмыться не успел. Они привезли с собой дочку. Степан расстегнул Насте пальто, развязал тесемки на шапочке, снял кашне. Пальто Настя сняла сама и оказалась в замызганном платице и в такой же замызганной теплой жакетке.

Юлька говорила Валентине:

– Тюль у меня есть. Тапочки новые. На Вассу они будут малы, придется разрезать.

Женя посмотрел на Валентину. Что-то его поразило. Валентина кивала или, вернее, покачивала головой. Механически так покачивала, как покачивают головой старухи, когда разговаривают сами с собой, кивают своим мыслям. И лицо у Валентины было старческим, прозрачным, морщинистым, и была она в этот момент устрашающе похожа на бабу Вассу.

Женя сказал:

– Я был в больнице. Санитарка сказала, что ей лучше. Говорить начала.

Он думал, Юлька встрепенется, но она сказала:

– Ой, Женя, эти нянечки всем так говорят: «Лучше вашей бабушке, лучше. Разговаривает». А что она скажет? Она же знает, что от нее хотят услышать.

Валентина сидела, все так же покачивая головой, словно соглашаясь с чем-то таким, с чем невозможно согласиться. Валентина не была похожа ни на бабу Вассу, ни на Юльку, ни на Надежду Пахомовну. Словно была не из этой семьи. А вот сейчас стало видно, что она совсем как баба Васса. А Юлькино заплаканное лицо было без морщин, и в заплаканных ее глазах был молодой блеск.

– Костюм у нее есть. Ненадеванный. Под матрацем держала. Она мне говорила: «Ты не беспокойся. Я тихо умру». – Юлька мгновенно переходила от причитаний к деловому тону: – Гроб Степан сделает. Или на кладбище заказать. Дело коммерческое.

Валентина, все так же глядя перед собой, сказала:

– Сколько раз Вассе в жизни приходилось плакать! Крупно плакать... Двоих малолетних хоронила. Взрослых... Жизнь какую прожила... А забитой не была. Читала. В бога не верила. Была выше среды своей, хотя и у нее были свои жестокие предрассудки... И жизнелюбка была. И веско говорить умела. Мужу, пьянице, к которому никто и не подойдет – побоится, могла сказать: «Как же тебе не

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
совестно! Ты же здоровый! У тебя дети!» Самые обыкновенные слова, а чувствуется за ними что-то. Нет пустоты..

– Валя, – говорила Юлька, – во что же это обойдется! Вечером чай подать бабам. А на поминки! Суп, я считаю, человек на пятьдесят, пюре. Канун надо варить.

И тут Валентина удивила Женю. Она сказала:

– Канун я сделаю.

– Что это такое? – спросил Женя.

– Рис с изюмом или монпансье, – сказала Валентина.

Женя помял пальцами шею.

– Надо в больницу сходить, – сказал он. – Что-нибудь ей передать.

– Что же ты ей передашь? – сказала Юлька. – Она же ничего не ест.

Но все же Юлька стала собираться. Поднялся и Степан. Валентина тоже поднялась.

В приемнике инфекционного отделения Женя постучал в то же окошечко, в которое он стучал час назад. Выглянула санитарка, но уже не та, с которой он разговаривал, а другая, спросила, к кому. Женя отступил, давая возможность говорить Юльке и Валентине, но они, испуганные, отодвинулись в глубь приемника. Степан, смущенный, тоже стоял в сторонке. Женя сказал:

– Кононову к вам вчера привезли. Как ее здоровье?

Нянечка быстро осмотрела всех и сказала:

– Сейчас.

Закрыла окошко.

Через минуту она выглянула опять и еще раз сказала:

– Сейчас. Врач выйдет.

И врач была не той женщиной, которая принимала вчера бабу Вассу. Она спросила:

– Вы к Кононовой? Все? Родственники?

– Внуки ее, – сказала Юлька.

– Умерла ваша бабушка, – сказал врач. – Три часа назад умерла. В сознание не приходила.

Должно быть, врач недавно приняла дежурство. На лице ее еще были утреннее оживление и утренняя бодрость. Она переждала, пока Юлька переплачет, вздохнула и сказала:

– Горе, конечно. Но ваша бабушка уже пожила. А сколько сейчас гибнет молодых. Им бы жить да жить.

Валентина плакала тихо, а Юлька заголосила. Врач слушала молча, потом сказала, что вскрытие будет завтра.

– Если кто-нибудь из вас уезжает на фронт, – сказала она, – и вообще, если вы пойдете и без крика попросите, то это могут сделать пораньше.

Они вышли. Запертый, с пустынным двором перед ним инфекционный корпус выглядел загадочно.

– Куда теперь? – спросил Степан. Женя предложил:

– Пусть женщины идут домой к детям, а мы узнаем, когда выдают справки и как

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
вообще это делается.

Как только женщины ушли, Степан сразу повеселел, и Жене стало полегче. Они шли по больничной аллее и потихоньку оттаивали. Тяжелые сутки эти кончились, все было позади.

– Отсюда будете хоронить или из дому? – спросил Женя.

– Что ты! – сказал Степан. – Из дому. Юлька хочет, чтобы люди с бабкой попрощались, а бабка с домом. Завтра заберем, послезавтра хоронить.

* * *

Гроб стоял не на столе, а на двух табуретках. Когда Женя с шапкой в руке вошел в комнату, он не сразу понял, почему баба Васса лежит так низко.

Мужчин в комнате не было. Мужчины входили, минуту стояли у стены и, осторожно ступая, выходили.

В пальто и платках вокруг гроба сидели женщины. Дом был выстужен, печка не топилась, и двери почти не закрывались. Под тюлем было видно желтое неподвижное лицо. Когда Женя вошел, Юлька, сидевшая в голове гроба, отвернула тюль, чтобы Женя мог посмотреть на бабу Вассу.

Юлька устала от плача и причитаний, но когда кто-то новый входил, она опять принималась причитать. Поправив тюль и посмотрев на лицо покойницы, она вскинулась:

– Васса моя, простишь ли мне, что я тебя ругала? Злые языки уже разносят, что мы тебя в больницу умирать отвезли! Да как это я могла тебя не везти, золотая Васса! Мы тебе «скорую помощь» вызывали, все вместе тебя спасали, спасти не могли.

Гроб был просторный, сбитый из необструганных досок, обтянутых красной материей. Женя прикинул – тяжело будет выносить сквозь узкий коридорчик и сени. Еще он заметил: все в этой холодной комнате тепло одеты, а на покойнице то ли платье, то ли тонкий костюм и тапочки на войлочной подошве.

Женя приехал сюда прямо с завода. Валентина приехала раньше. Она сидела рядом с Антониной Николаевной и плакала тихо, без причитаний. Женя не знал, что мать собирается на похороны, но не удивился, увидев ее здесь. Когда кто-то умирает, собираются все родственники. Немного удивило Женю, что среди других женщин мать кажется маленькой.

Рядом с Антониной Николаевной сидела глухая бабка, мать Надежды Пахомовны. Юлькина соседка, тоже глухая старуха, известная всей улице бывшая блатнячка по прозвищу Зоя Косая, сказала ей:

– Смотришь, смотришь – ничего не понимаешь. Лучше бы ты умерла. – И тем же громким несмущающимся голосом спросила у Юльки: – Костюм на Вассе чистый?

– Чистый, чистый, – сказала Юлька. – Она же все его в узелке держала. Я у нее спрашивала: «Чего ты его не надеваешь? Чего не носишь?» – «Жмет». Теперь не жмет! – И сорвалась на причитания: – Да ты ж всегда шутила! Кто ж теперь будет шутить?!

Все эти дни Женя испытывал какое-то давление. Ни дома, ни на работе оно не отпускало его. Бабу Вассу он не жалел: почти не знал ее. Юлькина дочь Настя, которая эти два дня жила у них, тоже как будто не жалела бабку, ни разу даже не вспомнила о ней, и Женя очень удивился, когда услышал, что она плачет во сне. Когда он вошел в эту комнату, он почувствовал, как усилилось давление. Оно шло от этого желтого лица.

Жене и раньше приходилось участвовать в похоронах. Умирили дореволюционные старики и старухи – Женины родственники. Женя приходил, когда надо было уже выносить, брался за гроб в широкой его части и нес, напрягаясь, видя перед собой пепельные волосы и желтый лоб. Он очень скоро об этом забывал. Женя был молод, и жизнь все прибывала в нем. Это ощущение прибывающей жизни было очень сильно. И было оно как бы не только его собственным, а историческим. Женины сверстники,

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru которые росли вместе с молодым государством, очень хорошо бы поняли его. Военная, революционная смерть казалась тем более героической и жертвенной, что случалась она на пороге возможного всеобщего научного бессмертия. Женя, конечно, засмеялся бы, если бы у него кто-нибудь спросил, думает ли он так всерьез. Но он так чувствовал.

Дважды Женя перенес смертельную опасность, но было в ней что-то несерьезное, лихое, и страха смерти он не почувствовал. В туристском палаточном лагере на Черноморском побережье он заигрался в домино, а потом взял электрический фонарик, чтобы посмотреть что так сильно шуршит в кустах. До кустов он не дошел – электрический луч отразился в воде. Палатки стояли в долине почти пересохшей горной речушки. Воды в ней едва хватало на то, чтобы утром умыться. Женя быстро всех разбудил. Но они успели только три раза сходить с вещами от лагеря до ближайшей возвышенности. Третий раз они уже шли по колено в воде. Женя и еще двое пошли в четвертый раз – им казалось, что кто-то остался в лагере. К лагерю они прошли, а вернуться уже не могли – вода валила. Пришлось пробиваться к ближайшей возвышенности, на которой росли деревья. Они взобрались на деревья и перекликались в темноте. Внизу, метрах в пятистах по течению, был пионерский лагерь. Брезентовые домики-палатки стояли на деревянных щитах. Домики эти были пусты – днем ребят на автобусах отвезли на железнодорожную станцию, утром должна была приехать новая смена. В домиках горело электричество. Было видно, как гас в очередном домике свет: вода поднимала щит, и домик уносило на нем в море. Вода залила и автобусы, стоявшие рядом с домиками. В автобусах замкнуло электрические сигналы. Гудели автобусы, ревели вода, а низкорослое дерево, на котором сидел Женя, казалось, вот-вот поплывет.

Утром Женя увидел воду прямо под ногами, а берег – в значительном отдалении. Вода несла коряги, деревья со свежей листвой, несла овец и коров. Их захватило где-то в горах. Люди на берегу пытались вытащить коров, набрасывали им на рога веревки. Появилась пожарная машина. Пожарники покричали, помахали руками и уехали. А через час пришли бойцы. Один обвязался веревкой, зашел повыше и прыгнул в воду. Три раза он промахивался, потом попал-таки на Женю. Когда их вытащили, Женя сам обвязался веревкой и вытащил товарищей.

Вода ушла так же быстро, как и появилась. Дожди в горах прекратились.

И второй раз Женя едва не утонул. На двухмачтовом парусном катере они плыли вдоль Черноморского побережья. Плыли ночами, потому что ночью дул бриз – береговой ветер, – а днем было тихо. Ночью они и попали в шторм и опрокинулись. У них была ракетница. Женя успел выстрелить. И было удивительно, что в такую ночь сигнал заметили и их самих нашли.

Если бы Женя задумался об этом, он, может быть, и решил, что спортом занимается потому, что сильнее всего чувствует в себе жизнь, когда, разогретое солнцем, пахнет сухое, шлюпочное дерево. Когда воздух над водой накаляется, как в печи, и вальки на веслах делают горячими. Этот запах чистого нагретого шлюпочного дерева жил в нем всегда.

Женя смотрел на желтое лицо под тюлем и думал, что, наверно, сильно устал, и еще думал, что старуху надо бы уже похоронить. Он вышел во двор. Было холодно, и Женя направился в недостроенную Гришкину хату. Запора на двери не было, но полы уже были настланы, топилась печь. Гришка в цинковой ванне делал глиняный замес. И стены и полы в хате были цвета замеса – серые, нештукатуренные, некрашенные. На Гришке были ватник и заляпанные брюки. Он сказал Жене:

– Надо закончить хату. Дурак – не сделал вовремя. Теперь я поштукатурить не успею.

Гришка получил уже вторую повестку из военкомата – у него была отсрочка по болезни.

По хате бродила курица. Когда Женя вошел, она с квохтаньем побежала по комнате.

– Что это? – спросил Женя.

– Курица, – сказал Гришка смешливо. И добавил: – Я здесь вожусь, чтобы это...

– Развеяться?

– Ага.

Женя слышал, как женщины ругали Гришку: ни разу к бабке не зашел.

Гришка похудел, очки у него были в металлической оправе, на стеклах капельки брызнувшего замеса. У поддувала на жестяном листе стояла пустая бутылка, валялась яичная скорлупа. Гришка заметил Женин взгляд:

– Наша теща так говорит: «Бей, жинка, в борщ всё яйцо. Нехай люди дывуются, як мы гарно живем!»

Он как-то приходил к Жене домой, приносил дамскую сумочку – подарок Валентине, которая помогла Гришкиному приятелю поступить в институт, сделала для него зачетные работы по математике и физике.

– Десять дней назад с фабрики вынесли, – сказал Гришка. – Таких и в продаже нет. Ты объясни Валентине, что не отказываться надо, а удивляться, что так мало принесли.

Женя сказал:

– Валентины дома нет, ты ей сам и отдашь.

– По правде сказать, – засмеялся Гришка, – я бы мог эту сумку передать с тещей, но человек просил, чтобы я сам отвез. – Он посмотрел на Женю, полез в карман, позвенел мелочью, потом демонстративно выгреб все, что там было. – Надо бы, конечно, оставить на трамвай, чтобы не идти домой пешком, но ничего, я сбегаю в магазин.

Женя принес бутылку и стакан.

– Не пью, – развел он руками.

Было время, когда Гришка смутился бы или возмутился. Но сейчас он согласился:

– Я могу и сам, – и сказал: – У Сурикова есть картина «Иван Грозный убивает своего сына». Вот на эту картину смотрят так, как ты смотришь на меня.

– Что ты! – сказал Женя.

– С другой стороны, я думаю, Женя: ну не пил бы, что изменилось бы? С Ольгой в воскресенье ходил бы гулять? Вежливо с ней разговаривал бы?.. Ты не обижаешься, что я к тебе пришел?

– Работу тебе, наверное, надо менять, – сказал Женя.

Гришка сидел боком к столу. Он поставил стакан, спросил вилку. Вилка лежала тут же, но он ее не заметил. «А!» – сказал он, взял вилку и подцепил на нее картошку.

– А между прочим, – сказал он, – ничего не надо менять. У нас на работе есть такие, которые не пьют. Не пьют. – И Гришка картинно развел руками. – И не собьешь их.

Он был чем-то доволен. Правдивостью своей, что ли.

– Вот ты не пьешь, – сказал он Жене. – Это жаль. – И отвернул борт пиджака – показал, что и сейчас во внутреннем кармане у него лежит завернутая в газетку вяленая рыба. Рыбу он сунул назад, но одумался:

– Будешь? Или Валентине оставить? Сыну? Сам вялил.

– Тебе она каждую минуту может понадобиться, – сказал Женя, и Гришка опять засмеялся. Все-таки он уже прошел сквозь что-то, через какой-то период, когда обижаются, возмущаются. Теперь он соглашался.

– Много ловишь? – спросил Женя.

– Больше харчей проедаю. Ольга говорит: «На здоровье!»

Так они говорили, смеялись, но напряжение, неудобство, возникшее между ними, не проходило. Жене и сейчас было не очень удобно с Гришкой.

Открылась дверь. Вошли с улицы Степан и еще двое мужиков-соседей.

Пришла с ведром воды Ольга. Вылила воду в замес. Сказала Жене:

– Женя, ты веришь, что это Гришка построил?

– Да, я уж восхищаюсь, – сказал ей Женя в тон. – Гладко он штукатурит.

– Вот-вот! Гладит-гладит... И еще долго будет гладить. – И повернулась к Степану:
– Как ты вчера спал! Мы тебя будим, а ты мертвый. Мертвее бабки!

Степан смутился. А Ольга сказала:

– Днем я не боялась. Ночью боялась. Сидим над бабкой с Юлькой. Калитка щелкнула, а я думаю: не поддамся! Вижу, Юлька боится, и думаю: не скажу ей про калитку. А Юлька сама говорит: «Кто-то идет. Калитка хлопнула». Я ей говорю: «Да никого!» А тут постучали. Я к Степану, а он свистит, как паровоз. Так и не добудилась!

Пришла Надежда Пахомовна, посмотрела на горящую печь, сказала Жене, показывая на Ольгу и Гришку:

– Угля себе не покупают! Я им говорю: «Вы же пользуетесь моим углем!» А Ольга мне говорит: «А если бы нас не было, ты бы не топила?» Видишь, логически рассудила! Все дело в том, чтобы логически подвести!

Ольга сказала:

– Это что-то новое! Раньше ты говорила: «Логически я рассуждаю? Логически!»

Гришка, не поднимая головы, копался в замесе. Надежда Пахомовна сказала:

– Пока Васса была жива, Юлька ее ругала: «Висишь на мне, ничего не умеешь», – а теперь убивается. Все вы одинаковые. Пойди спроси у Юльки, где у нее соль. У меня нет.

Надежда Пахомовна готовила суп и пюре для поминок.

С улицы пришли сказать, что приехала подвода, пора выносить. Надевая шапки, выходили все вместе. Не торопились, пропускали друг друга вперед. Только Гришка остался.

– А ты не пойдешь? – спросил у него Степан.

– Нет, – сказал Гришка.

К Юлькиному дому шли по дорожке, обложенной кирпичом. Степан сказал:

– Юлька обложила. Я ей говорил: «Не бели, будет как на железной дороге». Побелила!

Сквозь открытые двери было видно, что в хате стало теснее. Кричала женщина. Степан сказал Жене:

– Фрося, соседка, кричит. Вчера кричала.

– По своим покойникам кричит, – сказал пожилой мужик. – Похоронные получила. Теперь многие по своим покойникам кричат.

Кто-то сказал:

– Ну, хватит, пора выносить.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Но пожилой ему ответил:

– Куда торопишься? Пусть прощаются.

Еще постояли, покурили. Вошли в комнату, и старший мужик сказал:

– Довольно, будем выносить.

И женщины послушно стали выходить из хаты.

Васса лежала ногами к порогу. Была минутная заминка, надо было браться за гроб. Женя подхватил его в широкой, тяжелой части. Его остановили. Надо было раньше вынести бумажные цветы. Потом мужчины взялись опять и с трудом, пачкая спины и рукава о побелку, стали разворачивать гроб.

Кто-то выбежал вперед с табуретками. Гроб поставили во дворе у порошков дома, и мужики еще раз отошли:

– Прощайтесь.

Юлька кинулась на гроб:

– Да, может быть, мы тебя не так одели!

Подошла Надежда Пахомовна:

– Не дождалась ты сына своего. Не смог он к тебе с фронта приехать!

Опять подняли гроб, поставили на дроги, и Юлька закричала:

– Васса, моя золотая! Кто ж мне калитку откроет, когда я ночью с работы приду, кто ж мне скажет: «Душа моя истлела. Где ж ты была?» А я отвечу: «А я чеки считала!»

Женщина в темном платке крикнула:

– Ты ж там моему Сашеньке привет передай!

Женя услышал, как Надежда Пахомовна сказала:

– Если сейчас все начнут с ней приветы передавать, женщина и не донесет их на своем горбу. Та Сашеньке, эта Коленьке...

И Женя вдруг что-то почувствовал. Как будто эта невоенная смерть больше его потрясла, чем военная. Вассу он ведь почти не знал. Один раз она с ним разговаривала. Сказала о Вовке: «Рассеянный он у тебя. Ему говоришь, а он глазенки вытаращит: „Бабочка, бабочка!“ Аж неприятно». А теперь он как будто бы понял, почему Юлькина Настя плакала во сне, а у мужиков, которые, посмеиваясь, стояли во дворе, в какой-то момент Юлькиных причитаний влажнели глаза. И почему пожилой мужик удерживал торопящихся: «Пусть прощаются».

Дроги качнулись под гробом, и лошадь переступила с ноги на ногу.

– Пятый гроб отсюда выносят! – кричала Юлька. – Из этого проклятого дома. Зачем ты его строила!

Кладбище было недалеко. На могиле Степан сразу же установил ограду, которую он заранее принес сюда. Оградка получилась маленькой, Степан подгрёб холмик, укоротил его, и Юлька представила себе, что голова и грудь Вассы в ограде, а ноги наружу.

– Что ты сделал! – закричала она на Степана. – Если бы это была твоя мать, ты бы ограду до кладбищенских ворот дотянул! Чтоб твоя мать сюда легла, а моя Васса встала.

Степан успокаивал ее. Как она на него ни кричала, что ему ни сулила, он только говорил:

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– Юля, я исправлю. Сейчас негде и некогда – ты же знаешь, куда я еду. Но постепенно исправлю.

– Всех ты похоронила, – кричала Юлька, – всех сюда проводила, а теперь сама легла! Сколько ж тебе в жизни плакать пришлось! За что тебя господь так покарал!

Женя хотел с кладбища уйти домой, но Валентина его удержала.

– Юлька обидится, – сказала она. И он остался на поминки.

В Юлькиной хате еще было холодно, но печка уже топилась, а Надежда Пахомовна и Ольга к приходу гостей вымыли полы. В хате и пахло холодом, сыростью только что вымытых полов и сухим запахом раскаляющегося печного железа. Дверь во вторую комнату была открыта, через две комнаты были составлены столы.

– Проходите, – приглашала Юлька.

Женя хотел присесть с краю, но ему показали во вторую комнату.

– Родственники, – сказали ему, – там.

На дальнем конце стола тесно друг к другу сидели дед Василий Петрович и его брат – краснодеревщик Иван Петрович. На кладбище Василий Петрович ехал, сидя на дрогах. И обратно его привезли. Теперь он молча сидел за столом, а Иван Петрович что-то ему говорил. Оба деда были маленькими, сухонькими. Василий Петрович любил говорить о себе: «У меня святые ножки». Дед Василий, казалось Валентине, должен был быть грамотнее своего брата. Дед работал железнодорожным кондуктором, бывал во многих городах, а Иван Петрович не так-то давно перебрался из деревни в город. Но когда они собирались вдвоем, говорил всегда деревенский брат. Поговорить он любил страстно и не смотрел при этом собеседнику в лицо, а как бы воспарял взором. Говорил он о боге и о философии и часто повторял сами слова «Христос» и «философия». В детстве Валентина спрашивала у матери с тоской: «Ну скоро он перестанет?» Слова эти на нее почему-то производили впечатление удушающее. По его же детским впечатлениям, дед Василий не понимал того, что ему говорил брат. А тот спрашивал:

– Правильно?

– Правильно, – кивал дед.

Жена Ивана Петровича в девушках «гуляла». По уличным понятиям, Ивана Петровича с ней окрутили. Будущий тесть позвал его в дом «на дочек» – деревенский же, ничего не знает... В доме за ним ухаживали: «Пейте, Иван Петрович, чай с маслом». Он взял ложкой масло и бросил его в чай. А в доме будущей жены, доме старомещанском, большое значение придавали манерам, «приличиям». Ложку масла, брошенную в чай, Ивану Петровичу запомнили на всю жизнь. Однако окрутили-таки его, приняли в зятя и уж тут показали ему! У жены Ивана Петровича были принципы, сводились они к тому, чтобы поддерживать постоянный порядок в доме, где какая-нибудь фарфоровая кукла утверждалась на сто лет. Дом вылизывался, вычищался до блеска. Из приложения к «Ниве» вырезались фотографии, картинки, вставлялись в ореховые рамки, которые выпиливал дед, и все это вешалось на стены. И в том, как были подобраны эти картинки, был даже какой-то вкус, потому что в доме вообще не возражали против книг, кое-что читали, а подшивки «Нивы» хранились здесь тщательнее, чем в любой библиотеке. На все книги был приобретен один специальный клеенчатый переплет, куда книга вставлялась, когда ее читали.

С возрастом неприязнь к словам «Христос» и «философия» у Валентины только усилилась. Она и сейчас враждебно посматривала на Ивана Петровича. На нем был черный пиджак, а на жене его черное платье и черная косынка, которая почему-то казалась Валентине лицемерной. Валентине казалось, что во всем этом доме только эти двое не встревожены тем, как шли дела на фронте.

Фрося, которая плакала «по своим покойникам», попросила девочку-соседку прочесть письмо от своего третьего, приемного сына.

– «Дорогие папа и мама», – из деликатности скороговоркой прочитала девочка и засмушалась из-за того, что ей приходится читать на людях чужое письмо.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
Фрося забрала у нее письмо и отдала другой соседке. И та еще раз прочла:

– «Дорогие папа и мама, – чтобы все слышали, как приемный сын обращается к Фросе и ее мужу. – Наши трудности временные. Скоро мы погоним фашистов. Мои товарищи передают вам привет...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Однажды Анатолий увидел военного с двумя револьверными кобурами на ремне. Потом это военное впечатление было вытеснено другим.

Как раз против дома, в котором жил Анатолий, выстраивалась очередь в магазин «Молоко». Гудение толпы начиналось еще в предрассветной темноте. Магазин был расположен на главной улице. В магазин пускали по двадцать человек. Отсчитывали два десятка очередных, и они, держась друг за друга, в сопровождении добровольных дежурных шли в магазин; на центральной улице очереди выстраиваться не разрешали. Давали молоко, иногда маргарин. И вот на заполненную людьми улицу один за другим на мотоциклах с колясками приехали военный летчик и милиционер. Казалось, они специально заехали сюда, чтобы на боковой, а не на главной улице решить какой-то опасный и важный спор. Оба мотоцикла подкатили к ближайшей подворотне и одновременно остановились. Милиционер, судя по всему, хотел задержать летчика, а летчик считал одинаково невозможным и убежать от милиционера и подчиниться ему. Встав с мотоциклов, они повернулись друг к другу. Милиционер требовал, чтобы летчик следовал за ним, а летчик отвечал негромко, но, видимо, очень дерзко, потому что милиционер то и дело хватался за кобуру. Летчик отталкивал его, собираясь опять сесть на мотоцикл. Тогда милиционер расстегнул кобуру и достал револьвер. Ни разу до сих пор Анатолий не видел на улице среди дня обнаженным оружие. Невероятным было и то, что человек, которого милиционер хотел задержать, тоже достал свое оружие и при таком стечении народа направил его на милиционера.

Кольцо любопытных, которое собралось вокруг спорящих, шарахнулось, в очереди закричали, а напряжение нарастало или падало в зависимости от того, направляли летчик и милиционер револьверы друг другу в грудь или опускали стволы.

И то, что летчик грозил открыто выстрелить в милиционера, и то, что милиционер в какой-то степени признавал право летчика разговаривать с ним вот так, – все было необычным. Они приехали сюда потолковать – пацаны, стоявшие в очереди, очень чутко уловили этот оттенок в их споре. Зачем им иначе было уезжать с главной улицы! Милиционеру это уж совсем было ни к чему. Но, видимо, он сам хотел в чем-то сравняться с военным летчиком. То, что сейчас здесь народу было гораздо больше, чем на центральной улице, уже не останавливало ни летчика, ни милиционера. Милиционер решительно показал летчику на подворотню – мол, дело можно завершить там, в цементных стенах. Не сводя глаз друг с друга, они вошли в подворотню и мгновенно направили стволы друг другу в грудь.

До сих пор Анатолию не приходилось видеть оружие открытым. Это же безумно обнаженное оружие грозило всем, кто был на улице. И тем, кто стоял поблизости от магазина, и тем, кто на противоположной стороне улицы не решался уйти из очереди за сепарированным молоком. Казалось, не выстрела люди ждали, а взрыва.

Но выстрела все-таки не последовало. Подержав друг друга на мушке, продержав в напряжении всю толпу, в которой никто не мог уйти с места, потому что с утра стоял за молоком, милиционер и летчик вложили оружие в кобуры и направились к своим мотоциклам. Первым поехал летчик, милиционер двинулся за ним.

Что у них было дальше, Анатолий не знал. Так эта история разыгралась перед его глазами, такой он ее и запомнил. И еще он запомнил вот что: летчик был пьян и, судя по всему, не прав, но в симпатиях своих очередь была единодушна. Все были на стороне летчика.

И первого раненого Анатолий видел еще до того, как фронт приблизился к городу.

В какое-то из воскресений, когда на завод почему-то не надо было идти, Анатолий с Женей пошли за город, на реку, к рыбакам. Они несли кое-какие вещи – собирались выменять их на рыбу. Кусты на левом берегу были еще рыжие, а деревья черные и пустые. Все спортивные базы покинуты. Понтоны заведены на берег, настил с мостиков снят – торчали одни столбы, вбитые в воду. Верховой ветер согнал воду, обнажились мели и близко от берега и на самой середине реки. Мель – как

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru сыпь. Почему-то стыдно на нее смотреть. Была вода, а под ней такая грязь и черные ракушки. Лодки лежат на этой грязи. От них по земле тянутся грязные цепи к ненужным якорям.

Вышли они рано и видели, как солнце поднимается между фермами железнодорожного моста. На мост влетел железнодорожный состав, локомотив вошел в солнце и на секунду исчез. И так весь состав с теплушками, платформами, на которых стояли покрытые брезентом машины и пушки, проходил сквозь солнце. Вагон за вагоном на секунду исчезали в огромном солнечном диске.

И железнодорожный и автомобильный мосты немцы уже бомбили, но еще ни разу в них не попадали.

Женя и Анатолий шли по пляжу. Верховой ветер так быстро согнал воду, что песок еще не успел просохнуть, весь был в потеках, сливных стоках. Там, где песок просох, он белел, становился тверже. Наступишь – пружинит, и видно, как к тому месту, на которое наступил, приливает вода.

Два вола за длинную веревку вытягивали на пляж сеть. От веревки на песке оставался длинный след. Волы пахли смолой и дратвой, а вовсе не коровником, рядом с ними шагал рыбак в ушанке, стеганке и высоких сапогах-бахилах.

Другие рыбаки, среди которых было много женщин, медленно ступали по воде. В своих высоких сапогах-бахилах они довольно далеко входили в воду и тянули сеть. То есть вначале за длинную веревку сеть на берег вытаскивали волы, а потом уже на мелком месте ее перехватывали рыбаки и выбирали руками.

По воде рыбаки ступали медленно, сеть выбирали неторопливо. Суетились те, кто пришел сюда на менку. Они подступали к воде, заглядывали в рыбачий баркас. Рыбаки не обращали на них внимания. Обменом ведал пожилой краснолицый рыбак, которого называли то боцманом, то бригадиром, то Николаем Евграфовичем. А он всем говорил:

– Нет, какая рыба! Ты ж видишь! Отойдите, гражданин!

Потом он кого-то намечал, отходил с ним в сторону. Но отходил как будто бы для того, чтобы еще больше привлечь к себе внимание.

– Нет! – кричал он оттуда. – Я ж не имею права!

Женя и Анатолий пробыли на тоне долго. Пошел дождь – такой сильный, что на песке стали застаиваться небольшие лужи. Меняльщик дождь разогнал, а Женя отвел Анатолия на спортивную базу, и они через реку смотрели на потемневший от дождя город, на то, как по крутой, спускающейся к мосту улице идут два потока грузовых машин. Один поток вниз, другой вверх. Вниз машины набирают скорость, растягиваются, увеличивают интервалы, наверх – догоняют друг друга, идут на малой скорости за какой-нибудь телегой.

Водка, которую они принесли с собой, сделала «боцмана» сговорчивым. Домой возвращались с рыбой.

Все это Анатолий хорошо запомнил. Впервые от Анатолия зависело, будет ли дома еда. Впервые он шел вместе с Женей и, пожалуй, впервые испытывал такую изнуряющую усталость от долгой ходьбы. Долгая ходьба пешком тоже была одним из военных впечатлений.

Но главное, из-за чего он запомнил этот день, произошло потом, когда они уже перешли мост и свернули на улицу, ведущую к дому Антонины Николаевны. Более впечатлительный, чем Женя, Анатолий почувствовал какое-то еще невидимое движение, которое задержало прохожих, заставило повернуть головы. Потом он увидел бегущего человека с портфелем. Улица в этом месте шла со значительным уклоном, человек бежал сверху вниз, полы его расстегнутого пальто развевались. Он убежал. Среди дня, среди нескольких прохожих его гнал невыносимый страх. И Анатолий подумал, что это шпион. Невыносимый страх вдруг заставил бегущего нелогично вильнуть, он выбежал с тротуара на дорогу, повалился на спину, на свое расстегнутое пальто и с паническим криком выставил поднятые руки и ноги. Одновременно Женя и Анатолий увидели догоняющего. С ножом в руках он бежал по коридору, который остался среди прохожих после мужчины с портфелем. Догоняющий

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru тоже был расстегнут до рубашки, шапки на нем не было. Цепко вильнув вслед за мужчиной с портфелем, он, отстраняя беспорядочно машущие руки, наклонился над ним с занесенным ножом.

Женя бросил свою рыбу и побежал к ним, как только увидел человека с ножом. Но он явно не успевал. И тут Анатолий увидел третьего догоняющего. По тому же коридору из прохожих, топая сапогами, бежал совсем молоденький мальчик-милиционер. Он протянул к спине мужчины с ножом револьвер. Собственно, Анатолий увидел револьвер после того, как прозвучал выстрел, и удивился тому, что то, что милиционеры носят в кобурах, такого ярко-синего вороненого цвета.

Этот вороненый револьвер в руках милиционера был на несколько мгновений сильнейшим впечатлением Анатолия. Человек с ножом, не поворачиваясь к милиционеру и как будто не обращая на него внимания, выпрямился, бросил нож, а мужчина с портфелем поднялся со своего пальто, подобрал нож и что-то закричал милиционеру.

Милиционер стоял растерянно, револьвер в его руках был все таким же большим и ярким. Тогда мужчина с портфелем бросился на своего преследователя, ударил его и потянул за собой. Но тут Женя, который уже подбежал к ним, поступил, на взгляд Анатолия, странно. Он удержал, а потом решительно оттолкнул все яростнее наскакивавшего мужчину с портфелем. К ним прибежала женщина в сбившемся платке, вцепилась в рукав стеганки того, кто только что бежал с ножом, и закричала, как будто он был далеко:

– Петя! Петька-а! В больницу! Да ведите ж его в больницу!

Мужчина в стеганке шевельнул рукой, отстраняя женщину, сделал несколько шагов в том направлении, куда его тянула женщина, но остановился и вдруг стал раздеваться. Он бросил на тротуар стеганку, пиджак, потянул через голову свою расстегнутую рубашку, снял майку и оказался по пояс голым. Тело его было смуглым, в синих тенях татуировки. Холода он как будто не чувствовал. Женщина подхватывала одежду, которую он бросал на тротуар:

– Что же ты делаешь!

А он, все так же не обращая внимания на милиционера, на мужчину, который еще пытался на него наскакивать, на женщину, которая тянула его, старался рассмотреть что-то у себя на смуглом животе. И Анатолий увидел: как раз над брючным ремнем у него было небольшое розовое пятнышко. Ранка совершенно не кровоточила. Точно такое же пятнышко у него было над брючным ремнем на спине.

Женщина пыталась набросить ему на плечи стеганку или пиджак, но он тут же сбрасывал их. На ногах он держался твердо, не качался, не собирался падать. Он только не шел туда, куда его тащила женщина, хотя тащила она его в ближайшую городскую поликлинику. Постепенно вокруг них образовалось кольцо. Но это было редкое кольцо, совсем не похожее на плотное кольцо любопытных, которое собирает какое-нибудь привычное уличное происшествие. Милиционер, словно забывший вложить в кобуру свой потускневший, не привлекавший внимания револьвер, держался за спинами и даже не пытался как-то направить события. И мужчина с портфелем, который все еще возбужденно размахивал руками и требовал, чтобы раненого везли в милицию, постепенно оказался в стороне. Анатолий глаз не мог отвести от голой груди и спины раненого. На уличном холоде кожа его не тускнела, а, казалось, становилась все ярче, и только живот посмуглел. Он все так же сбрасывал одежду, которой пыталась прикрыть его женщина. Женя, помогавший ей, сказал милиционеру.

– Машину останови!

И молоденький милиционер послушно сунул револьвер в кобуру и побежал ловить машину. Он тут же остановил «эмку», однако раненый отказался лезть в машину. И тут Анатолию показалось, что Женя ожесточился. Он несколько раз быстро ударил раненого по щекам, закричал на него, надел на него стеганку и потащил в машину. И тот, уже не сопротивляясь, пошел к «эмке» и, как почему-то ожидал Анатолий, не сел, а повалился на заднее сиденье. Милиционер, мужчина с портфелем, женщина влезли в машину и уехали, а Женя вернулся к Анатолию, взял свою рыбу, и они двинулись к Антонине Николаевне.

Анатолию не терпелось все рассказать, но когда он стал рассказывать, ему

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
показалось, что Женя недоволен им. Антонина Николаевна испуганно заахала:

– Ах ты боже мой! Что делают!

А Валентина сказала то, что Анатолию самому хотелось сказать:

– Я бы сама этого бандита убила. Не на фронте геройствует, а над своими безоружными.

Женя молчал. А когда Валентина еще сказала ему что-то сердитое, он ответил:

– Ранение у него тяжелое. Может, и не выживет.

– И лечить я его не стала бы, – жестко сказала Валентина.

Антонина Николаевна с беспокойством посмотрела на Женю.

– А может, у него дети есть, – сказала она Валентине примирительно.

Ефим вдруг уставился на нее, остолбенел, замер с разведенными в недоумении руками. Все замолчали, пережидая, пока у него пройдет это остолбенение, не очень ясно себе представляя на этот раз, что оно означает: упрек Антонине Николаевне, недовольство сыном или невесткой. Антонина Николаевна, как всегда, смутилась:

– Что я такого сказала?

– Глупость! – сказал Ефим. – Глупость! – И вдруг, выкатив глаза, яростно заорал на кошку, которая под столом потерлась о его ногу: – Пошла! П-шла, гадость!

И топнул ногой, но не замахнулся, не толкнул кошку, а, будто брезгуя, отстранился от нее. Кошка не испугалась, выгнувшись, она опять потерлась о Ефимову ногу – ее волновали запахи обеденного стола. Подняв скатерть, Ефим некоторое время смотрел под стол, потом отпустил скатерть, так и не прогнав кошку.

– У хороших хозяев кошки и собаки к столу не подходят!

Ефим теперь почти непрерывно был в самом мрачном своем настроении. Если он возился во дворе или что-то делал в доме, а у него спрашивали, чем он занят, Ефим отвечал: «Будку себе делаю. Доски себе на гроб строгаю».

Завод, на котором работали Женя, Валентина и Анатолий, все больше сворачивался. Станки в деревянных ящиках с надписями «верх», «низ», «не кантовать» поднимали на железнодорожные платформы. Первый эшелон ушел еще в конце августа. В цехах, намеченных к эвакуации, за сутки, а то и за двое, с вещами собирался народ. Вещи приносили, привозили на тачках, располагались ожидать семьями. Уезжали с заводом не все, но уезжавших было очень много. Выбирали старшин вагонов, объединялись в коммуны, из общего пайка варили суп на всех. На каждую семью полагалась норма багажа, но большинство до нормы не добирало. Потом на заводские железнодорожные пути загоняли эшелон, люди грузились в теплушки, ждали – вот-вот тронется. Потом старшины вагонов бегали к начальнику эшелона, тот – к директору завода. Наконец поезд трогался – выходил за пределы заводской территории. Но редко эшелон в тот же день уходил из города. Стояли на запасных путях пассажирской станции, на перегонах вокруг города, на подходах к товарной станции. Ночевали в вагонах, а город был все еще рядом. Вначале на этих остановках опасались отходить далеко, потом начинали разбредаться подальше. Кое-кто даже уходил домой за какой-нибудь забытой керосинкой или кастрюлей, которую оставил за ненадобностью и без которой теперь нельзя было обойтись.

На заводе об эшелоне все было известно. Те, кому очередь еще не подошла, нервничали так же, как те, кто сидел в теплушках. Зенитные пулеметы были на одном или двух эшелонах, но большинство составов ничем не прикрывалось от нападения самолетов. А с окраины город казался беспорядочным, одноэтажным, слабым.

Женя должен был оставаться на заводе до последнего дня (если этот день все-таки наступит). Заводская команда, в которую он был зачислен, завершала эвакуацию и поступала в распоряжение саперов, взрывающих цеховые здания. Но Валентина уже

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru могла бы уехать. Эвакуироваться можно было и с учреждением Ефима. Валентина хотела ехать с заводскими, а Женя настаивал, чтобы Вовка и она ехали с Ефимом и Антониной Николаевной.

Литейный еще работал, но многие шисьельницы из Валентиновой бригады уже уехали, чтобы раньше устроиться на месте, чтобы не ехать под бомбежкой в последний момент.

Уехала подруга Лариса, дочь школьной Валентиной учительницы. И Валентина прибежала после работы, чтобы отоварить карточки Ирине Адамовне. У Ирины Адамовны было больное сердце, и она почти не выходила из дому. С Ириной Адамовной Лариса оставила свою дочь Милу.

Ирина Адамовна разговаривала с Валентиной как с повзрослевшей своей ученицей. Она говорила:

– Дети – жертвы неустроенных браков. Одна моя приятельница так пугает своего внука: «Вот приедут отец с матерью и заберут тебя к себе». И что ты думаешь – отец и мать раз в год приезжают к сыну, а он прячется от них в другую комнату, плачет, не хочет оставаться с ними наедине. Мать его успокаивает: «Ну чего ты боишься? Ты же знаешь, что забрать нам тебя некуда. У папы работа такая, он все время в разъездах. Так что мы тебя не заберем». Вот и Миле со мной лучше.

Семья Ларисы, так казалось Валентине, всегда жила в атмосфере каких-то несчастий. И то, что отца у них взяли в тридцать седьмом году, было не главным несчастьем, а только одним в ряду других. Лариса тогда тяжело болела, и Валентина приходила к ней. Лицо у Ларисы было земляное, сказочного уродства, с наростами, утолщениями, старушечье, со следами старушечьего страдания: приниженности, убогости. Одета она была в темное, состарившееся на ней пальто, повязана толстым серым платком. Так она сидела в комнате, обставленной донельзя нелепо: в крошечной комнате большой обеденный стол, туалетный столик, кровать, несколько стульев и два шкафа – посудный и платяной. Если учесть, что в комнате печка-голландка, а у входа вешалка, едва выдерживающая тяжесть старой и новой одежды, то станет понятно, что пройти в этой комнате можно только что-то отодвигая, между чем-то протискиваясь. И странный вид этой комнате придавало необычное в таком окраинном домике обилие китайских безделушек: тусклых лакированных коробочек, фонариков. Комната сумеречная, с окнами на север, никогда не просыхающая до конца, комната без воздуха и пространства. Здесь и мебель, и одежда, и покрывала на кровати, и скатерть на столе постоянно пачкались от одной тесноты, оттого, что рядом печка, на которой готовят еду, вываривают белье, подогревают воду, когда собираются купаться. Оттого что здесь не любят друг друга, постоянно враждуют, оттого что живут прошлым и надеются на будущее, а настоящим пренебрегают. Комната, в которой заперты безнадежные, нелепые страсти, некогда бывшие вполне здоровыми, но со временем состарившиеся, неосуществленные, ставшие составной частью воздуха этой комнаты.

Так казалось Валентине. Она считала, что и несчастья должны быть здоровыми у тех, кто живет интересами страны. Могут быть, конечно, и болезни, и смерть, и еще что-то такое, чего не предскажешь заранее. Но несчастье – это ведь нечто, что может случиться только с тобой, с твоими близкими, нечто личное, частное и в конечном счете мелкое. Твое нездоровье никак не должно отразиться на здоровье народа, страны. Валентина не любила тех, кто долго жил своими несчастьями. Но с Ларисой она несколько раз сидела за одной партой, а Ирина Адамовна преподавала им в школе историю.

Когда арестовали Ларисиного отца, Валентина не удивилась. Она не думала, что он враг народа. Но он был «не свой», как тусклые китайские безделушки, которые он привез сюда из Харбина. Он работал на КВЖД, называл себя кавэжедеком, упорствовал в мелочах, переводчиков именовал драгоманами, адвокатов – присяжными поверенными, у него была коллекция «романовок», «керенок», он любил спорить, громко говорил в трамвае и вообще привлекал к себе внимание. И характер был у него тяжелый. Платяной шкаф стоял у них не вплотную к стене, а как бы выступив на середину комнаты – символ нелепости и враждебности самой атмосферы в доме. Это Ларисин отец без чьей-либо помощи, силой одного своего раздражения вытолкнул его из своей комнаты в комнату Ирины Адамовны и Ларисы: «Вот ваш шкаф, и в мою комнату совсем не заходите». Ссора эта потом рассеялась, а шкаф так и остался стоять.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Теперь Ирина Адамовна и Лариса жили в комнате двухэтажного заводского дома. Комната была пустой, темноватой. Ирина Адамовна много лежала, и кровать ее выглядела серой не только потому, что серым было одеяло. Дом они продали еще перед войной. Лариса все хотела как-то уйти от того, что она считала своей несложившейся судьбой: продать домик на окраине, переехать в центр, уехать из города вообще, сменить профессию. Матери она кричала:

– Как можно с тобой жить! Ты яйца варишь в чайнике!

Они теперь часто ссорились, и хотя Ирина Адамовна чаще всего переносила Ларисины вспышки молча, Лариса кричала ей:

– Зачем мне мать с университетским образованием! Бывают же у людей матери – простые женщины с языком, который подвешен не так хорошо!

Она и на дочь свою, умненькую красивую девочку, кричала:

– Не дергайся!

Ирина Адамовна говорила Валентине:

– Я за нее боюсь. У нее характер отца. В гневе она бьет посуду.

Жаловалась:

– За Ивана ей не надо было выходить. Я ей говорила «Не сживетесь. Ничего тебе не даст его крестьянское происхождение». А теперь выгоняет его, когда он к Миле приходит. Говорит ему, чтобы не приходил. А он ей сказал: «Могу и не приходиться». И не приходит. Он, конечно, скупой и неумный, но стекло в окно он мог вставить.

Ирина Адамовна смеялась:

– Его теперь сделали прокурором. Знаешь, Валентина, я удивляюсь. Он за обеденным столом сказать двух слов не мог. Это было мучение какое-то. Не знаю, как теперь, а раньше в суде прокуроры говорили. Я у него спросила: «Иван, как же вы делаете свою работу?»

Лариса одной из первых уехала из города на новое место.

Валентине нравилось, что Ирина Адамовна при ее болезни сохраняет бодрость духа. Теперь, когда у всех была большая беда, ей даже нравилось приходиться к Ирине Адамовне. Ирина Адамовна поднималась с кровати, говорила подругам Милы (в комнате всегда было несколько девочек, с которыми Ирина Адамовна занималась):

– Всё, девочки, идите.

Она говорила так, не думая девочек обидеть и действительно не обижая их.

Валентина всегда торопилась, но Ирине Адамовне нужно было поговорить.

– Валя, – как-то сказала она, – я стала верить в бога.

– Решили, что бог есть?

– Нет, Валя, но у меня сейчас бывают такие состояния, когда хочется помолиться. А когда молишься – начинаешь верить. И знаешь, мне помогло. Я молюсь, чтобы бог дал мне дожить до тех пор, пока немцев погонят и Лариса сумеет взять к себе Милу. К моей соседке поселилась женщина-врач, очень хороший человек. Когда мне становится плохо, я стучу в стену, и она приходит. У меня терпнут руки, холодеют ноги, дыхание прерывается – вот-вот умру. А она мне говорит: «Ну вот и все в порядке. Это обычные симптомы вашей болезни. Еще немножко – и пройдет». Сядет ко мне на кровать, ноги укутает, даст что-то выпить. А мне нужно, чтобы живой человек рядом посидел. И она сидит терпеливо. Полчаса сидит: «Ну вот вам и легче». Я уж Милу подготавливаю, говорю: «Ты не бойся, это все естественно. Если ты проснешься, а я уже не буду живой, ты просто пойдешь и позови соседей». Денег только совсем нет. Вчера я собрала кое-какие вещички: Милкину блузку, из которой она уже выросла, носочки теплые, поехала на базар, стала около женской уборной – знаю, что там иногда спекулянтки стоят. Еле живая стою, а меня кто-то как

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
тряхнет – женщина-милиционер. «Плати рубль!» – «Девочка, если бы у меня был этот рубль, я не стояла бы здесь!» – «Тогда уходи отсюда!» И так я от всего этого растерялась и испугалась, что уронила в эту грязь весь свой сверток.

Забывать стала. То есть все стала забывать. Пришла в аптеку, заплатила в кассу пятьдесят девять копеек, протягиваю продавщице чек и молчу. Она спрашивает: «Что вам?» А я не помню. Она меня торопит, у нее другие покупатели, а я ничего не могу вспомнить. Она мне стала называть: «Аспирин? Вазелин? Детская присыпка?» Весь свой прилавок перебрала, а я ничего не могу сказать. Она говорит: «Ну пойдите посидите, подумайте. Может быть, вспомните». Я села в стороне на скамеечку, а ко мне женщина подошла, у нее в авоське «пиретрум» – то, за чем я пришла! В другой раз в продуктовом магазине заплатила рубль двадцать, подошла к прилавку и, хоть убей меня, не могу вспомнить, зачем я сюда пришла. Стали мы с продавщицей перебирать, что бы могла купить на рубль двадцать. Взяла я пакет соли, принесла домой и до сих пор не уверена, что я за ним ходила в магазин.

А вообще, Валя, бог есть. Тех людей, которые купили наш дом, обворовали. Унесли у них ковры. Это, конечно, нехорошо, что я радуюсь. Но они очень непорядочно вели себя при покупке. Они богатые люди, и не землянушку нашу они покупали – им участок был нужен. В нашем доме они временно поселились и сразу стали строиться. И война им не мешает. Знаешь, что они мне сказали, когда были подписаны все бумаги? «Чтобы через два часа вас здесь не было». Мы с Ларисой бросились искать драгиля или грузовик какой-нибудь, чтобы перевезти вещи. Вещей этих у нас, конечно, немного. Но все-таки что-то было, и сразу погрузить все мы не смогли. В сарае у меня остались книги. И методические пособия. И учебники, и политическая литература. И хорошие книги: Пушкин, Лермонтов, классики. Сколько лет я преподавала – накопилось! И пальто у меня в сарае висело. Не очень хорошее пальто. Но пальто. Другого у меня не было, и я не собиралась покупать. Я сказала этой женщине, что, как только я устроюсь на новом месте, дня через два приеду и все заберу. Я, правда, не через два дня приехала, а через полторы недели. Нелегко же мне это. Пришла к ней, говорю: «Я хочу взять пальто, которое висит в сарайчике». А она мне отвечает: «Какое пальто? Тут нищая приходила, я ей и отдала эту рухлядь». – «Ну как же, – говорю ей, – рухлядь. Это было еще не старое пальто. У меня не было другого. А книги?» – «Хлам я сожгла». Валя, а она учитель истории. Он заведует складом или столовой, а она в школе историю преподает. Я ей говорю: «Этого вы не могли сделать, вы же культурный человек. Там были такие книги!» А она отвечает: «Буду я в хламе рыться!» Валя, я ей сказала: «Вы разрешите мне срезать с этого розового куста несколько веток? Его мой муж сажал». – «На этой земле нет ничего вашего», – сказала она мне и не разрешила. Знаешь, я ушла от этой женщины. Я боялась расплакаться при ней. Так стало мне жалко мужа. Я хотела розы у себя здесь посадить. Вышла я за калитку и не заплакала, а закричала. Я так кричала, что сама себе бы не поверила. Хочу остановиться и не могу. Наломала через забор веток со сливы и вишни и ушла. Ларисе я всего, конечно, не рассказала. Ты же знаешь Ларису. Но когда Ларисе понадобилась выварка, она пошла за ней. Та женщина не хотела ее пустить, но Лариса такого ей наговорила. Когда она мне рассказывала, я очень смеялась. Так что выварку она принесла. И вот теперь их обворовали. Я понимаю – они все быстро восстановят, но теперь я знаю, что подлецы могут быть все-таки наказаны и на земле. Ты вот мне скажи, Валентина, почему такого человека не привлекают к суду, хотя бы по условиям военного времени? А мужа моего посадили в тюрьму, хотя он никогда ничьей копейки не присвоил. Характер у него, конечно, был тяжелый и язык ядовитый, но ведь нельзя же сажать в тюрьму за дурной характер. И потом, Валя, мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь у нас за слово произнесенное будут сажать в тюрьму.

– Ирина Адамовна, – говорила Валентина, – вот вы говорите – бог! Но ведь не бог вам помогает, а живой человек.

Ирина Адамовна смеялась:

– Я старая учительница, Валя. Я сама всю жизнь учила тому, что бога нет. Разве я говорю – бог? Я говорю, что у меня теперь такое состояние, когда ничего, кроме молитвы, не помогает.

Валентина отоваривала в магазине карточки Ирины Адамовны, приносила продукты, просила соседку присматривать за Ириной Адамовной и бежала домой. И раньше Валентина дома часто садилась обедать сама, не ждала, пока все соберутся или пока Женя придет с работы. А когда он приходил, не торопилась звать его к столу:

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
«Голоден – сам скажет». Так что Антонина Николаевна не выдерживала: «Женя, иди обедай». Теперь за столом вообще встречались редко. Только Антонина Николаевна подавала и Ефиму, и Жене, и Валентине и сама с ними присаживалась за стол. Сидела чуть в стороне, положив руки на колени, ждала, когда надо будет подать или убрать тарелку. Все силы, всю изобретательность и она и Ефим вкладывали в то, чтобы тянуть семью. Всё это уже было в жизни Антонины Николаевны и не застало ее врасплох. Мешочки с крупой, вермишелью, домашней лапшой, солью у нее всегда хранились про запас. Продуктов этих было не так-то уж много, но все же это был запас, который Антонина Николаевна всячески старалась сохранить.

* * *

День, в который невозможно было поверить, все-таки наступил. Как будто все пришло в первобытное состояние. Между всеми предметами на заводе разом порвались жизненные связи. Куча песка стала просто кучей песка, глина – просто глиной. Раньше все это было основой для формовочной массы. Снег запылил и глину и песок. Было видно, что много дней никто к ним не прикасался. И во всем появилась неподвижность. Воздух прочистился, мороз убил запахи, и только цвет глины и песка как будто прояснился. Песок и глина были отборными, и цвет у них был яркий, он светил сквозь тонкий покров снега.

На крыше механического цеха появились люди. Срывали толь, железо, доски со стропил. Доски сбрасывали вниз. Тонкие, длинные, высохшие, они со стеклянным звуком лопались, ударившись об асфальт. Из десяти сброшенных едва ли одна могла еще пойти в дело. Людям на крыше было ветрено и скользко. Работали они на самом краю – отрывали доску, на которой только что стояли. Даже если они старались бросать аккуратно, доски все равно бились. Однако в движениях людей уже появилась какая-то злая лихость.

Рушилось нечто такое, что само по себе, не задевая окружающего, разрушиться не может.

Должно быть, человеческая фантазия имеет свои пределы. Разрушенный, разваленный огромный завод был за ее пределами. Завод этот строился с помощью большинства работавших на нем людей. Многие помнили пустырь, на котором стояли сейчас цехи. Но фантазия обратного хода не имеет, обратного действия, что ли. Представить себе пустырь уже было невозможно. Пустырь давно перестал быть реальностью. Реальностью был огромный завод. Пятнадцать лет строительства, работы, жизни, которая складывается из выходов на работу, обеденных перерывов, собраний, получений зарплаты, волнений по поводу этой зарплаты, по поводу квартиры, по поводу бог знает чего. Вся жизнь у многих прошла здесь – вся, без остатка. Для кого хороший, для кого плохой, для кого ни хороший, ни плохой – обыкновенный завод простоял здесь пятнадцать лет.

Он связывал людей, которые и не думали, что они связаны, и вот теперь его разрушали. И это была великая жалость, а для кого-то и странное, мерзкое веселье. Вернее, жалость, осложненная каким-то злым, лихим чувством. Ломались ведь не только стены – ломался уклад, ломалась жизнь, монотонность, ломались будни. То, что надвигалось, было неизмеримо хуже уходящих будней. Но где-то между будущим страхом и прошлой монотонностью зияла странная пропасть. Уходили те, кто так долго утверждал и строил – утверждал свой порядок и строил завод. Уходили хозяева, и это рождало какую-то отчаянную мысль. Она возникала только на мгновение, потому что вслед за ней тотчас следовал трезвый и холодный страх. Не просто страх – ужас. То, что еще до появления своего вызывало такие ужасные разрушения, само по себе должно было быть еще ужаснее. Это чувствовали все. И все-таки в самой этой ломке, в исчезновении порядка, в перерыве монотонности была скрыта возможность для какой-то лихости. Кто больше, кто меньше – люди были отравлены ею.

Женя уже несколько дней не уходил с завода. Еще не все оборудование было вывезено, и его спешно старались вывезти. Работали днем и ночью, но уже не хватало вагонов, паровозов, и уже не к кому было за ними обращаться. Неподвижность стала утверждаться и на железной дороге. Еще появлялись время от времени паровозы с платформами (на паровозе вместе с паровозной бригадой приезжал Котляров – он добывал транспорт), но появление очередного поезда казалось неожиданностью. Его уже не ждали, и Котляров, щетиня командирские усики, бесстрашно поглядывал своим стеклянным глазом, кричал:

– Давай, давай! – и показывал на паровозную бригаду: – Нервничают! Чего вы

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
нервничаете?

Но потом поезд уходил, и опять по путям можно было ходить, не испытывая обычного опасения – вот-вот свистнет и налетит... Рельсы схватывало ржавчиной. Оказалось, что несколько часов перерыва между поездами достаточно, чтобы на рельсы легла молодая, яркая ржавчина. Завод захламливался. По трубам и проводам еще подавались вода и энергия, и эта текущая по трубам ненужная заводу вода и подающаяся по оборванным проводам электроэнергия были сейчас удивительны.

На заводской территории располагались воинские автомастерские. Потом свернулись и они. Теперь на заводе осталась небольшая стрелковая часть, которой командовал капитан Дремов, несколько саперов и заводская команда, старшим в которой был Котляров.

Лейтенанта, который командовал саперами, Женя знал. Это был приятель Мики Слатина Сурен Григорьян. Жене нравилось, как он учил своих подчиненных.

– Глаза боятся – руки делают, – говорил Сурен, показывая, как укладывается заряд.

Вечером, когда все собирались в комнате заводоуправления, где топилась железная печка, Сурен говорил:

– Лишь бы здоровья хватило – выпутаемся. Я всегда себе в таких случаях говорю: хватило бы здоровья – выпутаемся.

Подчиненные у него были пожилые, необученные. Он их успокаивал:

– Любую сложную работу можно разбить на простейшие операции.

Важно было, как он это произносил. Как будто радовался, что слова у него так здорово укладываются в эту ловкую фразу. Сурен не просто что-то делал или говорил, он еще и восхищался тем, как это у него получается. Даже когда он очень сильно уставал, ему хватало радостного изумления по поводу того, что он так наработался. Это не все понимали, но чувствовали все. Это передавалось.

– Я брату твоему предлагал, – сказал как-то Сурен Жене, – давай сделаем автомобиль. «Я же ничего в технике не понимаю». – «Ты мне и нужен, чтобы было кому объяснять! Я тебе один раз объясню, второй – и сам лучше разберусь». А потом, – как бы извиняясь, говорил Сурен Жене, – напарник нужен для энтузиазма. С работы придешь, устанешь, ничего делать не хочется, а напарник придет, глядишь – начали. А начали – пошли дальше.

Он часто говорил о том, что он устал, наработался, как будто больше любил себя в этом состоянии.

– Устал! – говорил он с восторгом. – Нарботался!

Объяснял он – как будто загадывал и тут же разгадывал замечательные загадки. И в глазах его в этот момент зажигался огонек восхищения – переживал удовольствие оттого, что его собственный мозг так хорошо работает. Оттого, что не все так просто, но если хорошенько подумать...

– Строительный мусор лучше высыпать в подпол. Зачем?! Ты не замечал, что в подпол сыплют строительный мусор? Или заливают известь? Дезинфицируют! Против грибков. Плохо, когда вместе с известью засыпают стружку, щепки – тогда это очаг гниения.

Но он не только о работе так говорил. Казалось, он обо всем успел подумать, ко всякому месту в жизни успел себя примерить. Как-то, когда зашел неизбежный разговор о женщинах, он сказал:

– Понимаешь, бабники берут женщин «своего круга». Может быть, поэтому у них такое ощущение, что перед ними любая женщина не устоит. А мне всегда нравились женщины, которые выше меня, лучше...

Он любил говорить о себе. Как о человеке, который то восхищает его, то удивляет, то заставляет огорчаться. Как о ком-то, за кем он давно и заинтересованно

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
следит, чьи душевные движения ему известны лучше всего.

– Понимаешь, – говорил он с огорчением и в то же время с интересом, – полгода не курю – и не хочу и не тянет. Это плохо – здоровье на убыль пошло. Я заметил: как хорошо себя чувствую, так сразу закурить хочется.

Наивно изумлялся и восхищался тем, как его постоянно испытывает судьба. Чаще всего рассказывал свои армейские истории:

– Жена со мной была, а рожать уезжала к матери домой. Договорились с ней, что телеграмму пошлет не в часть, а на почтовое отделение: боялись, что телеграмма затеряется среди красноармейских писем. А почтовое отделение было на железнодорожном полустанке. Я месяц с того дня, как она должна была родить, в метель, в мороз ходил туда после работы за шесть километров. «Нет!» – говорят. Уставал я, а тут еще отчаиваться начал, прислонился к притолоке вот так, почтовая работница меня и пожалела: «Вы каждый день ходите по такому морозу. Наверное, ждете важное письмо». – «Телеграмму, – говорю, – жена должна была родить». Она и говорит своей напарнице: «Тася, посмотри, нет ли у тебя телеграммы». А Тася отвечает: «Есть, как же. Одна давно уже лежит. – И прочла по складам: – Григорьян». – И Сурен, заикаясь от полноты чувств, захохотал. – К ним на полустанок телеграммы приходили очень редко. Тася эта и не знала, что с ней делать, не положила ее в ящик «до востребования».

Истории его были как будто совсем не о войне, но слушали их внимательно, было в них что-то обнадеживающее.

Жене Сурен говорил:

– Вот ты спортсмен, а мне всю жизнь на это времени не хватало. Я, понимаешь, спортсменом стал, чтобы лучше работать. Рота моя была распределена по участкам вдоль железной дороги. Так я велосипед купил. Грузился с ним в поезд, слезал на ближайшей к моему участку станции и катил себе по бровке. В темноте ездил, потом удивлялся, как не разбился! Инстинкт, наверное...

Любая рабочая удача его возбуждала. Свинтить ржавую гайку, которая не давалась его саперам, – этого ему было достаточно.

– Я тебе не рассказывал, – говорил он, – как я в первый раз машину повел. Послали нас из техникума на практику в первый раз. Но это ж так говорится – практика! Моя специальность – мосты, а работал я на строительстве горной автомобильной дороги: лес валил и вывозил. То грузчик, то экспедитор. Погрузим бревна на грузовик, сажусь к шоферу в кабину и еду с ним вниз, в поселок, бревна сдаю. Бревна длинные, на спусках и поворотах дорогу цепляют. А дорога – сплошные повороты. Вниз посмотришь – тошнит. И узкая – не разойтись. Не дорога еще – тропа. Один раз приехали с шофером в поселок под праздник, он куда-то исчез. Надо ехать назад, а его нет. Потом пришел пьяный и полез в кабину спать. Я его подсадил, забрал у него ключи, завел мотор и тронул. Восемнадцать километров той дороги было. А я не испугался – обрадовался, что он пьян. Я пока с ним ездил, внимательно следил, как он все делает, и был уверен, что сам так смогу. На следующий день он ко мне пришел в страхе: «Сурен, как ты не удержал меня? Это чудо, что мы с тобой живы!» Думал, что это он пьяный вел машину. – Сурен смеялся, а потом говорил, наивно удивляясь сам себе: – В самолете я ни разу не сидел. А знаешь, если надо будет, мне так кажется, что разберусь и полечу...

Жену и детей он отправил к родственникам в Ереван и беспокоился, как они добрались, удивлялся:

– Я ж там в первый раз в жизни в прошлом году побывал. Отец давно говорил: «Я уже старый, надо на родину съездить». Нормальные люди как делают? Садятся на поезд и едут! А я всю свою семью на своем самодельном автомобиле туда довез. Честное слово, – изумлялся Сурен, – мировой рекорд поставил. Столько людей на мотоциклетном моторе поднял на такую высоту, на такие перевалы! Когда мы к Еревану подъезжали, нас автоинспектор остановил: «Откуда?» – спрашивает. Я сказал. Он своему напарнику кричит: «Подежурь за меня! Дорогие гости приехали». Садится на свой мотоцикл и говорит нам: «Езжайте за мной, я недалеко живу, сегодня вы мои гости». Едва его убедили, что нам к родственникам надо. «Завтра поедете к родственникам». Обижался. Дал адрес: «Если не приедете, за кровную обиду считать буду». А мы так и не заехали к нему: отпуск маленький,

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
родственников много. Сегодня у одного погости, завтра у другого. А тут и уезжать надо. Так он сам к нам в город приехал, два дня у меня жил. Свадьба тут была, его родственница замуж вышла. Смотрю, во двор к нам человек заходит – а я с машиной возился, – спрашивает: «Не узнаешь?» Я не узнал, а жена говорит: «Так это ж автоинспектор!» А он меня по машине узнал. Совсем, говорит, уже мимо прошел. «Смотрю, машина во дворе...»

Беспокоило его, что жена и дети не знают языка.

– Я сам такой армянин, что только в армии немного научился – нужда заставила. У меня ж в роте, – смеялся Сурен, – армяне, аварцы, кумыки. На сто человек семьдесят национальностей. Такое было мое счастье. Спасибо, старшина-азербайджанец четыре горских языка знал. У меня ж были такие, кто паровоз в армии в первый раз в жизни увидел. Один от паровозного свистка бросился бежать. Его военкоматовцы ловили, думали – дезертирует. А один совсем ребенок оказался. Старший брат у него умер, а родители, по обычаю, новорожденному дали имя умершего. И метрику на него новую заводить не стали. Парень рослый, в военкомате не сумели разобраться, с мобилизацией у них всегда сложности. Я и сам не сразу ему поверил. Но вижу – ребенок! Стал я докладывать, писать. А время идет, письма по инстанциям медленно переправляются. Год прошел. Я ему и говорю: все равно время уходит – служи! При себе его держал, работу легкую находил. Думал, отслужит – будет свободен. Школу такую пройдет! А тут, видишь, как получилось! Опять, наверное, в армию пошел. Как жизнь повернулась!

Рядом с заводоуправлением на асфальтированной аллее уцелела общезаводская Доска почета. Стекло было разбито, но фотографии еще держались. С фотографий смотрели литейщики, слесари, токари, техники, инженеры, профсоюзные работники, управленцы, сфотографировавшиеся в похожих двубортных пиджаках. Было несколько женских портретов. Фотографии подмокли и кое-где отклеились, подписи, сделанные черной чертежной тушью на полосках ватмана, расплылись. Но разобраться в них было еще можно. Мимо Доски почета проходили много раз и не обращали на нее внимания. Но однажды Сурен сказал:

– Надо бы фотографии снять. – И застеснялся. – До лучшего времени.

О том, что город еще в наших руках, теперь судили почти исключительно по тому, что в проводах есть электроэнергия, а по водопроводным трубам течет вода (следовательно, электростанция и водопровод еще не взорваны), но говорить о том, что здесь будут немцы, еще не решались.

– Семьи у кого-то, наверное, остались, – сказал Сурен. – Фотографии наведут на них беду.

Фотографии сняли, и Сурен сказал Жене:

– А тебя тут нет.

Женя засмеялся:

– Да я ж не очень передовой.

Сурен сказал с сожалением:

– Я тоже на такие доски не попадал.

Капитана Дремова, командовавшего стрелковой частью, звали Иван Власович. Это был кадровый военный. Вся его жизнь прошла в армии. Был он плотный, кругловатый, сильный, хотя и с одышкой. Громко командовать не любил. И говорил вполголоса. Чтобы его слышали, подходил совсем близко, становился, почти касаясь животом, смотрел в глаза и улыбался, будто любясь. Говорил с придыханием: ах-ха! Много лет служил на Дальнем Востоке и на Севере.

Он был не въедлив, не зол, скорее добродушен, но осторожен. Когда заговаривали о том, почему отступаем, он уходил или делал вид, что не слышит. Прекратить эти разговоры он уже не мог. Спросят прямо – развеет руками и все так же доверительно смотрит спрашивающему в глаза: «Румыны, – говорил он, – я же и на румынской границе служил – они же плохие вояки. У них мундиры желтые и фуражки с углами. Пять углов на фуражке».

Или вдруг скажет:

– В органы сейчас много молодых набрали. Но ведь это дело такое... Тут не каждый сможет...

И замолкнет. Считает, что и это уже сказал неосторожно. Но не сказать не может – это у него затаенное. Жена его уже давно эвакуировалась вместе с дочкой. Они привыкли переезжать, но до сих пор ездили втроем. На Дальнем Востоке жена работала, а девочку смотрела интеллигентная старушка. «Хорошая старушка, – подтверждал Дремов, – очень честная старушка, никогда копейки не взяла. Сын у нее, правда... Ах-ха...»

Когда-то, солдатом, капитан Дремов был запевалой. Он и сейчас любил петь. Но пел плохо. Голос ему, должно быть, отказывать начал или слух. Над ним подшучивали. Он сетовал:

– Теперь молодые стали плохо петь. Песен тех не знают. А я, бывало, домой в деревню на побывку приеду. Выпьем, а потом затянем: «Конь вороной...» А? А как же иначе!

Заводские ребята его перебивают, кто-то подсказывает слова не той песни: «Ах ты, милая моя, я тебя дождался. Ты сама меня нашла, а я растерялся...» Он не сердится, не возражает. Переживает, пока шутник угомонится. И продолжает свое. Называет новую нравящуюся ему песню: «Заседлаю я...» Песни он называет хорошие, слова, которые он помнит, тоже хороши. Правда, помнит он не много. Давно перестал быть запевалой, давно не жил в такой вот смешанной военно-гражданской обстановке. И оказалось, что он не подготовлен для таких разговоров, для такого обмена колкими репликами и даже вроде беззащитен тут, но и не озлился оттого, что эти штатские над ним смеются.

Он и фаталист немного. Такого навиделся! Самых разных неожиданностей. И в приказах и вопреки приказам. И это всем заметно в его характере – и этот фатализм, и эта терпеливая улыбка. Он и по службе давно перестал продвигаться, и командовать научился улыбаясь и вполголоса. И молодые давно стали его теснить, а он только иногда пожалуется: «Мода пошла молодых набирать». И улыбается, ожидая реакции собеседника, – вдруг тот тоже над капитаном Дремовым подшутит, ответит каким-нибудь злым словечком. Но если и не ответит, Дремов ничего больше не прибавит. Скажет только: «Да-а!» И подышит собеседнику в лицо.

В технике подрывных работ он разбирался слабо. Так, кое-что выучил, когда приказали, но часто ошибался и предпочитал, чтобы техническую сторону дела брал на себя Сурен Григорьян. Сам он любил и понимал армейский порядок.

Каждый день он тщательно проверял, как уложены заряды, проходил по территории, которую вот-вот должны взорвать, на которую рухнет груда обломков от цеховых зданий, и заставлял бойцов подметать ее.

– Непорядок, – говорил он. – Это непорядок.

Над ним смеялись. Говорили ему, что все это будет под немцем, что все это вот-вот к чертовой матери взорвут. Пусть не смешит людей, пусть не создает солдатам лишней работы, пусть люди поживут спокойно. И поддевали носком сапога или ботинка банку из-под консервов. Но он заставлял бойцов и копался сам, брал лопату, отгребал мусор с асфальтовых дорожек, а остатки еды, окурки, выброшенные за порог или в окно, заставлял выметать подальше. Заставлял закапывать в стороне.

– А то скажут, что жили здесь свиньи!

– Кто скажет?! – надрывался Женин напарник литейщик Лиманов. – Кто?!

Дремов не отвечал. Ответить «немцы», как добивался Лиманов, он не мог, сказать «наши» не имело смысла. Стреляли совсем рядом. В вечернем воздухе было видно, как над заводской территорией взмывали и угасали зелененькие и красненькие рои – очереди трассирующих пуль.

* * *

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Сёмин seminvitaly.ru
Как-то еще в сентябре на склад одного из механических цехов завезли несколько мешков картошки и консервированной тушенки для заводских столовых. Больше на этот склад продуктов не завозили, и очень скоро не стало там ни картошки, ни тушенки. Однако на складах других цехов этих продуктов вообще никогда не было, и люди возвращались мыслью к этому складу. Не то чтобы они не видели и не знали, что там давно уже ничего нет, но ведь в других местах точно ничего не было. И в тот день, когда стало ясно, что наши уходят, что город вот-вот займут немцы, у этого склада собралась толпа. Как она собралась, кто сюда пришел первым – узнать было нельзя. Помимо главных ворот, на заводе было еще несколько добавочных входов: железнодорожные, никогда не закрывавшиеся ворота и несколько дополнительных автомобильных транспортных въездов. Была подворотня и напротив этого склада. Люди шли с улицы. Толпа росла и росла. Тот, кто проходил мимо и видел куда-то рвущуюся толпу, не мог не присоединиться. Кто-то, напрягая кадыкастую шею, кричал: – Немцам оставляете?!

Анатолий оказался в этой толпе. С утра он пришел на завод с дворовым приятелем. Подростки вошли в ворота, когда толпа вдруг подалась вперед, а потом хлынула назад, на улицу. Кто-то из бежавших крикнул:

– Будем взрывать!

Однако, чувствуя, что кто-то остался во дворе, бежавшие постепенно останавливались, оборачивались и, секунду поколебавшись, бежали назад. И ребята оказались уже в самом центре толпы. Они видели над головами людей, над шапками, над темными стеганками и пальто – не было ни одного светлого пальто – потного кричавшего человека в одной гимнастике. Он кричал одно и то же, надрывая грудь, напрягая горло:

– Через десять минут взорвем! Уходите! Через десять минут! Я прошу!.. Через десять минут – всех в клочки!..

В толпе опять крикнули:

– Немцам хочешь все оставить?!

Военный приседал от усилия крикнуть громче и убедительнее. Лицо его было отчаянным. Он был единственным человеком в военной форме во всей этой штатской толпе. И эта его военная форма и это его одиночество в толпе доводили его крик до такой пронзительности и устрашающей убедительности, что толпа останавливалась перед закрытыми воротами склада и не решалась сдвинуть со своего пути человека в форме. Толпа чувствовала: человек на такой грани может все: и себя, и других – в клочки! У ребят эта уверенность была даже сильнее, чем у взрослых. Они видели взрослого мужчину, военного, который, несмотря на такой холод, несмотря на ветер, снял с себя шинель, расстегнул ворот гимнастики и еще вытирал пот со лба. Неодетый человек на таком холоде уже был чем-то необычным. И хотя все вокруг было необычным, хотя привычное сейчас ломалось, в этот момент для ребят все же самым необычным и устрашающим был этот раздевшийся отчаянный взрослый человек.

Но военный этот все же только удерживал толпу на месте, лишь не пускал ее в склад. Заставить людей уйти он не мог. Те, кто стоял сзади, пожалуй, и ушли бы – от склада все равно их отделяла густая толпа. Их надежда что-то добыть и унести домой была слабой. Но передние не уходили. Они оставались на месте не потому, что не верили человеку в гимнастике. Люди верили в приказы и в то, что эти приказы исполняются. Но человек обещал десять минут до взрыва. Эти десять минут можно было использовать. Толпа на секунду отступала, а когда военный поворачивался, чтобы уйти в склад, тотчас же возвращалась на место. Военный, конечно, был отчаянным человеком, но сейчас все были готовы на риск. А те, кто пробился вперед, были готовы на двойной риск потому, что они уже захватили первые места в толпе. Помощников военного не было видно, у него не было солдат, чтобы выгнать людей на улицу и удерживать их там до взрыва. Все его помощники были заняты, а договориться с толпой он не умел или не хотел. Ему и в голову не приходило открыть перед людьми ворота склада и показать, что там ничего нет. У него был приказ – взорвать. И он собирался взорвать. Но те, кто отдавал ему приказ, не могли предположить, что склад будет осажден такой большой толпой. И он не собирался вступать ни в какие переговоры. Время от времени он оборачивался в сторону склада и поднимал руку. Лицо его перекашивалось, как перед последней яростной командой, он взмахивал рукой и кричал:

– Приготовиться!

Толпа замирала, впивалась глазами в его руку. Задние, надежда которых на какую-то добычу была слаба, с каким-то даже облегчением поворачивались и бежали на улицу. Спиной они чувствовали дыхание догоняющих, слышали крик сбившихся в подворотне. Но оказавшись на улице, в относительной безопасности, люди останавливались и смотрели, как вываливается из подворотни толпа. Подворотня не была узкой, но людей было так много, что образовалась пробка. Ребята видели только спины и затылки. Их давило, стискивало, кто-то пронзительно кричал, но большинство молчало; во всей подворотне было не больше десяти – пятнадцати метров длины, выход был рядом, рукой подать, а выйти нельзя. Анатолий инстинктивно поджал ноги и почувствовал, как в ту же минуту поплыл по течению. Так его и вынесло наружу, и только у выхода из подворотни он опять ступил на землю и побежал.

В городе как будто поменяли освещение. Все стояло на своих местах, и все было другим. Трамвай не ходил с тех пор, как начались бомбежки. Но только теперь появилось ощущение, что трамвайные рельсы никуда не ведут. Из дому Анатолий с приятелем вышли в шесть утра. По дороге к заводу они не встретили ни одного человека в военной форме. Было тихо. Час утренней бомбежки немцы пропустили, чувствовалось, что сегодня вообще бомбить не будут. Но от этого почему-то становилось еще страшнее. На заводе Анатолий хотел разыскать Женю, но пробиться сквозь толпу к подрывникам не смог. Тогда они с приятелем решили уходить из города. Вначале шли одни, потом втянулись в группу таких же отступавших. Спускаясь к реке, Анатолий еще из города через лед замерзшей реки видел грязевые вспышки. Их сопровождали громовые удары. Снаряд, угодивший в реку, выплеснул на лед грязь и ил. Лед у берега был ненадежный, с промоинами, с грязевыми и пылевыми наносами. И дальше он был слоеный, в длинных пологих сугробах. И только на середине становился зеленоватым, темным в глубину, скользким. Снег тут не держался. Здесь же попадались обширные площади пористого светло-зеленого льда. В полянках, оставленных снарядами, с шуршанием на мелкой и медленной от густоты волне терлась ледяная крошка. Всю почти тридцатидневную бомбежку Анатолий перенес в городе. Пальбу зениток, сотрясение воздуха, давление ударной волны – все это он воспринимал слухом. Видел, да еще так ясно, впервые. Снегу на земле было немного, но все же и город – дворники давно не работали – и все заречье казались белыми. А взрывы были черными, и только внутри грязной вспышки угадывался огонь. И на войну все это не было похоже, а на какую-то работу. Во взрывах была рабочая правильность. Звук выстрела не был слышен. В воздухе зарождался клекот, а затем следовал удар. Стрелявший не был виден, но сам видел все – такое было у Анатолия ощущение. Анатолий тогда не знал этого военного термина – «обработка», но он чувствовал, что дорогу обрабатывали. Нигде не было видно военных, никто взрывам не оказывал никакого сопротивления – по дороге шли люди в штатских пальто, в штатских шапках, с узлами в руках.

Выходить на дорогу было опасно, и Анатолий с приятелем пошли замерзшей болотистой низиной. Они шли, сбивая ботинками иней с камышинок, оскользаясь на примятой снегом траве. До ближайшей станции им надо было пройти километров двенадцать, и они шли часа четыре. Еще издали было видно, что станция горела, в морозном чистом воздухе дым поднимался высоко, стоял плотным облаком, не рассеивался потому, что получал все новые порции черного дыма. Облако только меняло свой цвет. Внизу, у земли, оно было сажистым, копотным, а сверху пепельным. Над этим облаком кружили самолеты – немцы не прекратили бомбежку, они перенесли ее дальше. Идти туда было безумием, надо было переждать, выбрать момент, но облако притягивало: казалось, там война, там определенность, – и ребята вошли в одноэтажные, сельские улицы пристанционного городка. Название этого городка каждый горожанин узнавал еще в детстве, как название соседней улицы. Весной отец водил Анатолия показывать, как широко разливается река. С правого, гористого берега были видны электрические огни городка, они отражались в воде длинными колеблющимися лучами. Однако оказался здесь Анатолий впервые в жизни. Он и реку по льду сегодня перешел впервые в жизни.

Улицы были безлюдными, безлюдными были и дома, окна которых закрывали ставни. Возле жилья страх стал сильнее. Но война здесь действительно шла. Стреляли зенитки и зенитные пулеметы. Горело возле самой станции. Подходы к станции были забиты подводами, техникой. Где были люди, Анатолий понял только тогда, когда их окликнули из ближайшей щели.

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
– Черт вас носит, пацаны! Жить надоело? – сказал им боец, когда по обмерзшим глиняным ступеням они скатились вниз.

На стенах щели проступала белая изморозь, небритое, в серой, неумытой щетине лицо бойца было возбуждено, глаза блестели, казалось, появление ребят его развлекло и заинтересовало. В щели расположилась воинская часть, тут были шинели, винтовки, каски; кто-то звал командирским голосом:

– Петров!

Анатолий решил, что они пришли. Теперь только не отставать. Но в это время закричали:

– Выходи! Выходи!

И красноармейцы, подхватывая винтовки, наклоня головы, выбегали наверх. Ребят отстранили сразу же:

– Идите домой! Вас тут не хватало!

Потом пришли бойцы, которые сидели в щели очень долго. Их все не вызывали наверх. С некоторыми из них ребята успели познакомиться. И новые знакомые тоже уговаривали идти домой:

– Идите, пока не поздно.

Приносили раненых, и раненые казались Анатолию страшнее убитых. Смотреть на них было болезненнее, пронзительнее. На руках принесли бойца с раздробленной ногой: должно быть, ранило совсем недавно. Лицо его было живое, он видел тех, кто его нес, чувствовал свою ногу, понимал, что его сейчас опустят на землю, и опасался, что опустят жестко. Но потом в лице его что-то отхлынуло, запрокинулось, и появилось то казавшееся Анатолию особенно страшным выражение, когда человек жив, но с живыми его нет. Приводили легко раненых. С перевязанными руками, с бинтами под шапкой. Глядя на раненых, Анатолий стал понимать лихорадочное возбуждение здоровых, их выкрики, громкие команды и торопливую сосредоточенность на чем-то. И не обижался, если кто-то вдруг начинал кричать:

– Кто такие? Что делаете?

Трижды одну и ту же группу бойцов вызывали наверх и возвращали в щель.

– Выходи! – кричали им.

Они выбегали охотно, торопливо, догоняя друг друга, и ни зенитная пальба, ни бомбовый вой не пригибали и не задерживали их. Возвращались они минут через двадцать, обескураженные, недовольные. Прыгали через две-три ступеньки, ругались. И опять:

– Выходи, выходи!

Вечером в щели было светло от пожаров, а ночью немцы несколько раз вывешивали на парашютах осветительные ракеты, так что даже белая изморозь на стенах щели, на глиняных ступеньках начинала сиять. Ночью ребят сморили усталость, подземный холод, и под утро они, почувствовав, что в бомбежке наступил перерыв, двинулись в город, домой.

Шли по целине, забирая так, чтобы перейти реку не против центральных улиц города, а ближе к окраине. Навстречу им попадались беженцы с узлами. Множество этих узлов валялось на земле. Перед самым городом их остановили двое военных. Один, весь мятый, с расстегнутым воротом, сказал:

– Туда идете? К ним?

И потянул автомат, который на ремне висел у него за спиной. И Анатолий, глядя в безумные, расширенные зрачки, почувствовал – всё! Они столько ходили под снарядами, бомбежкой, что где-то их должна была ждать вот такая случайность. Но второй военный схватил своего товарища за руки:

– Это же пацаны! С ума сошел!

В городе шли мимо разбитого винного склада, от которого вниз по улице стекал мутный пахучий ручеек. Видели, как двое катили по мостовой бочонок. Катили торопливо. Руками толкая, поддавая ногой. И вдруг обручи на бочонке сдвинулись и клепки разошлись – бочка распалась прямо на мостовой. В бочонке было масло или какой-то жир. Двое стояли в растерянности, а на улице, которая только что была пустой, появился человек с кастрюлей, потом еще один – и жир за несколько минут растащили. К центру улицы становились пустыней, сильнее делалось ощущение, что в городе поменяли освещение. За квартал до Братского переуллка они зашли в знакомый двор, чтобы расспросить о том, что делается в городе. И остались там потому, что началась стрельба. Стрельба сосредоточилась на баррикаде, перегораживающей главную улицу. Стреляли от баррикады и по баррикаде. Потом пробежали несколько красноармейцев, и кто-то из них крикнул:

– Раненые в техникуме! Заберите раненых!

Стрельба прекратилась, и Анатолий видел, как улицу перешел пожилой человек с бородкой и в пенсне. В руках его был чемоданчик необычной формы, который Анатолий назвал для себя «саквояжем». Он шел, выставив вперед бородку, как будто уверенный, что в него стрелять нельзя, что для него войну на время остановят. Что-то в этой его маленькой демонстрации было наивное, что-то от мирного времени. Но и надежду какую-то она возбуждала. Это был врач, он шел в техникум к раненым. Через несколько минут стрельба опять возобновилась. Теперь стреляли от баррикады к реке. Переулок был абсолютно пуст. От баррикады он просматривался на несколько кварталов, потому что был прям, нигде не сворачивал. Немецкий пулеметчик бил трассирующими, было видно, как роились пули, как, догоняя одна другую, шли совсем не так быстро, как можно было ожидать от пуль. Куда стреляли, понять было нельзя, потому что пулеметчику никто не отвечал. Из окна полуподвального этажа Анатолий следил за трассами и даже успевал посмотреть пулям вслед. Стрельба прекратилась, и тотчас из соседнего дома выбежали женщина и девочка. Женщина несла узел и тащила девочку за руку. Они перебежали дорогу. Над ними возникла трасса, пули шли выше, потом трасса, будто поддразнивая или сомневаясь, заколебалась, опустилась, и над головой девочки тонко дымящие следы вошли в женщину. Женщина, словно не выдержав тяжести узла, рухнула, а девочка пыталась ее поднять. Узел, накрывший женщину, откатился, а в доме, к которому перебежала женщина, открылось парадное, из-за двери поспешно высунулась старуха, схватила девочку за руку и втянула ее в дом. Вслед им ударила очередь. Пули били в притолоку двери, за которой скрылись девочка и старуха. Женщина осталась лежать на дороге. Пулеметчик опять перенес огонь в глубину переуллка, и пули, опережая свои дымные следы, пошли над женщиной.

Наконец пулемет замолк, наступила долгая тишина, и Анатолий почувствовал, что сейчас и придет то самое, к чему и прикосновение ужасно.

Где-то совсем рядом ударил взрыв, зазвенели стекла, и кто-то закричал:

– От окон! Отходите от окон!

Еще ударил взрыв, и Анатолий отпрянул от окна. Он увидел на другой стороне улицы двух немцев. Они остановились у дома, имевшего полуподвальный этаж. Один немец ткнул прикладом в стекло, бросил в окно гранату, и оба проворно отступили к стене. Из окна пахло дымом, грохнул взрыв. Второй немец со странным и, должно быть, тяжелым ранцем за спиной протянул к разбитому окну трубку, соединенную шлангом с ранцем, и на конце трубки возник окрашенный по краю черным дымом язык пламени. Он был длинный и широкий, как язык воды из пожарного шланга, если наконечник слегка перехватить пальцем. Пламя перелилось в окно, исчезло там, и немцы перешли к следующему дому. Анатолий прятался в комнате фаи-армянки, которую знали все мальчишки в районе. Эта толстая женщина летом всегда сидела на низкой скамейке возле своего дома, она торговала жареными семечками. Сейчас ее комната напоминала кладовую: соседи с верхних этажей хранили здесь свои чемоданы, какие-то вещи. В комнате было несколько человек. Все бросились к дверям. Едва Анатолий успел выскочить, как грохнуло, уши заложило болью. Из пазов между досками на полу, со стен и потолка ударило пылью. Лицо и руки чем-то посекло, запахло нефтью и пламенем. Женщины бросились назад, Анатолий вошел за ними. Фая лежала на полу в пальто. Казалось, ткань пальто лопнула под напором подкладочной ваты – серая подкладочная вата вываливалась во многих местах. Горело на столе и полу, огонь подтекал под фаино пальто. Женщины, развернув

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru завернутый в скатку чей-то ковер, накрывали им огонь. В тех местах, где удавалось потушить, оставались жирные смоляные пятна. Фаю с трудом переложили на диван. Когда пыль и гарь немного осели, Анатолий увидел, что у Фаи то страшное выражение лица, которое появлялось у раненых, потерявших сознание.

Во дворе закричали, чтобы мужчины выходили на улицу. Кричали по-русски, и это почему-то было особенно страшно. Анатолий с приятелем несколько минут колебались – не мужчины все-таки, – но потом вышли во двор, и их вместе со всеми погнали на главную улицу к баррикаде. Там за столом, поставленным на тротуаре, сидел немецкий офицер. К столу выстроилась длинная очередь. Тут были мальчишки и пожилые. Очередь двигалась быстро. Опрошенных не отпускали – солдаты в серо-зеленых шинелях отводили их в сторону и оставляли под присмотром таких же солдат. Немцы громко переговаривались, ходили спокойно, и не было у них той лихорадочной сосредоточенности, возбужденности, которую Анатолий недавно видел у наших бойцов. Очередь немного задержалась – офицер допрашивал молодого мужчину в черной кепке. Потом мужчину повели, но не к общей группе, а к баррикаде. Вели его два немца: солдат с автоматом и унтер-офицер. Мужчина шел спокойно, и немцы шли вольно. Унтер-офицер показал ему, куда надо стать, повернул лицом к баррикаде, взял у солдата автомат и выстрелил в затылок под черную кепку. Офицер не оглянулся на выстрел, очередь вздрогнула, заколебалась, солдаты подняли оружие, и Анатолий понял, почувствовал, что это не жестокость, не безжалостность, не злобность – все эти слова сейчас не годились, – а нечто гораздо более страшное. Он это чувствовал, когда на его глазах обрабатывали дорогу с беженцами, когда убили женщину с узлом, бросали гранаты в дома. И то чувство, которое сейчас рождалось в нем, тоже уже нельзя было назвать ненавистью. Ненавидел он, когда уходил из города, сидел под бомбежкой в щели, видел раненых бойцов, видел, как возбуждены и обеспокоены взрослые здоровые мужчины. То чувство, которое рождалось в нем сейчас, было сильнее этой первой ненависти. Оно становилось всеобъемлющим, распространялось на серо-зеленый цвет шинелей, на звуки речи, на форму касок, на цвет и форму автоматов, на все, что принесли с собой эти люди. И еще он думал о том, какую непоправимую ошибку они с приятелем совершили, когда решили вернуться домой, в город.

..Немцы действительно обрабатывали улицу. Они собирались пустить по ней через город свою технику.

* * *

В вагоне кисло пахнет спертым человеческим дыханием, на скамейках по пять и по шесть человек. На верхних полках тоже не лежат, а сидят, свесив ноги на плечи и головы нижних. И только третья, багажная, полка – лежачее место. Уже установлена очередь: кто когда лезет на третью полку отдыхать. Антонина Николаевна, Ефим, Валентина и Вовка сидят в крайнем купе, рядом с туалетом. Здесь резкий запах дезинфекции и нечистот. У Вовки отдельного места нет – его поочередно берут на колени Антонина Николаевна, Ефим и Валентина. В купе пробились не сразу. Валентину с Вовкой в вагон протолкнули, а Ефим с Антониной Николаевной остались на подножке. Ефим сзади, схватившись за поручни, поддерживал Антонину Николаевну. Антонина Николаевна наваливалась на него все тяжелей и тяжелей, руки ее не держали, и тут Валентина сумела втянуть ее в вагон. Часа два ехали стоя. Потом как-то распределились. Ефим даже выходил за горячей водой и сумел вернуться. В проходах мешки, чемоданы. На них тоже сидят. Все окна закрыты, так что вагон наглухо закупорен. Пока поезд движется, есть иллюзия вентиляции, а когда останавливается, сразу чувствуется, что в вагоне в десять раз больше народу, чем это было бы нормально. Из города выехали на грузовой машине. Дважды, пока добрались до станции, машину собирались реквизируют, но шофер как-то выкручивался, говорил, что грузовик неисправен. Один раз их даже выгнали из кузова, и Ефим выгружал документы своей конторы прямо на асфальт. Однако у нового шофера мотор не завелся. Документы все равно пропали – погрузить их в поезд не удалось. Поезд тоже скоро придется покинуть – эваколист действителен только до ближайшей крупной станции. В купе едет женщина, уже побывавшая «под немцем». Она рассказывает своей соседке:

– «Не бейте, дяденька, мне больно, – каже. – Не бейте, мне больно». Малый же и каже: «Мне больно». А они его бьют... Звери же. Зверье. Я бы их жен каждый день клевала. Хоть бы повисли у тех зверей на руках, когда они свои винтовки брали, чтобы идти на войну.

Женщина говорит вполголоса, в купе тихо, все слушают. Кто-то вступает и рассказывает, что где-то во время бомбежки ограбили банк, много денег увезли. Но

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
женщина перебивает:

– А хай берут. Деньги то деньги. А то живое...

Ефим было собрался поспорить:

– То есть как «деньги то деньги»? – Но сам замолк, не стал продолжать свои мысли.

* * *

К дому Антонины Николаевны в Братском подошел немецкий бронетранспортер. Уставшие от железного лязга, от танкеточной раскочки своей машины немцы выпрыгивали на землю, разминали затекшие ноги. Они открыли ворота, ведущие во двор дома Антонины Николаевны, увидели водопроводную колонку, длинный ряд сараев, накрытых одной крышей, балкон на двух металлических опорах, сухие плетни дикого винограда на заборе. Немцев интересовала водопроводная колонка, они принесли канистры, ведро, но воды в колонке не было. Тогда немцы разошлись по соседним дворам. Воды не было нигде. Жители не показывались. Постепенно, однако, к бронетранспортеру стягивались любопытные мальчишки. Их притягивала низколобая бронированная машина, у которой передние колеса были как у грузовика, высокие, с рифлеными шинами, а задние – как у танкетки, перематывавшие гусеницу. Немцы мальчишек не отгоняли и даже как бы оставляли бронетранспортер без присмотра. Через некоторое время однако возле бронетранспортера поднялся крик, мальчишки разбежались, а немцы вошли во двор дома Антонины Николаевны, плеснули из канистры бензин на деревянную лестницу, которая одним маршем приводила к дверям квартиры, на деревянные стены сараев и подожгли. Немцы не ушли тотчас, а дали огню разыграться. Сухое дерево схватилось сразу, огонь над сараями загудел. Крышу в нескольких местах пронзило пламенем, горячим воздухом сорвало толь, загорелись дрова и уголь, и, как в печи, когда туда вместо угля попадает кусок породы, начались маленькие взрывы. Дом разгорался медленнее, но и он скоро запылал.

Бронетранспортер ушел. Это был одиночный, оторвавшийся от главной колонны бронетранспортер – основное движение немецкой техники шло квартала за три от Братского переулка.

К вечеру пожар стал стихать. Сгорел не только дом Антонины Николаевны, но и два соседних дома, уголь, оставшийся в сараях, тлел еще несколько дней. На этом тлеющем угле соседи из уцелевших домов кипятили воду.

Точно никто не мог сказать, почему немцы подожгли дом. Говорили, что кто-то из мальчишек утащил кожаные перчатки из бронетранспортера.

* * *

Толпа, пытавшаяся прорваться на склад механического цеха, сильно задержала Женю. Это была, пожалуй, первая толпа, которую ему пришлось увидеть. Глухие, возбужденные какой-то одной целью лица. Лишь несколько лихих, сообразительных, ориентирующихся лиц. Какие-то живчики, питающиеся возбуждением толпы, живущие этим возбуждением. Никто не слушает и не слышит.

Женя сказал Котлярову:

– Открой дверь, пусть войдут – скорее разойдутся.

Котляров уставился на него стеклянным глазом:

– К чертовой матери! Всех взорву! В клочки!

Он выскочил к толпе, в поднятой руке – наган. Выстрел щелкнул сухо, убедительно.

– Раз-зойдись!

Он вернулся, и Женя ему сказал:

– Не пори истерику!

А Сурен, который пришел сюда, привлеченный шумом, вдруг закричал на Котлярова со

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
страшным армянским агентом:

– Уходи! Застрелю! Своих людей не понимаешь! Люди тебя не понимают!

Котляров посмотрел на Сурена стеклянным глазом, жесткие усики стали торчком:

– Своей рукой! Приказ обсуждать!

Женя успел перехватить и сжать руку. Котляров бился слабо, грозил:

– Под трибунал!

Его отправили с последними тремя платформами, которые повел старый маневровый паровозик «кукушка».

Женя открыл ворота склада. Толпа хлынула, растеклась по углам, и через пятнадцать минут ни на складе, ни во дворе никого не было.

Сурен никак не мог успокоиться:

– Для дурака приказ – дурацкое дело.

Женя все делал неторопливо. Он не боялся. Сурен ему говорил:

– Ты чего не боишься? Это плохо. Убьют. Надо бояться.

Но страх к Жене не приходил. Склад взорвали. Рухнула кирпичная масса. Это был последний взрыв. Надо было уходить. На заводе их осталось четверо. Женя, Сурен и два бойца-сапера. Женя договорился встретиться с Суреном на ближайшей железнодорожной станции, а сам решил забежать домой. Он хотел убедиться, что Валентина, Вовка, Антонина Николаевна и Ефим уехали.

– Будь внимательным, – сказал Сурен. – Немцы уже в городе. Слышишь, где стреляют?

До Братского Женя не дошел. Не доходя до центра города, он заметил движение немецкой колонны и свернул к реке, чтобы перейти ее ближе к окраине, куда немцы, по его расчетам, еще не вышли. Однако на спуске к Нижнебульварной улице лицом к лицу столкнулся с немцем. Немец был молодой, лет двадцати, здоровый, со здоровым зимним загаром на молодой гладкой коже, хорошо одетый. Это был мотоциклист, патрульный, которого прислали сюда перехватывать тех, кто попытался бы бежать из города через реку. Мотоцикл его стоял у самого спуска: спуск был покрыт ледяной коркой, и немец опасался, что машина поедет вниз юзом. Невысокий худощавый русский с усталым или больным, будто покрытым бронзовым загаром лицом не испугал немца. Не вызвал у него даже опасений. Немец как раз искал двух-трех мужчин, которые подстраховали бы мотоцикл, помогли бы спустить его с ледяной горки. И только когда Женя захотел пройти мимо, немец поднял автомат.

– Иван, – сказал он, – ком!

Этот задорный рослый немец, уверенный в себе, в своем автомате, с холодным взглядом светлых глаз кого-то напомнил Жене. Женя сделал шаг навстречу, а потом не телом, не головой, а только глазами «показал», как это он делал на ринге, что он сейчас рванется налево. Глаза немца удивленно метнулись, и Женя ударил в то место, где ремешок от каски перехватывал подбородок. Немец упал, автомат несколько метров проехал с ледяной горки. Женя подхватил автомат и оглянулся на немца – мотоциклист никак не мог подняться. Женя свернул в ближайший переулок, выбежал на набережную. Его обстреляли, когда он уже был на другой стороне реки. Женя думал о том, как это получается: от страха лицо человека не просто меняет выражение – оно становится меньше, съезживается, уходит куда-то внутрь, хотя, конечно, оно не может стать меньше. Никак не может. И все-таки нервные перегрузки деформируют его, глаза ускользают. Этот немец напомнил Жене молодых хищноватых уличных ребят, любителей подраться, которые иногда приходят в боксерскую секцию. Вот такой уверенный, обещающий взгляд у них бывает, когда они выходят на ринг. Но долго в секции они не задерживаются, хотя поначалу как будто бы бурно прогрессируют. У тех, кто остается, взгляд совсем другой. Этот немец, конечно, испугался того, что Женя выстрелит в него из автомата. Но Жене и в голову не могло прийти, что он когда-нибудь захочет убить безоружного или

Женя и Валентина. Виталий Николаевич Семин seminvitaly.ru
обезоруженного человека, захочет выстрелить в него.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://seminvitaly.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!